АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1987

СОДЕРЖАНИЕ

Георгий Владимирович Степанов 3
Десницкая А. В. (Ленинград). К истокам сравнительного изучения балканских языков 10
Данелия К. Д., Сарджвеладзе З. А. (Тбилиси). О лингвистической концепции А. Г. Шанидзе 24

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Дешериева Т. И. (Москва). О соотношении модальности и предикативности 34
Живов В. М. (Москва). Проблемы формирования русской редакции церковнославянского языка на начальном этапе (По поводу книги И. Тота «Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI — начале XII вв.») 46
Топурия Г. В. (Тбилиси). Вопросы морфологии склонения в дагестанских языках. 66
Елисеева А. Г., Селиверстова О. Н. (Москва). Семантическая структура местоименного значения 79

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Калиущенко В. Д. (Донецк). Типология локативных, посессивных и атрибутивных отсубстантивных глаголов 93
Крейдлин Г. Е., Поливанова А. К. (Москва). О лексикографическом описании служебных слов русского языка 106
Молчанова Е. К. (Москва). Анафора и притяжательность (На материале таджикской разговорной речи) 121
Цкитишвили Т. К. (Тбилиси). Об историческом словаре грузинского языка 134

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Скребнев Ю. М. (Горький). Исследование русской разговорной речи . . . 144

Рецензии

Голованевский А. Л. (Кокчетав). Соотношение интернационального и национального в общественно-политической терминологии восточнославянских языков 156
Стулова Н. Г. (Ленинград). Studia Russica. VI. 159
Карпенко Ю. А. (Одесса). *Калакуцкая Л. П.* Склонение фамилий и личных имен в русском литературном языке 161
Алпатов В. М. (Москва). *Гондза* хэн. *А. И. Богуда*: *нофу* сидо:. Син-сурав нихонго-дзитэн (Новый лексикон славено-японский) 164
Кайдаров А. Т., Котыленко М. М. (Алма-Ата). *Мусаев К. М.* Лексикология тюркских языков 166
Коков Дж. Н. (Нальчик), Чкадуа Л. П. (Сухуми). *Кумахов М. А.* Очерки общего и кавказского языкознания 169

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 173

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), *А. Н. Кононов*, *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, Н. А. Слюсарева*, *В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *Г. В. Степанов* (главный редактор), *О. Н. Трубачев, Д. Н. Шмелев*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука», «Вопросы языкознания», 1987 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1987

ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СТЕПАНОВ

(1919—1986)

Советская филологическая наука понесла невосполнимую утрату. 28 октября 1986 года на шестьдесят восьмом году жизни после тяжелой болезни скончался исполняющий обязанности академика-секретаря Отделения литературы и языка АН СССР, директор Института языкознания АН СССР, главный редактор журнала «Вопросы языкознания» академик Георгий Владимирович Степанов. Весь жизненный и творческий путь Г. В. Степанова — выдающегося советского лингвиста и литературоведа, члена КПСС с 1956 г. — был теснейшим образом связан с общественной и научной жизнью нашей страны предвоенных лет и послевоенных пятилеток.

Г. В. Степанов родился в 1919 г. в г. Бийске Алтайского края в семье рабочего. После всего лишь годичных занятий на романском отделении филологического факультета Ленинградского государственного университета, куда он поступил в 1937 г., в разгар гражданской войны в Испании ему пришлось прервать учебу, к которой он вернулся в 1939 г. Через недолгий промежуток времени его дальнейшие занятия оказались вновь прерванными, на этот раз до 1944 г., началом Великой Отечественной войны, участником которой он являлся сначала в качестве политработника Красной Армии, а затем — в составе партизанского отряда. В 1947 г. после окончания ЛГУ с дипломом по специальности «романская филология» он был оставлен в аспирантуре.

Определяющее воздействие на формирование круга научных интересов Г. В. Степанова оказали крупнейшие представители отечественной романистики акад. В. Ф. Шишмарев и проф. Б. А. Кржевский, а также акад. М. П. Алексеев, развившие в нем вкус к исследовательской работе как в области широкой общефилологической, так и конкретной лингвистической и литературоведческой проблематики. В стенах Ленинградского государственного университета наметился вместе с тем и особый интерес Георгия Владимировича к испанскому языку и литературе, чем и был продиктован выбор им темы «Роль Сервантеса в становлении испанского литературного языка» в качестве диссертационной работы, успешно защищенной в 1951 г. Не приходится сомневаться и в том, что уже в годы аспирантской подготовки отчетливо обозначились его широкие научные интересы, включавшие помимо изучения романских языков (прежде всего — испанского, португальского, старопровансальского и др.) исследование вопросов испанско-русских литературных связей, теорию литературного языка и языковых стилей.

Новый этап в научном творчестве Г. В. Степанова начинается с середины 50-х годов, когда он приступил к изучению как совокупной проблематики особенностей структуры и функционирования испанского языка в странах Латинской Америки, так и испаноязычных литератур

этого континента. Именно оба последних направления работ ученого оказались особенно плодотворными. После защиты в 1967 г. докторской диссертации на тему «Испанский язык Америки в системе единого испанского языка» Г. В. Степановым было создано несколько крупных трудов, снискавших ему известность филолога-романиста международного масштаба. Отличительной чертой этих исследований явилось рассмотрение лингвистической и литературоведческой проблематики в увязке со специфическими культурными традициями южноамериканского региона. Эти же труды послужили исходным пунктом для последующих работ ученого в области социолингвистики (в частности, языкового варьирования и терминологии), теории литературного языка, а также критического анализа произведений художественной литературы.

Период 1948—1971 годов связан в биографии Г. В. Степанова с ассистентской и преподавательской деятельностью на филологическом факультете ЛГУ, где в 1969 г. он был утвержден в ученом звании профессора кафедры романской филологии. Важнейшей стороной этого амплуа ученого стало творческое развитие наследия его учителей, получившее свое отражение в созданных им на основе прочитанных университетских курсов вузовских учебниках. Под его руководством здесь выросло целое поколение советских испанистов, работающих ныне в самых различных филологических учреждениях Советского Союза. С 1955 по 1960 г. он является также старшим научным сотрудником Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР.

В 1971 г. Г. В. Степанов становится заведующим сектором романских языков Института языкознания АН СССР, а с 1977 г. — директором этого института. Здесь широко развернулись его выдающиеся способности организатора науки. Свое яркое отражение они получили в перегруппировке научных сил, сделавшей их мобильным средством решения насущных задач нашей науки, а также в концентрации их на профилирующих направлениях теоретической и конкретно-отраслевой лингвистики. Он явился, в частности, инициатором целой серии крупных коллективных трудов Института в области теории и методики лингвистических исследований, социолингвистики, а также обобщающих отраслевых монографий жанра «Введений» и «Основ». Многие из этих работ вышли в свет под его редакцией. Вместе с тем заметно повысилась и головная роль Института языкознания в координации научных исследований, ведущихся в различных лингвистических учреждениях Советского Союза и социалистических стран.

Особую сферу научно-организационной деятельности Георгия Владимировича составили возложенные на него в 1983 г. обязанности главного редактора журнала «Вопросы языкознания». В короткий промежуток времени его работы на этом посту продолжал расти авторский актив журнала. К сотрудничеству в нем привлекались как опытные лингвисты, представляющие различные направления советского языкознания, так и способные молодые ученые. Шире стали публиковаться статьи выдающихся зарубежных языковедов. Немалая доля усилий редколлегии неизменно направлялась Г. В. Степановым на работу с авторами. При всем этом его руководящая позиция в журнале характеризовалась сочетанием такта по отношению к научным исканиям, никогда не застрахованным от ошибок, и непримиримости к чуждым нашей методологии идеям.

Многогранная научно-организационная деятельность Г. В. Степанова выходила далеко за пределы Института языкознания АН СССР и журнала «Вопросы языкознания». С 1976 г. он становится заместителем ака-

демика-секретаря Отделения литературы и языка АН СССР, членом, а затем и председателем Секции по филологии Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в области науки и техники при Совете Министров СССР, членом Экспертного совета ВАК по филологии и искусствоведению, главным редактором журнала «Известия Академии Наук СССР. Серия литературы и языка». Он принимал деятельное участие в работе редколлегии серии «Литературные памятники» и, будучи руководителем Комплексной комиссии по культуре народов Пиренейского полуострова при Совете по истории мировой культуры АН СССР, — в работе по координации усилий советских испанистов и латиноамериканистов по изучению испанского языка и испаноязычных литератур. Он состоял членом многих научных советов и редколлегий, а также ряда редакционно-издательских советов издательств.

Г. В. Степанов являлся членом оргкомитетов различных общесоюзных и международных научных форумов, возглавлял советские делегации на конгрессах, выступал в СССР и за рубежом с докладами и циклами лекций. Международным признанием больших заслуг ученого стало его избрание иностранным членом Испанской королевской академии, Лиссабонской академии наук и Саксонской академии наук в Лейпциге. Он был вице-президентом общества дружбы «СССР—Испания», членом Центрального правления общества «СССР — Венесуэла», а также Смешанной советско-испанской комиссии по культуре Испании.

Партия и Правительство высоко оценили заслуги Г. В. Степанова как гражданина и ученого. Они отмечены орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, а также медалями.

*

Сформировавшийся в традициях ленинградской филологической школы, ученик В. Ф. Шишмарева и Б. А. Кржевского, Г. В. Степанов на всю жизнь сохранил приверженность к филологии в широком значении этого слова, как к науке, в которой неразрывно объединяются проблемы языка и литературы, изучение внутреннего устройства языка, его функционирования в обществе и его использования в художественном творчестве. Уже первые исследования Г. В. Степанова — о роли Сервантеса в становлении испанского литературного языка — были проявлением такого широкого филологического подхода к языковым проблемам. В них Г. В. Степанов наглядно показал, как великий писатель в своей литературной деятельности сознательно проводил принцип сближения литературного языка с нормами общенародной разговорной речи. Уже в его первых работах был намечен комплекс проблем, которые он в дальнейшем развивал в своем научном творчестве. Можно выделить три круга этих проблем. Прежде всего — это изучение внутренней структуры испанского языка. Далее — это изучение вариативности языка — вначале на примере диалектных модификаций, затем на материале испанского языка за пределами Пиренейского п-ова и шире — на материале всей группы романских языков. Это направление исследований привело Г. В. Степанова к глубокой разработке общей теории языковой вариативности, вошедшей в фонд советской лингвистической науки. И, наконец, третьим направлением исследовательской деятельности Г. В. Степанова была разработка теории языка в художественной литературе.

Интерес Г. В. Степанова к проблемам внутреннего устройства языка отразился в ряде его статей, но он нашел свое глубокое воплощение в

написанных совместно с О. К. Васильевой-Шведе «Грамматике испанского языка» (1956, 1963) и «Теоретической грамматике испанского языка» («Морфология» — 1972, 1980; «Синтаксис» — 1981). Филологическая традиция была всегда значительна в странах испанского языка: достаточно напомнить, что первая грамматика национального языка, вышедшая в Европе, была именно грамматикой испанского языка Недрики (1492 г.) и что испанские грамматисты предвосхитили грамматику «Пор-Рояля». Монументальная «Теоретическая грамматика испанского языка» О. К. Васильевой-Шведе и Г. В. Степанова (более 600 с.) достойно венчает длинный ряд трудов, посвященных грамматике испанского языка, освещая проблемы его структуры с позиций современной науки. Грамматики испанского языка, созданные при его участии, издающиеся и переиздающиеся уже в течение трех десятилетий, представляют собой прекрасный образец сочетания академической и вузовской науки и являются базой для воспитания не одного поколения испанистов в нашей стране.

Углубленное изучение фактов одного — испанского — языка послужило Георгию Владимировичу основой для сопоставительного исследования группы романских языков и, наконец, для исследования языковых универсалий. Этот аспект его научных интересов отразился в коллективной монографии «Грамматика и семантика романских языков» (1978), где Г. В. Степанову принадлежат «Введение» и раздел, посвященный лексике. Он показывает, что структурно-типологический и сравнительно-исторический методы не могут быть абсолютно противопоставлены друг другу, выявляет ряд аспектов, определяющих глубинную общность обоих. Он предостерегает в равной степени от преувеличения как различий, так и сходств сопоставляемых языков. Вместе с тем в этой работе Г. В. Степанов ставит важную проблему сравнения языков как сложных диатопных и диастратных явлений: одна и та же тенденция в одном языке выступает как литературная, в другом — как ненормативная, в одном как общеязыковое, в другом — как диалектное. Такой подход побуждает исследователя преодолевать упрощенное представление о фактах языка и углублять свой анализ.

Центральное место в научном наследии Г. В. Степанова занимает проблематика, связанная с языковой вариативностью, с формированием национальных вариантов литературного языка. Именно этому аспекту лингвистики посвящены его важнейшие работы, здесь он сформулировал ряд теоретических положений, вошедших в сокровищницу советской лингвистической науки. В послевоенные годы в Советском Союзе стала активно разрабатываться теория вариантов национальных языков (иногда ее называют «вариологией»), и Г. В. Степанов был одним из ученых, внесших решающий вклад в разработку и развитие этой теории.

В том, что Г. В. Степанов пришел к исследованию проблем языкового варьирования, проявляется неумолимая логика научного исследования. Литературно-языковая деятельность Сервантеса, которую он исследовал в 50-е годы, протекала в условиях диалектной дробности Испании. Это вывело Георгия Владимировича к проблемам образования испанского национального языка (одна из его статей 1954 г. так и называется: «К вопросу о формировании испанского национального языка») и роли диалектов при этом. Интерес к территориально-социальным разновидностям испанской речи побудил Г. В. Степанова заняться изучением испанских диалектов [см., например, статью «О взаимодействии фонетики и морфологии (на материале испанских диалектов)»], а затем — особенностей испанского языка в Латинской Америке. Латиноамериканским

модификациям испанского языка посвящены серии его статей и две монографии — «Испанский язык в странах Латинской Америки» (1963) и «К проблемам языкового варьирования (Испанский язык Испании и Америки)» (1979). В этих книгах наряду с подробнейшей характеристикой особенностей языка в различных испаноязычных странах ставится и обсуждается ряд общих проблем, связанных с вариативностью языка.

Однако общая теория языковой вариативности разработана Георгием Владимировичем в монографии «Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи» (1976). Материал романских языков, на котором строится это исследование, не только не сужает, а, напротив, расширяет проблематику, ибо романская группа языков — в большей степени, чем какая-либо другая, — проявляет широкое разнообразие языковых состояний и ситуаций, что и позволило автору поставить весь комплекс вопросов, связанных с изучением этого аспекта языкового бытия. В этой книге Г. В. Степанов разработал систему общих положений и понятий, относящихся к «внешней лингвистике». Изучение этой проблематики на материале родственных языков имеет и еще одно существенное методологическое значение: оно позволяет выявить результаты внешних воздействий на внутреннюю структуру языка. Г. В. Степанов показал взаимозависимость этих двух аспектов языкового существования, которая до того времени не находила удовлетворительного объяснения в лингвистике. Во внешней системе языка Г. В. Степанов различает два аспекта: языковое состояние — общность всех видов его вариативности: функциональных (стили), форм существования (национальный язык, диалект), форм реализации (устная, письменная речь) — и языковая ситуация — взаимодействие и взаимодополнение различных типов речи в пределах единого социума. Г. В. Степанов подчеркивает, что из трех факторов, обусловливающих формирование и функционирование внешней системы языка — временного, пространственного и социального — основным является последний. Для описания внешней системы языка Г. В. Степанов предложил ряд понятий, включающих три типа оппозиций: синтопия/диатопия (рассмотрение языка в его единстве и в его территориальных вариациях), синстратия/диастратия (язык в его единстве и социально-функциональной стратификации), монофункция/полифункция (единичность и множественность социальных функций). Эти три ряда соотносительных понятий охватывают все возможные виды варьирования языка: пространственное, уровневое, функциональное. Благодаря этому исследованию и разработанной в нем методике лингвистика получила надежное орудие для изучения внешней системы языка, форм его существования и функций. Анализируя состояния романских языков, Г. В. Степанов подчеркивает, что современные испанский, французский, португальский языки не являются однородным целым, но представляют собой совокупность национальных вариантов, функционально равноправных.

Изучение языковой вариативности неразрывно связано с проблемой нормы в языке, и вполне закономерно, что Г. В. Степанов посвятил этой проблеме ряд работ. В статье «О двух аспектах понятия языковой нормы» (1966) он подчеркивает наличие двух норм в языке: объективной и оценочной (аксиологической). При этом объективная норма (реализация языковой системы) всегда предшествует аксиологической норме. Такой подход позволяет более объективно оценить нормализаторскую деятельность грамматистов, оценку ими «неправильностей» речи, различить понятия правильности и образцовости языка.

И в жизни, и в науке Георгию Владимировичу был свойственен демократизм, стремление к укреплению справедливости. Пафос его исследований в области вариантов языка, языковой нормы направлен на реабилитацию, на валоризацию форм речи (например, латиноамериканских вариантов испанского языка), которые традиционная грамматика рассматривала как низшие формы речи, как «отклонение» от правильной нормы, несмотря на то, что они обслуживали миллионы людей в разных сферах общения — бытовой и общественной.

Третье направление лингвистических исследований Г. В. Степанова — язык художественной литературы — представлено многими статьями, специально посвященными проблемам стилистики, стилю художественной литературы, языку отдельных авторов, испанских (Сервантес, Кальдерон, Валье-Инклан, Унамуно, Лорка и др.) и русских (А. С. Пушкин, А. Т. Твардовский, М. А. Шолохов), а также общим вопросам соотношения языка и литературы, лингвистики и теории литературы. Анализ литературного творчества и языка художественной литературы занимает все большее место в научной деятельности Г. В. Степанова в последние годы. Обращение к литературоведческим проблемам позволило Г. В. Степанову затронуть ряд общеметодологических и философских проблем, интересовавших его в последние годы жизни. В статьях «Содержательный и формальный аспекты в литературно-историческом анализе художественного произведения» (1977) и «О границах лингвистического литературоведческого анализа художественного текста» (1980) он по-новому ставит ряд вопросов, связанных со спецификой языка художественной литературы и методикой его исследования. Г. В. Степанов находит новые, убедительные аргументы для того, чтобы отвергнуть формализованные методы исследования художественного текста, поскольку при анализе художественного текста изучается не только языковая система, но главным образом речевая реализация, исходящая из личности автора. В своих многочисленных предисловиях к произведениям испанских классиков Г. В. Степанов дает замечательные образцы лингвистической и литературоведческой стилистики. Задачу литературоведческой стилистики он видит в раскрытии содержания текста на фоне категорий литературоведения и эстетики. Он внес существенный вклад в разработку некоторых из этих категорий, исследуя, в частности, категорию адресата в художественном произведении, соотношение «автор — адресат», роль адресата в формировании художественных жанров. Общий интерес науки XX в. к типологии и типологическому подходу преломился в исследованиях Г. В. Степанова в разработке им понятия «жанров — парадигм», являющихся характерным признаком художественных произведений, а также в его обращении к типологии ситуаций. Все литературное художественное творчество человека — от фольклорных сказок до величайших романов — представляет собой описание ситуаций, в которых вообще могут оказаться люди. Разработка общей типологии ситуаций, намеченной в ряде литературоведеческих работ прошлого, может создать объективную основу для лингво-литературоведческих исследований. Эта проблема последние годы живо интересовала Г. В. Степанова. Неслучайно в своих лингво-литературоведческих работах он охватывает широкий диапазон литературных жанров — от «Дон Кихота» — одного из величайших романов в истории человечества, от Пушкина и Лорки — до народных сказок Испании и Португалии.

Наряду с научной деятельностью Георгий Владимирович уделял большое внимание редакторской работе. Он являлся редактором сборни-

ков «Iberica» и ряда коллективных трудов, а также многих монографий различных авторов — не только маститых ученых, таких, как М. П. Алексеев или В. В. Виноградов, но и ряда менее известных. В этом проявилась важная черта Г. В. Степанова как ученого. Он уделял много внимания развитию науки в целом, способствуя изданию или переизданию полезных научных трудов. Неслучайно академик Г. В. Степанов взял на себя ответственное редактирование «Энциклопедического словаря юного филолога» (1984). Распространению филологических знаний среди молодежи он придавал большое значение, и его блестяще написанное предисловие к этому словарю сегодня воспринимается как научное и идейное завещание большого ученого, обращенное к учащейся молодежи.

Нельзя, наконец, не сказать несколько слов о выдающихся человеческих качествах Георгия Владимировича. Несмотря на трудные испытания, неоднократно встававшие на его жизненном пути, он никогда не утрачивал чувства доброжелательности и стремления идти навстречу приходившим к нему с вопросами или за советом. Подкупали его личное обаяние, высокая внутренняя культура, доверие к коллегам по работе. До последних своих дней он сохранял умение не только учить, но и учиться, что позволяло ему всегда быть готовым к непредвзятой оценке и восприятию новых научных идей. Таким он и останется в памяти друзей и коллег.

Редколлегия

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1987

ДЕСНИЦКАЯ А. В.

К ИСТОКАМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ БАЛКАНСКИХ ЯЗЫКОВ

В появившихся за последнее десятилетие общих обзорах проблем и методов балканистики определенное место отводится истории становления этой отрасли современного языкознания [1, 2]. В качестве исходного момента обычно упоминается об относящемся к 1829 г. высказывании В. Копитара, отметившего, что в балканском регионе «господствует одна языковая форма» («nur eine Sprachform herrscht»), воплощаемая, однако, в различной (согласно Копитару, в «троякой» — «dreierlei») «языковой материи» («Sprachmaterie») [3]. Цитируются также более или менее случайные высказывания А. Шлейхера о балканских языках и излагается содержание основополагающей работы Фр. Миклошича [4], в которой впервые был дан перечень общих признаков, характерных для балканских языков. Разумеется, воздается дань заслуге Кр. Сандфельда, опубликовавшего в 1926 г. (на датском языке) свой труд «Балканская филология» [5] и позднее его французский вариант [6]. И, наконец, при переходе к современному состоянию балканистики, развивающейся в основном под знаком теории «языкового союза» (Sprachbund), особое внимание уделяется известному тезису Н. С. Трубецкого, сформулированному им в 1928 г. на I Международном лингвистическом конгрессе [7].

Н. С. Трубецкой, как известно, сам не был специалистом-балкановедом и опирался в основном на материал, собранный в книге Кр. Сандфельда. Исторически сложившееся сходство языков балканского ареала он использовал в качестве основного примера (Musterbeispiel) в поддержку развивавшейся им общей теории двух типов языковых общностей — языковых семей (Sprachfamilien) и языковых союзов (Sprachbünde). Таким образом, предыстория балканистики сводится в сущности к эволюции одной идеи — положения об особом характере сходств, объединяющих языки Балканского п-ова.

Имея в виду большое теоретическое значение балканистических исследований (в целом не ограничивающихся областью языкознания, но распространяющихся также на всю сферу духовной и материальной культуры народов, объединявшихся на протяжении многих столетий общностью исторической жизни в пределах относительно ограниченного географического пространства), представляется уместным высказать некоторые соображения относительно того, что могла бы включить в себя история балканистики в ее собственно лингвистической части.

1. Балканистика как лингвистическая дисциплина не может ограничиваться теоретическими спорами о предмете и методе, концентрирующимися вокруг небольшого набора общих признаков, присущих языкам балканского ареала, которые в основном были выявлены уже более ста лет тому назад. Каждый из этих признаков реально существует лишь

в системах отдельных языков и по-разному соотносится с другими элементами этих систем. Специальному изучению подлежит взаимодействие языковых систем балканского ареала, притом в разные периоды истории народов, населявших и населяющих этот ареал. Образование определенного количества сходных черт на различных уровнях соответствующих систем — начиная от лексики и кончая фонетикой и синтаксисом — представляло собой целый комплекс процессов, совершавшихся на различной хронологической глубине и в различных конкретно-исторических ситуациях этнического взаимодействия. Иными словами, предмет балканистики, а тем самым и историю становления этой научной дисциплины следует считать более широкими и более содержательными, чем рассмотрение давно известного набора фактов, используемых в некоторой общей концепции, до сих пор не получившей, однако, обоснования на других лингвистических примерах.

2. Идея об особом характере и особом происхождении лингвистических признаков, объединяющих ряд языков определенного географического пространства, не была случайной для исторического языкознания XIX в. В частности, применительно к балканским языкам она не была случайной для Фр. Миклошича, одного из основателей сравнительного метода изучения языковых семей. Поэтому эволюция идеи о вторичной лингвистической общности, перекрывающей изначальные генетические связи отдельных языков балканского ареала, не может быть оторвана от общего научного контекста языкознания XIX и начала XX в. На ее оформление оказывали влияние сменявшиеся научные модели лингвистических концепций того времени, точно так же, как и в наши дни на изучение соответствующих фактов определенным образом влияет структурно-типологическое моделирование понятия «языкового союза».

Общепризнанное «начало» балканистики, иначе говоря, заключение о наличии особого характера сходства, объединяющего языки народов Балканского п-ова, сформулированное В. Копитаром в 1829 г., также не могло быть случайным. Оно, естественно, было подготовлено предшествующими наблюдениями, связанными с определенной направленностью общественных и научных интересов того времени на соответствующую область языковых фактов. Здесь обнаруживается целый ряд еще не затрагивавшихся балканской историографией вопросов. В их числе: а) более подробное рассмотрение взглядов самого Копитара на балканские лингвистическое проблемы; б) характерное для первых десятилетий XIX в. повышенное внимание к балканской проблематике, получившее широкое отражение прежде всего в мемуарной литературе и вызывавшееся в значительной мере ходом политических событий (русско-турецкие, наполеоновские войны, национально-освободительная борьба греческого народа и др.); в) внутренние обстоятельства и события жизни самих народов Балканского п-ова, выдвигавшие на повестку дня проблему языкового общения в условиях полиэтнической среды. Ниже я остановлюсь на последнем из названных вопросов.

*

Примечательно, что полилингвизм как культурно-языковая проблема был впервые осознан самими представителями балканской многоязычной среды еще в XVIII в. Примечательно также, что его отображение осуществилось в характерной для этого периода научной форме — в виде сравнительных словарей. В 1770 г. в Венеции был напечатан трехъязыч-

ный (греко-аромуно-албанский) словарь протопопа Теодора Каваллиотиса мосхополитянина, а в 1802 г. вышел вторым изданием (первое издание предположительно в 1793—1794 гг.) четырехъязычный (греко-аромуно-болгаро-албанский) лексикон священника (и учителя) Даниила мосхополитянина [8, 9] [1].

Оба автора были учителями греческой гимназии Мосхополиса — города на юго-востоке Албании, процветавшего в XVIII в. как важный экономический и культурный центр. Назвав себя «мосхополитянами», они подчеркнули не только свою принадлежность к кругу просвещенного православного духовенства, осуществлявшего учительскую деятельность в знаменитой школе Мосхополиса (в 1750 г. эта школа получила название «Новая Академия»), но и свое происхождение из этого города. Уже один этот факт может пролить свет на источник их интереса к проблеме балканского многоязычия. Этот интерес был непосредственно связан с их жизнью и учительской деятельностью в этнически пестрой среде православного населения юго-восточной Албании и граничащих с ней областей Северной Греции. Именно в этой части тогдашней Турецкой империи особенно наглядно было представлено сосуществование, правда, в различных количественных соотношениях, четырех этнических элементов. На территории Албании они сосуществовали при господствующем положении албанского этноса, к востоку преобладающим становился славянский этнос, к югу — греческий. Более или менее компактные островки влашского (аромунского) населения были распространены по всему отмеченному ареалу. Помимо влашских деревень, количество которых в XVIII в. было довольно значительно, влахи, занимавшиеся торговлей и ремеслами, жили также в городах, и, в частности, в Мосхополисе, где они составляли преобладающую часть населения. Кроме того, общины влашских пастухов продолжали вести унаследованный от старины кочевой образ жизни, связанный с сезонной сменой пастбищ, и соответственно передвигались по всему пространству.

Таким образом, многоязычие было той естественной лингвистической средой, в которой возникла и оказалась осуществленной идея создания первых балканских сравнительных словарей.

Специфический характер языковых отношений в этой глубинной части европейских владений Турецкой империи привлекал к себе внимание тех немногих путешественников, которым удавалось в нее проникнуть. Так, например, английский консул в Янине Уильям М. Лик, движимый интересом исследователя, обнаружил в 1805 г. следующее соотношение языков в одном из горных районов на юго-востоке Албании: «Деревни по обе стороны впадины, которую мы пересекли, образуют область Опари; за исключением Лавдари, их обитателями в основном являются дикие мусульмане-албанцы тосского племени, и количество христианских домов в тридцати деревнях не более 230. Хотя обычным для них служит албанский язык, многие из мужчин говорят по-гречески, потому что священники у них в основном из Греции и потому что большая часть мужского населения считает этот язык необходимым для общения при перевозке грузов или охране стад в соседних областях Греции... Влашский язык также частично используется в этих горах». И далее: «Таким образом, на протяжении короткого расстояния путешественник может услышать речь на пяти языках — турецком, албанском, болгарском,

[1] Тексты этих словарей неоднократно воспроизводились. Новейшие научные издания, снабженные содержательными введениями [10, 11].

влашском и греческом. Все эти языки коренным образом различны, хотя в результате длительного смешения населения они обладают множеством общих слов. Турецкая речь слышится реже всего» [12, с. 346—347].

Город Мосхополис, лежавший на широком плоскогорье на середине пути между Корчей и Бератом, был одним из главных центров ареала, в котором среди основной массы албаноязычных деревень были разбросаны островки влашских поселений (Лэнга, Грабова, Шипска и др.), а в окрестностях Корчи — также отдельные славянские, количество которых вследствие длительного процесса ассимиляции постепенно сокращалось. Население, пользовавшееся влашским (аромунским) языком в XVIII в., также было более значительным, а в Мосхополисе оно составляло большинство. В греческой школе этого города, где протекала учительская деятельность Теодора Каваллиотиса и Даниила, обучались представители всех национальностей юго-восточной Албании. Это вызывало практическую необходимость использования в процессе преподавания греческого языка также других языков, являвшихся для учащихся родными, что одновременно стимулировало возникновение собственно научного интереса к сопоставлению всех этих языков.

Мосхополис был разрушен в результате грабительских набегов, инспирированных турецкими властями, еще в конце XVIII в., и жители его расселились по другим городам. На месте некогда богатого и культурного города, среди развалин многочисленных церквей, сохранилась лишь небольшая деревня — Воскопоя (алб. Voskopojë). Однако в прошлом это был процветавший центр ремесленного производства и торговли. В период наивысшего экономического и культурного подъема (середина XVIII в.) в нем существовало 17 цеховых организаций (эснафов) ремесленников, а купечество Мосхополиса, помимо широкой торговой деятельности внутри страны, поддерживало также интенсивные торговые отношения с городами Западной и Восточной Европы. Греческая гимназия этого города на короткий период оказалась вторым после Янины образовательным центром в юго-западной части Балканского п-ова.

Среди городов Греции в XVIII в. Янина была наиболее тесно связана с культурной жизнью Западной Европы, и в интеллектуальной среде ее активно воспринимались и распространялись идеи буржуазного Просвещения. Эти идеи достигали и Мосхополиса, особенно с 1746 г., когда во главе его «Новой Академии» стоял Теод. Каваллиотис, получивший в Янине разностороннее философское и филологическое образование. Можно с уверенностью предполагать, что Теод. Каваллиотис лично знал выдающегося греческого ученого и философа Евг. Вульгариса, который преподавал в одной из школ Янины в 1748—1750 гг. Во всяком случае Каваллиотис разделял его стремление обосновать религиозные догмы христианства с помощью европейской философии и науки нового времени. Сохранились рукописные тексты лекционных курсов Каваллиотиса по основным дисциплинам философского цикла («Логика», «Физика» и «Метафизика»), которые он преподавал в мосхопольской «Новой Академии».

Албанские исследователи отмечают, что Каваллиотису особенно близки были идеи Декарта, Лейбница, Мальбранша и Гассенди [13, с. 318]. Отстаивая в своих трудах определяющую роль разума в познании и деятельности людей и тем самым являясь мыслителем эпохи Просвещения, Каваллиотис в то же время был последователен в своей идеалистической позиции [14] и как представитель греческой православной церкви боролся против материалистических идей, проникавших в Албанию благодаря участившимся поездкам некоторой части южноалбанской торговой бур-

жуазии на Запад (коммерческая деятельность, обучение отдельных лиц в западноевропейских университетах и др.)[2].

Мосхопольская школа, при которой в 1720 г. была создана с целью издания учебных пособий даже греческая типография, имела, по предположению албанского исследователя Ило М. Кьафзези, полусветский характер [«shkolla ieratiko-tregëtare» («духовно-коммерческое училище»)] [16], и преподавание в ней охватывало широкий для того времени набор общеобразовательных дисциплин (artes liberalis). В богатой библиотеке ее были представлены, помимо литературы религиозного содержания, произведения греческих и римских классиков (в изданиях XVIII в.), а также сочинения Расина и Корнеля [13, с. 303].

Основой обучения в школе был греческий язык, который прокламировался фанариотской верхушкой константинопольской патриархии как единственный язык церкви и школы для православных подданных Турецкой империи. Требование это находилось в полном соответствии с известной установкой турецких властей, согласно которой каждый мусульманин объявлялся «турком», а каждый православный христианин — «греком».

Однако вопрос о статусе негреческих языков, являвшихся родными для преобладающей части населения Балканского п-ова, уже со второй половины XVIII в. стал приобретать характер острой проблемы, в выдвижении которой получал выражение рост элементов национального самосознания. Для южной части Балканского п-ова вопрос этот возникал, помимо славян, обладавших давней письменной традицией, также в среде представителей влашского (аромунского) этноса, и в особенности в кругу албанцев, получавших образование в стенах мосхопольской «Новой Академии». В указанный период (вторая половина XVIII в.) выдвинулся ряд образованных священников албанского и влашского происхождения, в той или иной степени направлявших свою просветительскую деятельность на постановку и решение языковых проблем, возникавших в полиэтнической среде, составлявшей сферу влияния мосхопольского культурного центра. Кроме Теодора Каваллиотиса (ок. 1718—1789), который был для других непосредственным учителем, можно назвать имена священника Даниила (? — 1825), Теодора Хаджи-Филипи (1730—1805), Константина из Берата, митрополита дурреского Григория и священника Евстратия из Виткутя (алб. Vithkuq), также преподававшего в мосхопольском училище.

Усилия албанцев Теодора Хаджи-Филипи, Константина и Григория прямо ориентировались на создание письменности на албанском языке, что выражалось в возникновении переводов религиозных текстов с греческого на албанский и даже в попытках изобретения особых алфавитов — специально для этого языка. Эта их деятельность осуществлялась вопреки установкам церковных властей, признававших только за греческим языком право быть языком религии и школы для православного населения южной части Балканского п-ова.

Иной была позиция Каваллиотиса и Даниила, словари которых были опубликованы как составные части пособий для начального обучения и со-

[2] О том, что школа Мосхополиса была не единственным источником проникновения в Южную Албанию идей буржуазного Просвещения, свидетельствует интересный факт, рассказанный французским консулом в Янине Ф. Пукевилем в его путевых записках. Путешествуя по Южной Албании в 1806 г., он встретил в Пермете почтенного старика, который много лет жил в Париже, вращался в его литературных кругах и был лично знаком с Дидро [15]. Не менее интересно сообщение У. М. Лика о том, что в Берате живший там греческий врач отличался большой ученостью и даже перевел на новогреческий (into modern Greek знаменитый труд Ж. Бартелеми «Путешествие в Грецию юного Анахарсиса» [12, с. 354].

держали элементарные тексты для чтения на греческом языке (религиозно-моралистические сентенции, молитвы, отрывки из библейской истории и др.). Словари, содержавшие параллельные столбцы слов (у Каваллиотиса) и предложений (у Даниила) на нескольких языках, должны были помогать учащимся в овладении греческим языком, как об этом совершенно определенно заявил Даниил в заглавии своего труда, составленного, по его словам, ради того, чтобы «облегчить обучение молодым иноязычным филологам» (Συντεθεῖσα μὲν ἐν ἀρχῇ χάριν εὐμαθείας τῶν φιλολόγων αλλογλώσσων γεων).

Таким образом, и Теод. Каваллиотис, опубликовавший в типографии Мосхополиса элементарную грамматику греческого языка, и Даниил, который в своем четырехъязычном лексиконе расширил более скромный замысел своего предшественника, не выходили за рамки того, что официально разрешалось греческими церковными авторитетами в качестве вспомогательных средств при изучении греческого языка. Но за формальной лояльностью по отношению к церковным властям, допускавшим привлечение родных языков негреческого населения только как вспомогательное средство (притом лишь на низшем уровне обучения), в лексикографических трудах Каваллиотиса и Даниила можно усмотреть независимую позицию, связанную с идеями века Просвещения. Недаром Каваллиотис пропагандировал в своих лекциях философские взгляды Лейбница и других западноевропейских просветителей. Идея равноценности всех языков, отражавшая идею равенства народов и открывавшая пути к познанию лингвистической «картины мира» на основе сопоставления языков, во множестве представленных на всех континентах, по-видимому, была близка и понятна балканским просветителям. Более того, как представители многонациональной и многоязычной среды, характерной для западной части Турецкой империи, они, хотя и соглашались с приоритетом греческой культуры и греческого языка, в то же время недвусмысленно заявляли о сосуществовании в данном ареале нескольких языков в качестве самостоятельных и по существу равноправных лингвистических единиц, принадлежащих различным народностям. Это видно хотя бы из того факта, что трехъ- и четырехъязычный материал располагался в их словарях в виде параллельных столбцов слов и словосочетаний. В изображении ситуации балканского многоязычия Каваллиотис и Даниил как люди своего времени воспользовались той научной моделью, которая в представлениях ученых XVIII в., основывавшихся на идеях Лейбница, казалась наиболее подходящей, а именно формой сравнительных словарей. Хотя авторы этих словарей ограничивали поле применения своих лингвистических достижений практикой школьного обучения, научное значение их трудов, в особенности труда Даниила, впервые сопоставившего четыре балканских языка на уровне синтаксических построений, выходило далеко за пределы дидактических заданий. Подходя с современными оценочными критериями к результатам сопоставлений языкового материала в рамках создававшихся в XVIII в. многоязычных словарей, можно заметить, что сопоставление фактов трех-четырех языков, распространенных в пределах одного географического ареала, оставляло последующей науке более позитивное наследие, позволявшее делать определенные наблюдения и выводы, по сравнению с хаотическими массами изолированных фактов, сопоставлявшимися в знаменитых словарях языков мира, которые уже к началу XIX в. оказались в принципе устаревшими. Словари Каваллиотиса и Даниила, сыгравшие известную роль в период зарождения балканистики, продолжают оставаться одним из недостаточно оцененных и недостаточно

изученных исторических источников для исследований в этой области.

Словарь Каваллиотиса содержит более тысячи словарных единиц, представленных в виде параллельных столбцов новогреческих, аромунских и албанских эквивалентов. Его можно рассматривать как экспозицию обиходной лексики трех балканских языков, выполненную образованным представителем самой балканской многоязычной среды. По сообщению Джехани, ученика Каваллиотиса, зарегистрированному в труде И. Тунмана [17], учитель его владел греческим, аромунским и албанским языками как родными («da er das Griechische, das Wlachische und Albanische als Muttersprache versteht und redet...). По своему происхождению Каваллиотис был, по всей вероятности, аромун, что не мешало ему, однако, обладать столь распространенной среди балканских народов способностью свободно говорить на нескольких языках [3]. Характерно, что не только аромунская и албанская части словаря отражают живую народную речь, что вполне естественно, но и греческая лексика соответствует не письменной, а народно-разговорной форме языка.

Языковые материалы, собранные Каваллиотисом, имеют документальную ценность для неоэллинистики, романистики и албанологии, причем изучение их представляет интерес в целом ряде аспектов — перед нами памятник живой речи трех балканских народностей, какою она была в XVIII в. В частности, в отношении типа албанской речи, отраженной в словаре Каваллиотиса, я уже имела случай высказать мысль о том, что этот тип, тождественный с типом речи соседней с Воскопоей краины Опар, представляет собой южноалбанскую народно-разговорную койне, «получившую свой наиболее стандартизованный облик на востоке Тоскерии»; материалы Каваллиотиса, Даниила и Лика показывают, что «этот обобщенный тип южноалбанской речи сложился уже к началу XIX в. » [18].

Эту точку зрения, правда, в самом общем виде, поддержал А. Хетцер, детально исследовавший фонетику и морфологию албанской части материалов Каваллиотиса (во ступительной статье к [10, с. 48]) [4].

Для балканистики в целом лексика трех языков, сопоставленная в труде Каваллиотиса, дает материал, очень важный с исторической точки зрения, т. к. в этом памятнике зафиксировано балканское лингвистическое взаимодействие еще в состоянии активного процесса, каким оно было

---

[3] Мне представляется неубедительным мнение А. Хетцера, считающего единичные случаи нарушения грамматической правильности при построении албанских атрибутивных словосочетаний (опущение артикля или смещение падежных конструкций в сочетаниях типа *qira shtëpisë* «аренда дома», mollë faqesë «щека»; неартикулированная форма прилагательного при инверсии: *a re lopë* «молодая корова») признаком того, что Каваллиотис слабо знал албанский язык или даже не сам составлял албанскую часть своего словаря [10, с. 37]. В текстах, отражающих ненормированное состояние языка, такого рода колебания не являются чем-то необычным и наблюдение их представляет интерес с точки зрения истории эволюции грамматического строя. Надо учитывать, что албанский язык в XVIII в. еще не подвергался грамматической обработке.

[4] Однако я не могу согласиться с тем, как Хетцер трактует в данном случае понятие «койне». Он пишет, что здесь «речь идет о фиксации наддиалектной языковой формы, наметившейся среди православного албанского населения, в которую могли спорадически вливаться северовосточногегские (? *Д. А.*) элементы» [14, с. 50], допуская при этом даже возможность искусственного смешения диалектных признаков Каваллиотисом, который не был албанцем. Все это построение кажется искусственным, особенно если иметь в виду соответствие признаков языка Каваллиотиса той диалектной непрерывности, которая характеризует южноалбанский ареал. Я считала и продолжаю считать, что южноалбанская койне сложилась на более широкой народной основе. Только при этом условии она могла явиться исходной формой для создания во второй половине XIX в. новоалбанского литературного языка (в его южном варианте).

в XVIII в. В этом отношении еще более интересен составленный в конце XVIII столетия «Четырехъязычный лексикон» Даниила, материалы которого как бы специально подготовлены для изучения взаимосвязей балканских языков на уровне синтаксических конструкций. Лексикон этот, который правильнее было бы назвать «разговорником», содержит более 200 предложений, переведенных с народной формы греческого (ῥωμαΐϊκα) на аромунский (βλάχικα), болгарский (βουλγάρικα) и албанский (Α'λβανίτικα) языки. Как и в словаре Каваллиотиса, четырехъязычный материал расположен параллельными столбцами. Группы предложений объединены в миниатюрные связные тексты, в разбивке которых на отдельные предложения, словосочетания, а иногда на отдельные слова строго соблюден принцип соответствия между сопоставленными языками. В основном, разумеется, соблюдены соответствия греческим образцам текста, которые являлись предметом освоения (вероятно, путем заучивания наизусть).

В стихотворении, служащем своего рода предисловием, содержится призыв к албанским, влашским и болгарским юношам «отказаться от своих варварских языков и обычаев», «очнуться от глубокого сна невежества» и изучить «мать знаний» — греческий язык [13, с. 312]. Однако это обращение вряд ли следует принимать en toutes lettres, т. е. как выражение подлинного отношения Даниила к родным языкам той среды, в которой он учительствовал (Даниил продолжил преподавательскую деятельность Каваллиотиса в училище Мосхополиса). Хотя он, несомненно, считал греческий основным языком письменной культуры для православных христиан европейской части Турецкой империи, назвав родные языки албанцев, влахов и балканских славян «варварскими», он скорее всего выразил этим свою лояльность по отношению к официальной установке церковных властей. Сам же факт параллельного перевода на эти языки довольно обширного комплекса греческих текстов объективно может быть оценен как признание за этими переводами возможности быть использованными в целях широкой проповеди и преподания разного рода полезных жизненных советов. В этом убеждает содержание текстов, которые в целом представляют собой интересный памятник культуры и быта балканского города на рубеже XVIII и XIX вв. После краткого изложения библейского мифа о божественном создании вселенной и всего живого на земле идут поучения, включающие краткие описания примерных жизненных ситуаций, а также множество советов бытового характера, охватывающих отношения между членами семьи и с соседями, домашнее хозяйство, заготовку запасов на зиму, лечение болезней, шитье одежды, сопровождаемое указаниями, кому что подобает носить, соблюдение чистоты и порядка в жилище и т. д. Тут же жалобы на неурожай, на дороговизну, рассказ о детях, плачущих от голода, о нападениях разбойников, возмущение бесчинствами судей и чиновников, пьющих кровь бедняков. Тексты дают богатый материал для изучения жизненного уклада, общего для полиэтнической среды, составлявшей городское население южной Албании и соседних областей Балканского п-ва. Реалии, о которых идет речь в текстах, непосредственно отражены в лексике четырех языков, причем обнаруживаются как лексические тождества, так и различия.

В то же время структура памятника — соположение четырех идентичных по содержанию, но различных по языковой форме текстовых вариантов — создает редкую возможность сравнения синтаксических конструкций, причем синхронный срез уже заранее предуказан самим характером памятника, отражающего состояние соответствующих языков

в определенный хронологический период — конец XVIII — начало XIX в. [5]

Вот как выглядит экспозиция материала в этом оригинальном лингвистическом документе (аромунский, болгарский и албанский тексты, в оригинале представленные в греческой графике, даются в транслитерации Кристофсона):

Ῥωμαΐικα	Βλάχικα	Βουλγάρικα	Ἀλβανίτικα
Ἂν θέλης νὰ ἀνάψῃς τὸν φοῦρνον	Se vruri se aprindzi cireaplu	Ako sakas da zapališ furnata	Ndë dash të ndezish furrënë
νὰ ῥίξῃς μέσα	se aruţi nauntru	da fărliš natre	të shtiesh brenda
ζεγνὰ ξύλα, ὅτι τὰ χλωρὰ καπνίζουν	uscate lemne că verdzile facu fumu	sui dărva oti suroite čadaet	të thata dru se të njomat tymojnë

Перевод: «Если хочешь / затопить печку,/ положишь внутрь / сухие дрова, / потому что сырые (свежие) / дымят» [10, с. 57].

При сравнении этих параллельных столбцов сразу же бросается в глаза общность таких структурных моментов, как употребление конструкций с сослагательным наклонением, эквивалентных инфинитивным, а также употребление постпозитивных артиклей в аромунском, болгарском и албанском текстах. В следующем тексте обращает на себя внимание сходство в выражении значения будущего времени, а также конструкций с сослагательным наклонением — во всех четырех языках:

τώρα θέλ νὰ ἀγοράσω μ'ἀν ἀρμάθαν ἀπὸ σῦκα νωπά	Tora va se cumpăru unu baem de h'iţe tazei	Sega k'e kupam edna niza ot smokfi presni	Tashi do të ble nji vare pe liq taze
Διὰ νὰ τὰ πηγαίνω εἰς τὴν φαμιλίαν μου νὰ τα τρώγουν	tra se le ducu la fumel'ea a mea se le măcă.	za ..a i nosam na čeljata moi da i jadaet.	qi ti shpie ndë fëmiet te me ti hanë.

Перевод: «Теперь я куплю / одну вязку / свежих фиг, / чтобы их отнести / моим домочадцам, / чтобы они их поели» [10, с. 35].

«Четырехъязычный Лексикон» Даниила был, вероятно, известен Фр. Миклошичу, когда он в 1861 г. впервые опубликовал список характерных общих признаков балканских языков, начав его с а) образования форм будущего времени и б) отсутствия инфинитива [4, с. 6] [6].

[5] Отдельные грамматические неправильности, отмеченные издателем памятника И. Кристофсоном в славянской и албанской частях текста, а также тот факт, что славянский перевод был выполнен не самим Даниилом, но, по его просьбе, священником Стефаном из Охрида, в данном случае не имеет принципиального значения [10, с. 7—8].

[6] В библиографии, опубликованной Миклошичем в 1870 г. [19], приведено подробное название труда Даниила.

*

Труды Каваллиотиса и Даниила сразу же после их появления приобрели некоторую известность в ученых кругах Европы. Трехъязычный словарь Каваллиотиса был уже в 1774 г. (через четыре года после оригинальной публикации) перепечатан, с добавлением латинских переводов, в сочинении известного немецкого историка И. Тунмана [18, с. 181—238]. Внимание Тунмана к этому словарю и вообще к балканской проблематике было привлечено в результате его общения с одним из питомцев Мосхопольской «Новой Академии» — Константином Хаджи Джехани. Этот сын мосхопольского коммерсанта посещал университетские занятия в Халле, где Тунман был профессором; он был хорошо образованным человеком и горячим защитником культурных прав балканских народов. Как пишет Тунман, Джехани сообщил ему много сведений об албанцах и аромунах (влахах) — об их языках, расселении, численности, этнических наименованиях и др. [19, с. 180]. Заинтересованный и увлеченный, Тунман посвятил специальный раздел своей книги «Истории и языку албанцев и влахов» («Über die Gechichte und Sprache der Albaner und Wlachen»).

Указав на малую осведомленность жителей Западной Европы относительно происхождения, истории и языков этих народов, он подчеркнул важность их изучения. Ведь это, пишет он, «древние, важные, самостоятельные народы (Hauptvölker), узнать о которых должен бы стремиться каждый историк, для того чтобы заполнить большой пробел в древней и новой истории Европы. Но сейчас они больше не играют самостоятельной роли, они порабощены, несчастны. А историк часто бывает столь же несправедлив, как и обыкновенный человек, он презирает того, кто не имеет счастья» [10, с. 171]. Задачей своего сочинения Тунман считал выяснение исторических судеб этих народов до их завоевания турками. Поэтому он тщательно выбрал из византийских источников имеющиеся в них сведения о средневековой истории албанской и восточнороманской народностей. В своем понимании древнейших периодов истории Балканского п-ова он исходил из мысли о том, что албанцы — потомки иллирийцев, а влахи (т. е. восточные романцы) — потомки фракийцев. Сопоставляя показания античных и византийских авторов, он пытался определить первоначальное и последующее распространение этнического названия «албанцы». Указав на несостоятельность предлагавшейся в его время гипотезы относительно переселения албанцев с Кавказа, отождествления их со славянами и др., он утверждал, что не нашел в истории албанского народа каких-либо следов позднейшего переселения» [10, с. 245]; «...язык албанцев сохраняет такие свидетельства о судьбах народа, что невозможно не признать в нем исконных соседей греков и подданных древнего Рима. То и другое вместе указывает на древних иллирийцев» [10, с. 245—246]. Тунман изложил сообщаемые древними историками события, составлявшие процесс завоевания Римом территории древней Иллирии, и указал при этом на особые условия романизации автохтонного населения в горных областях. В то время как повсеместно, покоряя менее культурные народы, римляне вводили свои законы и обычаи, а язык их становился господствующим (так было в Галлии, Испании, Дакии, Фракии), население горных областей более устойчиво сохраняло самобытность. Латинский язык, проникший и в горы Иллирии, смешался с языками старого их населения, однако «вытеснить их он не мог, точно так же, как в Пиренеях и в горах Кантабрии» [10, с. 268]. Благодаря этому албанский народ сохранил, как полагал Тунман, древнюю иллирийскую основу своего языка.

В то же время обнаруженное им в албанской лексике (по материалам Каваллиотиса) большое количество иноязычных элементов отразило различные периоды истории албанского народа. В частности, к периоду римского господства на Балканах относится проникновение в албанский язык множества латинских слов. Тунман считал, что в перепечатанном им словаре Каваллиотиса более сотни слов имеют латинское происхождение; значительно меньше заимствований из древнегреческого. Дальнейшее переселение на Балканский п-ов славянских племен имело следствием, как полагал Тунман, проникновение в албанский язык также многих славянских слов.

Не менее интересны были суждения Тунмана относительно происхождения влахов, точнее — восточнороманского этнического элемента на Балканах, которых он считал романизованными фракийцами, «смешавшими латынь со своим собственным языком». Он писал: «Фракийские насельники Фессалии, Македонии и собственно Фракии, по-видимому, очень рано начали говорить на языке своих господ — римлян. Однако простой человек никогда не говорил по-латыни чисто. Он искажал слова и смешивал их со словами и выражениями своего родного языка. Так было и в Галлии, в Испании, и повсюду, где долго господствовали римляне. Крестьянская речь римлян была собственно языком провинций, куда она попала путем колонизации» [10, с. 340].

Тунман считал, что уже к концу VI в. во Фракии говорили «по-влашски» (т. е. на восточнороманском языке). Интересны его соображения относительно лексического состава языка «влахов, живущих по ту сторону Дуная» (т. е. собственно румын). По его подсчетам, «половина лексики является латинской, на три восьмых — греческой, на две восьмых — готской, славянской и турецкой. Остальные три восьмых происходят из языка, очень сходного с албанским, так как более семидесяти влашских слов совпадают со столькими же албанскими. И те албанские слова, которые имеют значение, тождественное с последними тремя восьмыми влашского языка, имеют, по большей части, латинское происхождение» [10, с. 339].

При всей спорности метода произведенных им подсчетов и соответственно их результатов Тунман, однако, подошел к научной постановке проблемы происхождения восточнороманского типа речи. Со своим взглядом историка он, несомненно, оказался впереди филологии того времени при рассмотрении вопросов образования и истории албанского и восточнороманских языков. Интересны также высказанные им соображения относительно этнических названий «влахи» (Wlachen) и «румуне, румане» (Rumunje oder Rumanje) [10, с. 344 и сл.]. Большое место при изложении сведений о средневековой истории восточных романцев Тунман отвел вопросу о характерном для них скотоводческом типе хозяйства.

Даже из краткого изложения видно, насколько глубоко Тунман исследовал проблему, которая еще долго затем продолжала (и продолжает) оставаться предметом разноречивых суждений и гипотез. Выступив со своей концепцией древней истории народов Балканского п-ова еще в 1774 г., Тунман на много десятилетий предвосхитил последующую трактовку этой темы. Поставленные им вопросы стали предметом более глубокого изучения лишь в XIX в. Примечательно, что отправной точкой для наблюдений Тунмана в области лексического состава албанского и частично восточнороманских языков является трехъязычный словарь Каваллиотиса.

Четырехъязычный словарь Даниила также сыграл определенную роль в начальный период балканистических исследований, явившись основой албанской части исследования Уильяма М. Лика [20]. Английский уче-

ный и дипломат, проведший ряд лет в европейской части Турецкой империи, У. М. Лик счел себя обязанным использовать возможности консульской службы для изучения Греции — такой, какой она была к началу прошлого столетия. Его основной целью было сравнение древней и новой географии этой страны путем сопоставления свидетельств античных авторов с ее актуальным состоянием. Подходом к этой теме явилось исследование языковых отношений внутри обширного ареала, который У. Лик достаточно условно ограничил точками: Гора Афон (на северо-востоке), мыс Текарон (на юге), античный город Аполлония (на юге Албании — северо-запад). Содержание первого тома задуманного труда, кратко сформулированное автором как «Заметки о языках современной Греции» («Remarks on the languages spoken in Greece at the present day»), можно было бы вполне адекватно, но более развернуто передать, пользуясь терминологией современной социолингвистики: «Изучение языковой ситуации в южной части европейских владений Турецкой империи в первом десятилетии XIX в».

В соответствии с выделенными автором четырьмя основными языками исследование состоит из трех, неравных по размеру частей, посвященных греческому, албанскому, аромунскому (влашскому) и болгарскому языкам. Первая часть, открывающаяся кратким очерком народного новогреческого языка (ῥωμαϊκή), содержит рассмотрение большого комплекса вопросов, связанных с характером устных и письменных форм греческой речи, в их развитии от византийского периода до нового времени. Автор описывает отдельные стили письменной речи, соотнося их с разговорным языком различных частей Греции; приводит оценки современников, в частности, подробно останавливается на взглядах Кораиса, стараясь при всем этом сохранять объективный взгляд стороннего наблюдателя. Специальное внимание посвящается школьному образованию и вопросам литературного развития.

Эти наблюдения образованного филолога-современника, каким был У. М. Лик, представляют значительный интерес для изучения истории языкового вопроса в Греции, т. к. содержат развернутую картину языковой ситуации в стране в период, непосредственно предшествовавший ее освобождению от турецкого владычества. Особое место занимают оригинальные мысли автора о тенденциях развития новогреческой языковой структуры, которые он считал параллельными структурному развитию романских языков, в особенности итальянского. Сравнивая состояние древних (греческого и латинского) и новых языков, Лик привлекает внимание к развитию конструкций со вспомогательными глаголами, особенно к употреблению артиклей, к изменениям в области синтаксиса, а также к изменению характера акцентуации. При этом он высказал предположение о том, что «вторжение в Грецию и Италию варварских народов с востока и с севера явилось причиной порчи древних языков в этих странах, проявившейся в одно и то же время и одинаковым образом, что принудило покоренное население, и без того уже говорившее на испорченных и упрощенных в синтаксическом отношении диалектах, еще далее приспосабливать свою речь к формам речи тех варварских стран, откуда явились захватчики» [20, с. 70—71].

При изучении албанского языка Лик воспользовался помощью священника Евстратия из Виткутя (юго-восточная Албания), который до этого был много лет учителем в Мосхополисе. Евстратий обладал более «точным» знанием (more accurate knowledge) правил своего родного языка, чем другие образованные албанцы, с которыми Лику довелось встречаться. В рас-

поряжении Лика были, кроме того, словари Каваллиотиса и Даниила, а также вышедшая столетием ранее грамматика Да Лечче, составленная на основе гегского (северного) диалекта. С помощью Евстратия Лик составил краткий очерк албанской грамматики, который явился первым в литературе описанием южноалбанского диалекта и стал впоследствии основой общеалбанской литературно-языковой нормы. Помимо грамматики, он составил также новогреческо-албанский (с английскими переводами) словарь, содержащий более 2 000 слов, который, будучи отредактирован Евстратием, давал хорошее представление об общеупотребительной лексике южноалбанского диалекта в ее соотношении с лексикой разговорного новогреческого («ромейского») языка.

Грамматика и словарь составили достаточно солидную основу албанской части труда Лика. Им предпослано введение, содержащее сведения об албанцах, их истории и областях их расселения в Греции, Италии и в самом албанском ареале. Исторические сведения почерпнуты из сочинений античных и византийских авторов. Данные об этнических подразделениях албанской народности основываются, по-видимому, главным образом на информации, полученной от Евстратия. Как и Тунман, Лик считал албанцев потомками древнего исконного населения Иллирии и Эпира, которые сберегли свою самобытность в трудно доступных горных областях и сохранили в слоях заимствованной лексики своего языка отпечатки исторических взаимоотношений с другими народами (множество латинских слов при относительно небольшом количестве древнегреческих).

Излагая этническую классификацию албанцев, Лик приводит укоренившееся в народной албанской традиции подразделение албанцев-южан на «тосков», «лябов» и «чамов», довольно детально указывая области их расселения. Албанцы-северяне суммарно обозначены как «геги», без дальнейших уточнений. В этом проявилась ограниченность информации, которую мог получить Лик в исторически сложившихся условиях регионализма культурного развития и разобщенности населения отдельных частей тогдашней Албании.

Третья часть труда Лика, посвященная влашскому и болгарскому языкам («Of the Wallachian and Bulgarian languages»), не содержит грамматических очерков. В качестве языкового материала в конце ее помещен «Четырехъязычный Лексикон» Даниила, снабженный английскими переводами и рекомендуемый читателям как «Пятиязычные упражнения» («Pentagloss exercises») [20, с. 389—402]. При этом Лик указал, что этот «лексикон» знакомит не только с языками изучаемого ареала, но также с отраженными в текстах «образом жизни, суевериями и предрассудками» соответствующих народностей [20, с. 381]. Во введении к этой части автор сообщил некоторые сведения о романском происхождении аромунов (влахов), об их племенных подразделениях, областях и характере расселения, об образе жизни (пастушеское хозяйство в горах, ремесла и торговля в городах). Как на характерную особенность влахов, составлявших заметную часть населения городов в европейской части Турции, Лик указал на их способности и успехи в области ремесленного производства.

В отношении славянского населения Лик ограничился немногими замечаниями, из которых наибольший интерес имеет указание на данные топонимики, свидетельствующие о том, что в период продвижения славян на Балканский п-ов на территории Греции существовало значительное количество славянских поселений. В связи с этим Лик счел возможным предположить, что «экстенсивная славянская колонизация в Греции могла оказать пропорциональное влияние на местные диалекты этой страны»,

причем это относится не только к «порче» греческого языка, но также к таким явлениям албанского и влашского языков, как присоединение артикля к концу слова и некоторые другие грамматические особенности, составляющие их особые черты сходства [20, с. 380]. Таким образом, можно признать, что перед Ликом уже вставала проблема образования некоторых общих грамматических признаков, характеризующих языки балканских народов, и что он даже попытался связать ее решение с историческим фактом прихода на Балканский п-ов и расселения на нем славянских племен.

Богатое содержанием и оригинальное сочинение У. М. Лика «Разыскания в Греции» по справедливости могло бы быть названо первым комплексным трудом по балканистике. Однако влияние его на последующее научное развитие в первую очередь определялось тем, что в нем был перепечатан и тем самым сделан доступным для изучения «Четырехъязычный Лексикон» Даниила, наглядно экспонирующий синтаксические сходства балканских языков. К этому приходится добавить, что в XIX в. область сравнительно-балканистических исследований непосредственно привлекала к себе внимание лишь немногих языковедов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Schaller H. W.* Die Balkansprachen. Heidelgerg, 1975, S. 37 и сл.
2. *Asenova F.* Aperçu historique des études dans le domaine de la linguistique balkanique.— In: Linguistique balkanique, 1979, XXII, 1, p. 5.
3. *Kopitar W.* Albanische, walachische und bulgarische Sprache.— Jahrbücher der Literature, 1829, Bd. 46, S. 86.
4. *Miklosich Fr.* Die slavischen Elemente im Romunischen.— Denkschriften der Wiener Akademie der Wissenschaften, 1861, Bd. 12.
5. *Sandfeld Kr.* Balkanfilologien. København, 1926.
6. *Sandfeld Kr.* Lingustique balkanique. Problèmes et résultats. Paris, 1930.
7. Actes du Premier Congrès International de linguistes tenu à La Haye. Leiden, 1928, p. 17—18.
8. Προτοπειρια παρὰ ... Θεοδορου Ἀναστασιου Καβαλλιωτου Μοσχοπολιτου συντεθεισα ... Ενετιησιν. 1770.
9. Εισαγωγικη Διδασκαλια Περιεχουσα Λεξικὸν Τετράγλωσσων ... Συντεθεῖσα ... παρὰ τοῦ Ἱεροκηρυκος Κυριου Δανιηλ τοῦ εν Μοσχοπόλεως. . . 1802.
10. Das dreisprachige Wörterverzeichnis von Theodor Anastasiu Kavalliotis. Hrsg. von Hetzer A. Hamburg, 1981.
11. Das Lexikon Tetraglosson des Daniil Moschopolitis. Neu ediert von J.Kristophson.— Zeitschrift fur Balkanologie, 1974, Jg. X, Hf. 1.
12. *Leake W. M.* Travels in Northern Greece. V. I. London, 1835.
13. Historia e litërsisë shqipe. I. Tiranë, 1959.
14. *Hetzer A.* Das dreisprachige Wörterverzeichnis von Theodoros Anastasiu Kavalliotis. Hamburg. 1981.
15. *Pouqueville F. C.* Voyage dans la Grèce. I. Paris, 1820, p. 211 и сл.
16. *Ilo Mitke Qafëzezi.* Priftër të qëmoçëm punetore te shqipes.— Leka, Shkoder, 1934, VI, № 8, f. 270.
17. *Thunmann J.* Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker. I. Leipzig, 1774, S. 178.
18. *Десницкая А. В.* Албанский язык и его диалекты. Л., 1968, с. 321.
19. *Miklosich Fr.* Albanische Forschungen. I — Denkschriften der Akademie der Wissenschaften. Philol-Hist. Klasse, 1870, Bd. XIX, S. 341.
20. *Leake W. M.* Researches in Greece. London, 1814.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1987

ДАНЕЛИЯ К. Д., САРДЖВЕЛАДЗЕ З. А.

О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ А. Г. ШАНИДЗЕ

В этом году лингвистическая общественность Грузии и всей страны отмечает столетний юбилей члена-корреспондента АН СССР Акакия Гавриловича Шанидзе. Вот уже на протяжении восьмидесяти лет продолжается неутомимая и многогранная деятельность ученого. Древний и современный грузинский язык, история грузинского языка, изучение и публикация древнегрузинских текстов, структура мегрельского и сванского языков, их история, собирание и публикация мегрельских и сванских текстов, лексика картвельских языков, актуальные вопросы грузинской диалектологии, изучение грузинских диалектных и фольклорных текстов, их научная публикация, грузинская лексикология и лексикография, руставелология, вопросы истории Грузии, грузинская эпиграфика и палеография, арменистика, кавказско-албанская письменность, проблематика северокавказского языкознания — вот неполный перечень сфер исследования, которым он посвятил не одну сотню работ, среди них десяток монографий.

А. Г. Шанидзе является основоположником многих картвелологических научных дисциплин. Большой талант и широкое лингвистическое образование (среди его учителей по Петербургскому университету достаточно упомянуть имена И. А. Бодуэна де Куртенэ, Н. Я. Марра и Л. В. Щербы), а также последовательная методология — этими признаками отмечены его научные изыскания.

А. Г. Шанидзе-языковед — прежде всего исследователь структуры и истории грузинского и других картвельских языков. В каждой из его работ мы неизменно ощущаем глубокое и всестороннее владение материалом. Он постоянно стремится к тому, чтобы выдвигаемые им теоретические положения опирались на анализ фактического материала, и именно поэтому столь убедительны его выводы. И хотя у ученого нет сугубо теоретических работ, в его многочисленных трудах высказано немало заслуживающих внимания идей, представляющих интерес не только для исследователей разносистемных языков, но и для специалистов по общему языкознанию.

Научный стиль А. Г. Шанидзе отличается предельной лаконичностью. Мы не найдем у него пространных, оторванных от фактов общих рассуждений. Анализируя тот или иной вопрос, он избегает громоздкого технического аппарата. Очень редки в работах А. Г. Шанидзе и ссылки на общелингвистическую литературу. С первого взгляда может даже возникнуть впечатление, что исследователя не коснулись те сдвиги и изменения, которые происходят в языкознании с начала XX в. вплоть до наших дней (отмечалось, например, что в его трудах не видно влияния идей и специфической терминологии одного из основателей современного языкознания — Ф. де Соссюра [1, с. 61]). Однако более близкое знакомство с тру-

дами А. Г. Шанидзе убеждает нас в том, что ему прекрасно известна общелингвистическая проблематика, а в своих конкретных изысканиях он использует те приемы и методы, которые находит приемлемыми, хотя по этому поводу и не делает каких-либо оговорок.

В этом смысле исключением можно считать его речь, произнесенную 9 мая 1920 г. на заседании Ученого совета Тбилисского государственного университета при защите докторской диссертации, в которой он резко отмежевался от яфетической теории своего учителя Н. Я. Марра и его методологии, категорически указал на их неприемлемость при исследовании языкового материала [2]. Впрочем, здесь же следует отметить, что он особо подчеркивал большие заслуги Н. Я. Марра в исследовании и публикации древнегрузинских письменных памятников.

Акакий Шанидзе является первым исследователем, который сумел постичь, наглядно показать и описать систему грузинского языка. Следует отметить, что авторы грузинских грамматик XVIII—XIX вв., несмотря на их несомненные заслуги в изучении грузинского языка, не смогли увидеть системного характера языковых явлений. В этом отношении характерно известное высказывание Платона Иоселиани о грузинском глаголе, согласно которому все глаголы грузинского являются неправильными (автор этих слов имел в виду сложность грузинского глагола и неизученность его системы). Язык вообще, и грузинский язык в частности есть система — этой мыслью проникнуты труды А. Г. Шанидзе.

Необходимо особо подчеркнуть то обстоятельство, что идею системности языка А. Г. Шанидзе распространил и на диахронию. В современном грузинском языке показателем 2-го лица субъекта в трех глаголах выступает преф. *x-*: *x-ar* «ты есть»; *mo-x-wal* «ты придешь», *mo-x-wed-i* «ты пришел». Это «аномальное» явление было известно, но не получало своего истолкования. А. Г. Шанидзе обратил внимание на несколько глагольных форм, засвидетельствованных в Болнисской и Мцхетской надписях, где показателем 3-го лица объекта выступает преф. *x-*, и высказал предположение, что на более ранней ступени истории грузинского языка преф. *x-* употреблялся в качестве аффикса 2-го лица субъекта и 3-го лица объекта [3]. Это предположение было вскоре документально подтверждено. Уже в конце 1922 г. И. А. Джавахишвили в грузинских рукописях VI в. обнаружил систематическое употребление преф. *x-* как показателя 2-го лица субъекта и 3-го лица объекта.

Публикация и изучение древнейших грузинских рукописей, в чем немалая заслуга принадлежит и А. Г. Шанидзе, явилось значительным этапом в истории грузинской культуры. Довольно рано назрел вопрос о всестороннем анализе языка этих письменных памятников. И. А. Джавахишвили полагал, что первоначально в грузинском языке употреблялся преф. *x-*, который затем преобразовался в *h-* [4]. А. Г. Шанидзе в связи с этим отмечал, что если бы имело место фонетическое изменение $x > h$, то оно должно было осуществиться фронтально, и тогда мы не имели бы исходного согласного *x-* и в таких корнях, как *xut-* «пять», *xed-* «видеть», *saxe-* «лицо, образ» и др. А. Г. Шанидзе не разделял мнения И. А. Джавахишвили по той причине, что в указанных корнях *x* сохранился, не перейдя в *h*. По его мнению, преф. *x-* был характерен для определенного диалектного ареала, а преф. *h* для какого-то другого [5]. И в данном случае отчетливо проявляется системный подход А. Г. Шанидзе к изучению языковых фактов: если в определенных условиях мы объясняем языковые факты допущением фонетических изменений, то теми же фонетическими изменениями должны объясняться и другие подобные языковые факты.

В 1920 г. была опубликована монография А. Г. Шанидзе «Субъектный префикс второго лица и объектный префикс третьего лица в грузинских глаголах», где подробно рассматривается вопрос о личных показателях грузинского глагола. Здесь, однако, автор не ограничивается личными глагольными аффиксами, он анализирует и многие другие существенные вопросы грузинского глагола. Показательной представляется методика исследования, используемая в этой работе А. Г. Шанидзе. Сначала автор рассматривает положение вещей в древнегрузинском, а затем он изучает вопрос о выражении 2-го лица субъекта и 3-го лица объекта в среднегрузинском (XII—XVIII вв.) и лишь после этого переходит к соответствующему материалу новогрузинского (с XIX в.— по 10-е годы XX в). Охарактеризовав состояние литературного языка, А. Г. Шанидзе рассматривает факты грузинских диалектов, каждого в отдельности. Всегда и везде ученый максимально строг и пунктуален, нет случаев смешения уровней и систем: древнегрузинский для А. Г. Шанидзе — один хронологический срез, среднегрузинский — другой, а новогрузинский — третий. Каждый диалект — отдельная система, так же как и литературный язык, он представляет собой самостоятельную величину. Подобный анализ не является для автора самоцелью, его результатом оказывается то, что А. Г. Шанидзе последовательно прослеживает картину эволюции показателей 2-го лица субъекта и 3-го лица объекта на основе сопоставления данных различных хронологических срезов и систем грузинского языка.

Особо следует подчеркнуть то обстоятельство, что А. Г. Шанидзе использовал подобную методику при исследовании конкретных проблем еще в 10-х годах XX в.,— печатание русского варианта работы А. Г. Шанидзе началось в 1915 г. в Петрограде в типографии Российской Академии Наук, когда, к сожалению, было набрано лишь 48 страниц (по различным причинам книгу не удалось отпечатать полностью).

В ходе исследования А. Шанидзе совершенно сознательно стремится строго разграничить хронологические уровни, что наглядно видно из предисловия к опубликованной в 1930 г. книге «Грузинская грамматика. I. Морфология». Автор пишет: «Настоящая книга представляет собой краткий учебник, в котором делается попытка разъяснить морфологический строй грузинского языка на том этапе развития, на котором он находится по данным литературных произведений. Книга — описательного характера, поэтому факты освещаются так, как они могут оцениваться с точки зрения норм современного литературного языка. Автор вообще старался не выходить за рамки новогрузинского литературного языка и материал для сравнения привлекал из древнегрузинского и живых наречий лишь в той степени, в какой он был необходим для толкования явлений, существующих ныне в литературном языке» [6, с. VII]. Отметим здесь же, что привлеченные в работе древнегрузинские факты и диалектные материалы никогда не смешиваются с данными современного грузинского языка.

Того же принципа придерживается А. Г. Шанидзе в своем фундаментальном труде «Основы грамматики грузинского языка» (1-е изд.— 1942 г., последнее — 1980 г.). В этом отношении особый интерес представляет точка зрения исследователя относительно так называемых локальных падежей. По мнению автора, некоторые послелоги с течением времени прочно срослись с падежными формами, к тому же при этом произошли глубокие фонетические изменения, приведшие к стиранию грани между послелогом и падежным показателем. «Благодаря этому возникло основание считать падежным показателем полностью весь элемент, присоединяемый к именной основе» [7, с. 74].

Так, в древнегрузинском показатель твор. падежа *-it/-jt* выражал значение исходности: *kalakit* «из города», *sakartwelojt* «из Грузии». Уже в древнегрузинском к этой простой форме стал присоединяться послелог *-gan*. В переходный период между древне- и среднегрузинским происходит ассимилятивное озвончение: *-itgan* > *-idgan*. Следующий этап — выпадение *g* (*-idan*). В новогрузинском имеются лишь формы такого типа. По мнению А. Г. Шанидзе, *kalakidan* не является формой твор. падежа с послелогом, поскольку *-idan* на синхронном уровне не расчленяется. Он пишет: «Под влиянием фонетического фактора *-idan*, полученный из *-itgan*, уже нечленимый аффикс. Этот аффикс стоит в том же ряду, что и падежные показатели; отсюда вытекает следующее заключение: *-idan* ныне является падежным показателем. Этот падеж — исходный» [7, с. 74]. Аналогичным образом исследователь выделяет достигательный и местный падежи [7, с. 74—75], см. также [8].

Четко различая синхронный и диахронический срезы, А. Г. Шанидзе не воздвигает между ними и непреодолимых преград. Результаты диахронического исследования способствуют правильной оценке многих фактов современного состояния языка.

Очевидная заслуга А. Г. Шанидзе состоит в выявлении морфологических категорий грузинского языка и представлении их в виде системы. Как понимает А. Г. Шанидзе грамматическую категорию? Автор отмечает: «Понятие, для выражения которого язык располагает определенным грамматическим средством, представляет собой грамматическую категорию. Грамматическая категория может быть морфологической или синтаксической» [7, с. 34]. Морфологическая категория, по мнению А. Г. Шанидзе, констатируется на основе сопоставления соизмеримых словоформ. В грузинском в результате этой процедуры выделяются две именные грамматические категории: падеж и число. Грузинский глагол имеет значительно большую совокупность морфологических категорий: лицо, число, время, наклонение, ряд (скрива), аспект и др. Каждая противоположная форма представляет собой элемент категории. Так, грамматическая категория числа объединяет единственное и множественное (при этом единственное и множественное мы можем назвать подкатегориями, а число — сверхкатегорией и т. п.) [7, с. 34].

Следовательно, грамматическая категория устанавливается путем сопоставления таких форм, которые отличаются друг от друга минимально как по выражению, так и по значению. Это означает, что сравниваемые единицы противопоставляются друг другу лишь по одному признаку. Еще в 1930 г. А. Шанидзе писал: «Завершая обзор глагольных категорий, считаю нужным остановиться на следующем: в чем причина того, что один и тот же комплекс звуков, который в грузинском обычно имеет вид значимого слова, может в одно и то же время иметь несколько толкований, или — что то же, одно слово, с одним и тем же внешним выражением может включать несколько грамматических значений. Что является основой того, что, скажем, в глаголе *vaketeb* „делаю“ выражено лицо (и субъекта и объекта), число, версия, залог, время, наклонение, вид, контакт? Основой служит то, что этот глагол *vaketeb* мы можем соизмерить с различными рядами того же слова и противопоставить им. Следствием окажется то, что при сопоставлении с одним рядом мы выделим один признак, с другим — другой, с третьим — третий и т. д.

Таким образом, слово, имеющее одну форму, один и тот же звуковой состав, в результате подобного сопоставления предстает морфологически как объединяющее несколько форм. При сопоставлении необходимо, чтобы

звуковое изменение всегда сопровождалось изменением в значении» [6, с. 134].

В итоге процедуры, примененной А. Г. Шанидзе, у глагольной формы *vaḳeteb* оказались следующие категории: лицо — а) 1-е лицо субъекта (*v-aḳeteb*) противопоставляется 2-му (*aḳeteb*) и 3-му (*aḳeteb-s*) лицам; б) 3-е лицо объекта, так как ему противопоставляется форма 2-го лица (*g-aḳeteb*); число — единственное, поскольку мы имеем *vaḳeteb-t*, которое при сопоставлении с формой *vaḳeteb* выражает понятие множественности; версия — нейтральная, так как форме *vaḳeteb* противопоставляются формы *viḳeteb* (субъектная версия) и *vuḳeteb* (объектная версия); залог — действительный, поскольку ему противополагается форма страдательного залога (*vḳetdebi*); время — настоящее, выявляющееся в сопоставлении с прошедшим (*vaḳetebdi*) и будущим (*vaḳetebde*)...

Таким образом, суть проводимой А. Г. Шанидзе процедуры заключается в следующем: если минимальное изменение формы слова сопровождается изменением в грамматическом значении, тогда мы имеем право считать данную форму вместе с противополагающейся формой (или формами) членами грамматической оппозиции и выделить определенную грамматическую категорию.

Противопоставление форм может выражаться заменой грамматических показателей (*m-xaṭavs* «рисует он меня», *g-xaṭavs* «рисует он тебя») или же наличием и отсутствием формообразовательных аффиксов (*m-xaṭavs* : *xaṭavs*).

Оценку любой формы А. Г. Шанидзе производит при сопоставлении с другими формами. Например, какая-либо двухличная словоформа *damiqena* «поставил он меня» является формой, выражающей субъектную версию (*damiqena* «поставил он меня», *dagiqena* «поставил он тебя», *daiqena* «поставил он его»), где *i-* — морфема субъектной версии, но в трехличной форме *damiqena* «поставил он мне то» *i-* уже нельзя считать той же единицей, поскольку в результате сопоставления форм *damiqena*, *dagiqena*, *daiqena* *i-* объединяется с другой морфемой (*i-* ~ *u-*), здесь префиксы *i-* ~ *u-* выражают объектную версию.

Заслуживают внимания соображения автора о так называемой мнимой категории. Если форма не вступает в оппозицию с другой формой, то она лишена возможности выражать грамматическую категорию. Мнимой, по А. Г. Шанидзе, оказывается категория в случае, если форма слова по некоторому внешнему признаку, своему формообразованию может относиться к той или иной категории, однако лишена соответствующей функции [7, с. 384]. Например, в глаголе *uqvars* «любит» явно выделяется преф. *u-*. В грузинском глаголе *u-* — показатель объектной версии, но в словоформе *uqvars* мы не можем считать *u-* аффиксом объектной версии, поскольку не существует ее оппозиционного коррелята.

В словоформе *icis* «знает» выделяется преф. *i-*. *icis* — переходный глагол, а в грузинских переходных глаголах *i-* выступает показателем субъектной версии; казалось бы, мы имеем полное право квалифицировать здесь *i-* как аффикс субъектной версии. Однако А. Г. Шанидзе не соглашается с подобной трактовкой по той причине, что словоформа *icis* не имеет оппозиционного коррелята, не обладает способностью выражать субъектную версию. В противоположность этому случаю преф. *i-* выражает субъектную версию в словоформе *iḳetebs* «делает для себя», так как форма *iḳetebs* вступает в оппозицию с *uḳetebs* (объектная версия — «делает он ему») и *aḳetebs* (нейтральная версия — «делает он вообще»). Совершенно очевидно, что при отсутствии форм объектной и нейтральной версий префиксу *i-*

в словоформе *iḳetebs* нельзя было бы приписать значение субъектной версии.

В грузинском есть несколько глагольных словоформ, которые формально относятся к субъектной версии: *a-i-γ-o* «он взял, поднял», *da-i-č̣ir-a* «он поймал», *da-i-ç̣q-o* «он начал», *še-i-nax-a* «он спрятал», *ça-i-qvan-a* «он увел, увез» и др. [7, с. 348]. Они образуют оппозиционные пары, ср.: *a-u-γ-o* «он взял ему», *da-u-č̣ir-a* «он поймал ему», *da-u-ç̣q-o* «он начал ему», *še-u-nax-a* «он спрятал ему», *ça-u-qwan-a* «он увел для него» и др. Сопоставление материала, казалось бы, свидетельствует о том, что словоформы с преф. *i-* выражают субъектную версию, а с преф. *u-* — объектную. Дело, однако, в том, что словоформы этого типа с преф. *i-* нельзя рассматривать как формы субъектной версии, поскольку, исходя из их функции, фактически они выражают нейтральную версию, несмотря на то, что по своему образованию они являются формами субъектной версии. Здесь явно противопоставлены друг другу форма и функция. По мнению А. Г. Шанидзе, в системе версии современного грузинского языка глагольные словоформы этого типа должны быть отнесены к нейтральной версии, поскольку «в спорных вопросах формы и функции предпочтение следует отдавать функции» [7, с. 349]. Как справедливо отмечал Г. И. Мачавариани, «для А. Г. Шанидзе „форма" в узком смысле подразумевает звуковую сторону слова (или выражение), а в широком смысле „форма" подразумевает как выражение, так и значение и назначение, функцию. „Функцию" А. Г. Шанидзе понимает как значение, содержание или значение-назначение или только назначение» [1, с. 63].

Несмотря на некоторые подобные непоследовательности, А. Г. Шанидзе еще в 20-х годах создал свою, по существу цельную концепцию структуры языка, разработал и ввел в обиход практического исследования методику, которую в ту отдаленную эпоху редко кто применял при рассмотрении вопросов морфологии. А. Г. Шанидзе «прежде всего является исследователем морфологической системы языка. В 20—30-х годах XX в. при изучении проблем морфологии он применил те методы, которыми пользовались в фонологических исследованиях европейские и американские ученые» [1, с. 64]. Г. И. Мачавариани считал поэтому, что «грамматическое учение А. Г. Шанидзе по своим основным характеристикам можно определить как одну из ранних разновидностей структурализма в области морфологии... Выработанная А. Г. Шанидзе процедура морфологического анализа носит ярко выраженный „структуралистический" характер» [1, с. 63].

В своих картвелистических исследованиях А. Г. Шанидзе довольно часто привлекает параллели из языков различных систем. В то же время он полагает, что выводы, полученные в результате анализа грузинского и других картвельских языков, могут быть использованы при изучении иных языковых систем.

Исследователи грузинского глагола выделяли несколько (обычно — более десяти) времен. А. Г. Шанидзе пришел к выводу, что причиной этого было смешение категории времени с другими категориями (ряда, наклонения, одновременности). По его мнению, в грузинском языке три грамматических времени: настоящее, прошедшее, будущее; не может существовать несколько прошедших, несколько будущих. А. Г. Шанидзе считает, что и в других языках следует выделять лишь три времени (настоящее, прошедшее, будущее). «Дробление грамматического времени,— пишет он,— возможно только в том случае, если иметь особые формы для разных отрезков времени в будущем или прошедшем. Для этого обяза-

тельно, чтобы имелись две формы или больше форм, которые точно обозначали бы тот или иной отрезок времени в прошедшем или будущем. Так, например, если бы русские формы *буду делать* и *сделаю* различались между собой не в видовом отношении, а в отношении обозначения разных отрезков физического времени в будущем (скажем, если бы форма *буду делать* означала совершение действия от момента речи до следующего утра, а *сделаю* совершение действия после следующего утра), то тогда мы имели бы два будущих времени. Подобным образом, если бы разные формы прошедшего времени указывали точно на тот или иной отрезок времени, то тогда мы имели бы несколько прошедших времен» [9, с. 417].

В связи с таким подходом А. Г. Шанидзе выделил в грузинском языке особую глагольную категорию, которую назвал *mçkriwi* — «ряд». По его мнению, данная категория характерна для всех языков (где глагол имеет формы спряжения), но ее, как правило, не выделяют, поскольку смешивают с другими категориями, такими, как время, наклонение. Время и наклонение (а также кратность, заглазность, одновременность) в грузинском предстают лишь элементами категории ряда. А. Г. Шанидзе отмечает: «Отождествление означенных групп (имеются в виду спрягаемые группы глаголов, которые отличаются друг от друга формами лица и числа, а в некоторых языках — рода и класса. — *Д. К., С. З.*) с временами или наклонениями в корне неправильно. Поэтому я позволю себе выдвинуть для однородных групп глагольного спряжения термин „ряд" (груз. *mçkriwi*), который способен устранить неправильное употребление терминов и смешение разных грамматических категорий. Что такое „ряд"? Ряд — это группа форм глагольного спряжения, которые объединены общими грамматическими признаками, но различаются по лицам и числам (а в некоторых языках и по родам, или классам» [9, с. 411], см. также [10, с. 43]. Каждый спрягаемый элемент *mçkriwi* (ряда) А. Г. Шанидзе называет членом ряда [9, с. 424—425].

А. Г. Шанидзе считает, что и в русском языке элементами ряда являются время и наклонение. Глаголы несовершенного вида имеют здесь пять рядов, а совершенного вида — четыре [9, с. 428], в арабском — пять рядов: два для изъявительного наклонения и по одному — для других (сослагательного, условного и повелительного) [9, с. 429].

Свое исследование о категории ряда А. Г. Шанидзе завершает так: «Я склонен думать, что общими усилиями языковедов удастся уточнить те категории, которые являются составными элементами рядов в разных языках. Это в равной степени относится как к малоизученным языкам Кавказа, так и к хорошо изученным языкам Европы, каковы немецкий, французский и английский. Не говоря о других преимуществах нового подхода к глагольным формам, один лишь подсчет рядов какого-нибудь языка, с указанием количества членов, уже даст определенное представление о богатстве или о бедности спрягаемых форм глагола данного языка» [9, с. 430].

Точку зрения А. Г. Шанидзе использовал при анализе глагольной парадигмы новоармянского языка И. И. Шилакадзе [11], см. также [12].

Одной из интереснейших глагольных категорий картвельских языков является, как известно, версия. А. Г. Шанидзе посвятил ей не одно исследование. Он полагает, что соответствующие данные картвельских языков могут оказать определенную помощь и исследователям индоевропейских языков. По мнению ученого, категория версии характерна и для индоевропейских языков, хотя здесь она и не так четко выражена, как в картвельских [7, с. 352]. В частности, медиум древнегреческого А. Г. Шанидзе

считает не формой залога, а выражением субъектной версии; он отмечает: «Для древнегреческого несомненно следует поставить вопрос об обладании им категории версии в переходных глаголах, которые в определенных случаях (например, в аористе) имеют по две формы, резко отличающиеся друг от друга по принадлежности и назначению как своей формой, так и функцией,— нейтральную и субъектную. Однако старые грамматики считают формы субъектной версии такими образованиями, которые якобы соизмеримы с действительным и страдательным залогами» [7, с. 352—353]. В действительности, по мнению А. Г. Шанидзе, актив и пассив соотносятся друг с другом по конверсии, актив и «медиум» — по принадлежности, в то время как страдательный и «медиум» — несоизмеримые формы. Греческий «медиум» фактически выражает субъектную версию: ᾐπαίδευσατο «он воспитал его», ср. форму актива, выражающую нейтральную версию ᾐπαίδευσε «он воспитал его». Такая квалификация греческой формы опирается и на то, что она переходна и имеет при себе прямое дополнение [7, с. 353].

А. Г. Шанидзе заключает, что «от категории залога следует обособить категорию версии и отвести ей самостоятельное место в греческом и других индоевропейских языках, где субъектные формы, называемые медиумом, дошли до наших дней в виде реликтов» [7, с. 353]. Взгляды А. Г. Шанидзе разделяет в своем «Учебнике греческого языка» А. В. Урушадзе.

В индоевропейских и семитских языках глаголы действительного и страдательного залогов различаются формально. В картвельских языках различие создается еще и тем, что глагол действительного залога по сравнению со своим конверсивным страдательным выражает одним лицом больше [7, с. 287—288].

То обстоятельство, что в грузинском субъектная версия и страдательный залог выражаются одним и тем же префиксом *ı-*, А. Г. Шанидзе объясняет, опираясь на конверсию: *da-ı-cer-a* «написал он (себе) то», *da-ı-cer-a* «написано то». По его мнению, форма страдательного залога с преф. *ı-* является конверсией субъектной версии действительного залога (форма действительного залога утеряла лицо субъекта, прямой объект глагола действительного залога превратился в субъект страдательного залога, префикс внешне остался неизменным, но изменилась его функция). Ссылкой на конверсию легче объяснить и то, что в древнегрузинском (равно как и некоторых диалектах новогрузинского) глаголы страдательного залога префиксального образования имеют в рядах II серии показатель мн. числа *-en/-n*: актив — *da-v-xaṭ-en* «нарисовал я их», пассив — *da-ı-xaṭ-n-es* «они нарисованы»; *da-gu-mal-n-a* «он спрятал нас», *da-wı-mal-en-t* «мы спрятались». В глаголы страдательного залога афф. *-en/-n* перешел из форм актива, в результате чего получилось двойное выражение множественности лица субъекта: *daixat-n-es*, *dawımal-en-t*. Материал грузинского и других картвельских языков представляет несомненный интерес для истории категории залога вообще.

А. Г. Шанидзе глубоко изучил категорию контакта в грузинском [7, с. 358—373], см. также [10, с. 44]. По его мнению, исследователи грузинского языка недостаточно адекватно понимали суть данного явления, поскольку «не были выяснены отношения между основной формой и каузативом, а также вытекающие из этих отношений обстоятельства» [7, с. 371]. А. Г. Шанидзе полагает, что форму контакта неправомерно считать формой особого залога ни в грузинском, ни в других языках, где эта категория существует, «поскольку залог данной формы — действительный, и она предполагает соответствующую пассивную форму» [7, с. 371].

А. Г. Шанидзе специально указывает на возможность образования в некоторых языках (арабском, персидском, тюркских) переходных глаголов от непереходных и форм каузатива от форм непосредственного контакта [7, с. 369].

В своих трудах А. Г. Шанидзе часто привлекает данные языков различных систем для иллюстрации тех или иных типологических параллелизмов. В последней связи интерес представляет следующий факт, впервые выявленный А. Г. Шанидзе: в древнегрузинском языке категория аспекта различалась по сериям: в I серии все глаголы были несовершенного вида, а во II серии — совершенного вида (при этом наличие или отсутствие преверба роли не играло). Уже в древнегрузинском зародилась противоположная тенденция — различение совершенного и несовершенного видов в зависимости от присоединения преверба, т. е. норма, господствующая в новогрузинском. Для того, чтобы подчеркнуть соответствующие типологические аналогии, А. Г. Шанидзе называет систему древнегрузинского типа греческой, а новогрузинского типа — славянской [7, с. 266—272], см. также [12].

Следует упомянуть, что А. Г. Шанидзе первым обратил внимание на целый ряд явлений, которые затем оказались в центре внимания картвелистов. Одной из основных характеристик сванского вокализма является, как известно, умлаут. А. Г. Шанидзе детально описал данное явление и разъяснил его механизм в статье «Умлаут в сванском», впервые опубликованной в сборнике «Арили» в 1926 г. (см. также [14]). Комплекс вопросов морфологии сванского языка остался бы неясным, если не принять во внимание механизм умлаута [14, с. 323]. В этом исследовании, выдержанном в лучших традициях картвельского языкознания, впервые учтено одно из основных методических требований современной лингвистики — необходимость использования данных сравнительно более низкого уровня — фонологии — при исследовании вопросов иерархически более высокого уровня — морфологии. Здесь же следует отметить, что завершив описание системы умлаута, А. Г. Шанидзе приступил к его диахроническому анализу, в результате чего прояснились многие вопросы истории не только сванского, но и других картвельских языков.

А. Г. Шанидзе первым из исследователей в середине 20-х годов указал на отражение аблаута в грузинском в таких формах, как *baga-bugi* «битье», *paca-puci* «суета», *rame-rume* «кое-что», *urtiertas* «друг другу», *čur-čeri* «посуда» и др. [15]. В другой работе А. Г. Шанидзе пишет: «В грузинском мы имеем чередование гласных основы (аблаут), но оно выражено слабо. Наиболее существенным является чередование гласных *e* : *i* в глагольных формах различных серий — *vgrex* : *vgrixe* „скручиваю — скручивал“, которое приобрело определенное грамматическое значение (различие глагольных тем опирается на чередование гласных)» [7, с. 567]. В дальнейшем аблаутные чередования в грузинском и других картвельских языках детально изучили Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани, пришедшие к выводу, что это явление следует считать одним из основных структурных признаков общекартвельского языка-основы [16].

А. Г. Шанидзе первым обратил внимание на так называемые «аномальные соответствия» между сибилянтными спирантами и аффрикатами картвельских языков и, в частности, высказал предположение о наличии «двоякого *s*» в общекартвельском (имеются в виду такие случаи, когда грузинской фонеме /s/ в других картвельских языках соответствует, с одной стороны, /š/, а с другой — /s/; ср. [17, с. 45, примеч. 2]). Предположение, высказанное А. Г. Шанидзе, послужило импульсом для выдвижения тео-

рии о трех рядах сибилянтных спирантов и аффрикат в общекартвельском состоянии [18, 17]. Обоснование этой теории, безусловно, следует считать значительным достижением современной картвелистики [19, 20].

А. Г. Шанидзе является одним из выдающихся советских лингвистов, постоянно сочетающим разработку отраслевой картвелистической и общелингвистической проблематики. Его языковедческая концепция, равно как методология исследования и совокупность изысканий, еще не до конца изучены и не в полной мере оценены. Конечно, не все бесспорно в его учении и трудах, посвященных анализу конкретных вопросов, но бесспорно одно: А. Г. Шанидзе обозначил в развитии картвельского языкознания целый этап, придавший картвелистике ее современный облик [21].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Мачавариани Г. И.* Некоторые вопросы грамматической концепции Акакия Шанидзе в свете структурной лингвистики.— В кн. Ориони. Тбилиси, 1967 (на груз. яз.).
2. *Шанидзе А. Г.* Вступительное слово, произнесенное при защите диссертации на заседании Ученого совета Тбилисского университета 9 мая 1920 года.— Соч. II. Тбилиси, 1981, с. 527—528.
3. *Шанидзе А. Г.* Пережитки употребления объектного префикса III лица перед гласными в грузинских глаголах.— Сообщения Тифлисского ун-та. Т. II. 1922—1923 (на груз. яз.).
4. *Джавахишвили И. А.* Новооткрытые древнейшие грузинские рукописи и их значение для науки.— Сообщения Тифлисского ун-та. Т. II. 1922—1923, с. 292 (на груз. яз.).
5. *Шанидзе А. Г.* ḥаэмэтные тексты и их значение для истории грузинского языка.— Сообщения Тифлисского ун-та. Т. II. 1922—1923, с. 362 (на груз. яз.).
6. *Шанидзе А. Г.* Грузинская грамматика. I. Морфология. Тбилиси, 1930 (на груз. яз.).
7. *Шанидзе А. Г.* Основы грамматики грузинского языка. I.— Соч. III. Тбилиси, 1980 (на груз. яз.).
8. *Климов Г. А.* Склонение в картвельских языках в сравнительно-историческом аспекте. М., 1962, с. 14—17.
9. *Шанидзе А. Г.* Категория ряда в глаголе. Общие вопросы формообразований глаголов на примерах грузинского языка.— Соч. II. Тбилиси, 1981 (на груз. яз.).
10. *Шанидзе А. Г.* Грамматические заметки.— ВЯ, 1984, № 2.
11. *Шилакадзе И. И.* Категории спряжения современного армянского языка.— В кн.: Вопросы языка и стиля. Ереван, 1964 (на арм. яз.).
12. *Шанидзе А. Г.* Новый взгляд на природу спряжения новоармянского глагола.— Тр. Тбилисского гос. ун-та, 1965, т. 116.
13. *Шанидзе А. Г.* Изменение системы выражения глагольной категории вида в грузинском и его последствия.— Сообщения АН Груз. ССР. Т. III. № 9. Тбилиси, 1942.
14. *Шанидзе А. Г.* Умлаут в сванском.— Соч. II. Тбилиси, 1981 (на груз. яз.).
15. *Шанидзе А. Г.* К этимологии çeliçadi (Проблема редукции в картвельских языках).— Соч. II. Тбилиси, 1981, с. 311.
16. *Гамкрелидзе Т. В., Мачавариани Г. И.* Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Тбилиси, 1965 (на груз. яз.).
17. *Мачавариани Г. И.* Общекартвельская консонантная система. Тбилиси, 1965 (на груз. яз.).
18. *Мачавариани Г. И.* О трех рядах сибилянтных спирантов и аффрикат в картвельских языках.— В кн.: XXV Международный конгресс востоковедов: Доклады делегации СССР. М., 1960.
19. *Vogt H.* Contributions à la reconstruction du phonétisme du Kartvélien commun.— Bedi Kartlisa, 1963, XV—XVI, p. 33.
20. *Церетели Г. В.* О теории сонантов и аблаута в картвельских языках.— В кн.: *Гамкрелидзе Т. В.* и *Мачавариани Г. И.* Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Тбилиси, 1965, с. 013—014.
21. *Ахвледиани Г. С.* Несколько слов о большом картвелологе.— В кн.: Ориони. Тбилиси, 1967, с. 38—39 (на груз. яз.).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1987

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ДЕШЕРИЕВА Т. И.

О СООТНОШЕНИИ МОДАЛЬНОСТИ И ПРЕДИКАТИВНОСТИ

В теории языкознания, несмотря на наличие уже большой литературы по модальности, пока нет единого мнения даже по основным существенным характеристикам этой языковой категории. Нередко лингвистическая модальность сводится главным образом к традиционной логической модальности суждения (Г. В. Колшанский [1], В. З. Панфилов [2] и др.), выражающейся преимущественно синтетическими формами наклонений; иногда она трактуется как широкая разноплановая категория, характеризующая отношение говорящего к содержанию высказывания (В. В. Виноградов [3], Г. А. Золотова [4], Н. Ю. Шведова [5], Н. Е. Петров [6] и другие, например [7]). Естественно, что и классификация предложений по типу модального значения, как и дифференциация самих модальных значений, также не отличается единством [6, 8].

Необходимо отметить, что характеристика языковой модальности (нередко весьма противоречивая), содержащаяся в указанных и других исследованиях разноструктурных языков, обычно исходит (явно или неявно) из характеристики той или иной части компонентов семантики логической модальности в широком смысле. Краткий экскурс, проделанный в сферу модальной логики, позволяет сделать следующие выводы.

1) Теория алетических модусов (логических и онтологических) объясняет сущность тех компонентов семантики языковой модальности, которые констатируют факты наличия (или определенной вероятности наличия), либо факты отсутствия (или определенной вероятности отсутствия) связи субъектов и предикатов суждений человека о материальном мире, частью которого он является, и его духовном мире. Основными способами языкового выражения рассматриваемых компонентов семантики модальности являются: утвердительное и отрицательное наклонения, традиционно объединяемые термином «изъявительное наклонение», вероятностное наклонение, специальная модальная лексика, интонация.

2) Теории нормативных (деонтических), аксиологических, эпистемических модусов раскрывают содержание тех компонентов семантики языковой модальности, которые констатируют отношение человека к смыслу сообщения (субъективное, обусловленное общественными нормами, уровнем его знаний). Основными способами языкового выражения указанных компонентов модальности являются наклонения: повелительное, желательное, условное, сослагательное и др., нередко имеющие маркированные оттенки, специальная модальная лексика, интонация.

3) О временной модальности в лингвистике говорить не принято, хотя языковая модальность этого типа существует; ее сущность раскрывает теория временных модусов. В языке этот тип модальности имеет специальные средства выражения (лексические и грамматические).

4) В принципе квалификаторы любого типа, относящиеся к значению всего предложения, являются модусами этого типа и входят в сферу логической модальности. Каждому типу модусов, создающему определенный тип логической модальности, соответствует определенный компонент семантики языковой модальности. Тем более положительно решается вопрос о статусе модальных квалификаторов — оценочных и иных вводных, модальных слов и их синтаксических эквивалентов, характеризующих, уточняющих, квалифицирующих смысл суждения, к которому они относятся. Как известно, разногласия лингвистов по вопросу об объеме и содержании языковой модальности возникают прежде всего из-за непризнания сторонниками «узкой теории модальности» за деонтическими, аксиологическими и другими квалификаторами статуса модусов соответствующих типов [9—12].

Связь компонентов семантики языковой модальности с соответствующими типами модусов модальной логики дает возможность более аргументированно определить объем и содержание первой. Не менее важным для решения этой задачи является уточнение соотношения языковой модальности и предикативности. В связи с этим заслуживают особого внимания такие компоненты модальности и предикативности, как интонация и актуальное членение предложения.

В современной фонологии основной целью анализа интонации является выявление интонационных единиц, каждая из которых обладает определенным значением, имеет определенные акустические характеристики, выражающие это значение. Таким образом, специфические признаки единиц интонации позволяют отличать их друг от друга и вместе с тем различать соответствующие им значения. Единица интонации (идея о существовании которой была выдвинута в языкознании в 20—30-х годах XX в.) называлась по-разному: интонема, просодема, вторичная фонема, суперсегментная фонема. В последних работах используется термин «интонема». В любом языке подобно системе фонем экспериментально выделяются системы интонем. Интонема определяется как модель интонации качества, так или иначе связанного со значением предложения. Она подобно фонеме, дифференцирующей лексико-грамматические значения, в определенной мере дифференцирует семантику предложений [13[1], 14].

В теории интонации нет пока общепринятой классификации интонем. Нам представляется наиболее целесообразным выделение интонем интеллектуальных (экспрессивных, волюнтативных) и эмотивных. Интеллектуальные интонемы выполняют в языке такие основные функции: 1) противопоставление предложений по цели коммуникации (различение предложений повествовательных, вопросительных, повелительных, восклицательных); 2) членение фразы на особые единицы по степени их важности (информативности) в момент сообщения. Интеллектуальные интонемы степени связи и степени важности представляют собой существенную часть средств выражения смысловой связи (подчинительной, сочинительной) между понятиями и синтагмами понятий простого и сложного предложений, а также между единицами актуального членения предложения.

Как известно, коммуникативный тип предложения выражается интонационными, лексическими, грамматическими средствами. Функциональная нагрузка интонации существенно возрастает, если тип предложения выражен только интонационно (например, в случае общего вопроса или

[1] Библиография этой работы содержит 1800 наименований исследований отечественных и зарубежных авторов по вопросам интонации.

так называемых номинативных предложений в разноструктурных языках). Интонация — древнейший обязательный компонент структуры любого предложения — является одним из основных средств выражения модальности и предикативности в языке любой типологии.

Коммуникативная интонема, оформляя языковую единицу как предложение, служит одновременно средством выражения модальности и предикативности. Интонема важности, производящая актуальное членение предложения, также входит как в сферу средств выражения модальности, так и в сферу средств выражения предикативности, поскольку в результате актуального членения изменяется суждение v′ исходного предложения, следовательно, получается новое предложение, имеющее дополнительный компонент модальности и предикативности, обозначенный интонемой важности.

Проблема актуального членения предложения в теоретическом и практическом планах остается пока еще нерешенной в полном смысле этого слова, несмотря на наличие уже большой специальной литературы. Различные мнения относительно сущности рассматриваемого языкового явления, его места и роли в структуре предложения подтверждаются существующей в специальной литературе терминологией (ср.: «смысловое», «синтагматическое», «актуальное», «логико-грамматическое» членение предложения). Различны и наименования частей «членения» (ср.: «основа» и «ядро» у В. Матезиуса [15], которым в работах других авторов соответствуют либо «психологический субъект», «психологический предикат» [16—21], либо «тема», «рема» [22—23], либо «лексический субъект», «лексический предикат» [24], либо «логический субъект», «логический предикат» [25—27] и т. д.).

Лингвисты психологического направления, положившие начало исследованию рассматриваемой проблемы, правильно отмечая факт различного смыслового соотношения между компонентами выражаемого в предложении содержания, выносили его исследование за пределы лингвистики, в сферу психологии. В связи с этим необходимо отметить, что неоценимой заслугой В. Матезиуса было то, что он впервые поставил изучение рассматриваемого языкового явления на лингвистическую основу и попытался обосновать его, исходя из коммуникативной сущности предложения как важнейшей языковой единицы. Мысль о важности коммуникативного аспекта предложения находим и в работах по синтаксису советских лингвистов, например, у В. В. Виноградова: «Грамматическое учение о главных и второстепенных членах предложения устанавливает лишь внешнюю, формальную, схему построения строения предложения, тогда как в живой общественной практике в одном и том же предложении (точнее — в его лексико-грамматическом составе.— *Д. Т.*) находят разное выражение субъекты и предикаты разных суждений как живые, подвижные центры мысли и речи» [28].

Исследование субъектно-предикатного (актуального) членения предложения в разноструктурных языках показало, что характер средств, маркирующих это членение, в значительной мере коррелирует с их типологическими особенностями. Так, например, в агглютинативных языках большую роль в выражении предиката производных предложений парадигмы актуального членения играют морфологические средства, в том числе специально используемые для этой цели морфемы, выступающие как компоненты слова и присоединяемые к последнему по способу агглютинации, а также выделительно-ограничительные частицы, модальные слова, формы выражения отрицания. При этом важно подчеркнуть, что перед-

ко одни и те же языковые средства маркируют логический предикат (сказуемое) исходного и производных предложений парадигмы актуального членения. Ср., например, в узбекском: *Сен бу ишни килдинг-ми*? «Ты эту работу вы́полнил?»; *Сен-ми бу ишни килдинг*? «Эту работу выполнил ты?»; *Сен бу ишни-ми килдинг*? «Ты выполнил эту рабо́ту?». Здесь вопросительная частица *-ми* выступает в роли форманта предиката во всех предложениях указанной парадигмы [29]. Во флективном русском языке соответствующие производные предложения маркируются логическим ударением на лексеме, обозначающей предикат, и отнесением этой лексемы в конец предложения.

Заметим здесь, что аналогичным образом ведет себя в узбекском языке отрицательный аффикс *-ма*, маркируя логический предикат всех предложений парадигмы актуального членения [29]. В русском языке этому аффиксу соответствует отрицательная частица *не*, также маркирующая предикаты всех предложений указанной парадигмы, непосредственно предшествуя этим предикатам. Нередко эта маркировка сопровождается логическим ударением на лексеме с отрицательной частицей и отнесением этого комплекса в начало или в конец предложения [30]; ср. в русском: *Он не любит тебя*; *Не о́н любит тебя*; *Не тебя́ он любит*; или *Любит тебя не о́н*; *Он любит не тебя́* и т. д.

Сравнение материала даргинского, лакского, табасаранского, аварского и других дагестанских языков свидетельствует о наличии в них единого принципа построения парадигмы актуального членения. Например, релевантным признаком исходного и производных предложений парадигмы является определенное различие в структуре сказуемого. Сказуемое исходного предложения — это глагольная форма, маркированная соответствующими аффиксами спряжения (см. в хайдакском диалекте даргинского языка: *ду цявун-да хъале* «я пришел домой»), а сказуемое в предложении с актуальным членением — это причастная форма в постпозиции. Ср.: *ду-да цявунил хъале* «(именно) я пришел домой» [букв. «(именно) я пришедший домой есть»]; *ду цявунил хъале-да* «я пришел (именно) домой» [букв. «я пришедший (именно) домой есть»]. Этим предложениям в лакском языке соответствуют: *на увкI-ра шавай*; *на-ра увкIсса шавай*; *на увкIсса шавай-ра*. Заметим, что в приведенных парадигмах один и тот же аффикс (соответственно *-да* или *-ра*) маркирует предикаты всех предложений парадигмы актуального членения. И это не случайно. Например, в лакском языке наиболее употребительными маркерами предикатов во всех предложениях парадигмы актуального членения являются аффиксы спряжения *-р*, *-ра*, *-ру-*, *-ри*, дающие одинаковую возможность изменения по лицам предикату-сказуемому исходного и производных предложений. Ср. изменение по лицам глагола-сказуемого лакского исходного предложения парадигмы:

на увкI-ра шавай «я пришел домой»;
ина увкI-унни шавай «ты пришел домой»;
та увкI-ри шавай «он пришел домой»;
жу бувкI-ру шаппай «мы пришли домой»;
зу бувкI-унну шаппай «вы пришли домой»;
та бувкIунни шаппай «они пришли домой»

и соответствующие изменения логических предикатов в производных предложениях парадигм актуального членения:

на-ра увкIсса шавай «(именно) я пришел домой»;
ина-ра увкIсса шавай «(именно) ты пришел домой»;
та-ри увкIсса шавай «(именно) он пришел домой»;

жу-ру бувкIсса шаппай «(именно) мы пришли домой»;
зу-ру бувкIсса шаппай «(именно) вы пришли домой»;
тай-ри вувкIсса шаппай «(именно) они пришли домой»;
на увкIсса шавай-ра «я пришел (именно) домой»;
ина увкIсса шавай-ра «ты пришел (именно) домой»;
та увкIсса шавай-ри «он пришел (именно) домой»;
жу бувкIсса шаппай-ру «мы пришли (именно) домой»;
зу бувкIсса шаппай-ру «вы пришли (именно) домой»;
тай бувкIсса шаппай-ри «они пришли (именно) домой» [31].

В приведенных примерах особый интерес представляет факт одинакового изменения по лицам предиката исходного и производных предложений парадигмы актуального членения, независимо от того, глаголом или иной частью речи предикат выражен. Это свидетельствует о равноправном в предикатовыделительном процессе положении всех предложений парадигмы и о неразличении в далеком прошлом имени и глагола в структуре языка.

В разноструктурных языках для маркировки предиката в предложениях парадигмы актуального членения нередко используются также модальные слова и частицы, характеризующие степень проблематической или категорической достоверности сообщения или имеющие семантику иных модусов. Например, в русском языке такими модальными словами являются: *возможно, может быть, вероятно, по-видимому, безусловно, несомненно, конечно* и др. В составе предложения они интонационно и обычно позиционно тяготеют к тому члену предложения, который выражает логико-грамматический предикат, ср.: *Я, возможно, в тéатр пойду завтра*; *Возможно, я́ в театр пойду завтра*; *Я в театр, возможно, пойду́ завтра*; *Возможно, за́втра, я пойду в театр*. Особенно велика роль модальной лексики в маркировке предикатов предложений парадигмы актуального членения в языках с очень развитой системой модальных глаголов. При этом последние сохраняют специфику лексической семантики. Например, в немецком глаголы *dürfen* «сметь, иметь разрешение» и *sollen* «быть должным, быть обязанным» в большинстве случаев выражают соответственно возможность и необходимость (долженствование) с точки зрения существующих в обществе моральных норм, а глаголы *können* «мочь, иметь возможность, быть в силах» и *müssen* «быть должным» выражают главным образом соответственно возможность и необходимость с точки зрения объективных условий. Вместе с тем при маркировке предикатов в предложениях парадигмы актуального членения нередки случаи употребления глагола *können* в функции глагола *dürfen*, а глагола *müssen* в функции глагола *sollen* [32].

В языках аналитического строя существенная роль в маркировке предикатов предложений парадигмы актуального членения отводится специальным синтаксическим предикатовыделительным конструкциям, что обусловлено отсутствием необходимых морфологических маркеров указанного назначения. Например, в английском языке предикатовыделительными конструкциями являются: 1) инверсия с вводным *there*: *There was a large pier-glass between the two windows* «Между двумя окнами сверкало большое трюмо»; 2) инверсия без вводного *there*: *Ahead was a river-valley* «Впереди была долина реки»; 3) двойная инверсия: *Seated in a row close to one another were three ladies* «В ряд, тесно одна к другой, сидели три леди»; 4) оборот с *it is* (*that*): *It uas England he had wanted* «Ему нужна была именно Англия» [29]. Как известно, конструкции с *There is a* и *It is* (*the*) без инверсии оформляют исходные предложения соответственно с семантикой существования и отождествления, ср.: *There is a man*; *It is the table*. Таким

образом, они являются предикатовыделительными в исходных и производных предложениях парадигм актуального членения.

К предикатовыделительным средствам в рассматриваемом языке относятся также модальные слова: *perhaps* «может быть», *possibly* «возможно», *probably* «вероятно», *evidently*, *obviously* «очевидно», *of course* «конечно», *surely* «конечно, несомненно», *no doubt* «несомненно», *in fact* «фактически», *in truth* «действительно», *naturally* «конечно» и др.; выделительно-ограничительные частицы: *only* «только», *just* «именно, точно», *merely* «только; просто», *namely* «именно», *solely* «исключительно, единственно», *at least* «по меньшей мере», *rather than* «тем более», *even* «даже», *exactly* «точно, как раз, именно»; *precisely* «точно»; формы выражения отрицания (см.: *Even the White Monkey would refuse fruit like that* «Даже белая обезьянка отказалась бы от таких фруктов»; *You have no shame and no honour* «У вас нет ни стыда, ни совести» [29]. К числу предикатовыделительных средств здесь относится также неопределенный (и нулевой) артикль.

Как видно из рассмотренных примеров, средства выражения актуального членения в любом языке коррелируют с его типологическими особенностями. Однако предикатовыделительные средства в исходных и производных предложениях парадигм актуального членения всегда берутся из общего набора морфолого-синтаксических, лексических, интонационных средств языка и нередко совпадают. Этот факт заставляет усомниться в целесообразности выделения в языке двух якобы «принципиально различных» уровней — синтаксического и логико-грамматического, в отнесении предикативности лишь к логико-грамматическому уровню и, следовательно, признании существования предложений без предикативности. Учитывая бесконечность процесса познания человеком окружающего мира и самого себя, относительную достоверность приобретенных и приобретаемых им знаний, а также единство набора средств выражения модальности в языке, используемого как в исходных, так и в производных предложениях парадигм актуального членения, нам представляется вообще неоправданным деление языковой модальности на «объективную» и «субъективную». Справедливости ради надо сказать, что даже последовательные сторонники целесообразности такого деления иногда высказывают мысли, смягчающие категоричность их суждений: «между значениями субъективной и объективной модальности и способами их языкового выражения не существует резкой грани» [33, с. 45]; «...очевидно, что взаимодействие субъективной и объективной модальностей и способов их языкового выражения должно быть предметом специального исследования, поскольку этой проблеме до настоящего времени почти не уделялось никакого внимания» [33, с. 46; 23].

Особо следует сказать о модусах-квалификаторах, не производящих актуального членения и относящихся к содержанию предложения в целом (см., например: *Хорошо, что идет снег*; *Грустно, что все уже кончилось* и т. д.). Поскольку модусы-квалификаторы создают новые суждения, они являются одним из средств выражения компонентов семантики модальности и предикативности. Таким образом, модальные, вводные слова, экспрессивно окрашенная лексика выражают компоненты семантики модальности и предикативности в тех, и только в тех, случаях, когда либо являются модусами-квалификаторами исходного предложения в целом, либо маркируют его актуальное членение. Аналогичный вывод правомерен и относительно других средств выражения актуального членения: интонация, специальные аффиксы, частицы и другие предикатовыделительные средства, маркирующие актуальное членение, являются средствами вы-

ражения дополнительных компонентов семантики модальности и предикативности. Модальность — основное средство реализации предикативности (наряду с языковыми категориями: времени, аспектуальности, залоговости, числа и др.). Следовательно, она входит в предикативность как часть в целое.

Основными компонентами семантики модальности являются: (А) — класс компонентов, характеризующих целевую коммуникативную установку говорящего (или пишущего), независимо от специфики гносеологического аспекта суждения v', обозначенного предложением. Средства языкового выражения этих компонентов семантики модальности (интонемы цели коммуникации и типы связи субъекта и предиката суждения v') создают основные структурные типы предложения: утвердительный, отрицательный, вопросительный, повелительный, восклицательный, реально-условный, нереально-условный, желательный, потенциальный, уступительный, абсентив и др. Некоторые из них имеют маркированные в глаголе-сказуемом оттенки модального значения, создающие соответствующие подтипы. Ср., например, повелительный, просительно-повелительный и другие типы предложения в ряде иберийско-кавказских, тюркских и других языков. Если в конкретном языке систематически маркируются определенные семантические компоненты класса (А) в форме глагола-сказуемого, правомерно говорить о существовании в этом языке наклонений, с семантикой и наименованием соответствующих компонентов этого класса (например, утвердительное, отрицательное, повелительное, запретительное, условное, желательное и другие наклонения в нахских языках).

Класс (A_1) составляют компоненты семантики модальности, характеризующие тот или иной гносеологический аспект суждения о внешнем или внутреннем мире человека, создаваемый соответствующими онтологическими, логическими или эпистемическими модусами, которые могут быть представлены в структуре предложения, обозначающего суждение v', эксплицитно или имплицитно. Средства выражения этих компонентов модальности являются лексико-грамматическими при наличии эксплицитно выраженных модусов. Если в конкретном языке имеет место систематическая маркировка тех или иных компонентов класса (A_1) в форме глагола-сказуемого, правомерно говорить о существовании в этом языке наклонений с семантикой и наименованием соответствующих компонентов модальности. См., например, в даргинском языке вероятностное (предположительное) наклонение, имеющее формы настоящего и будущего времени (*вакI-иша* «вероятно, приду», *вакI-иши* «вероятно, пришел»).

В класс (A_2) входят компоненты семантики модальности, создаваемые любым из деонтических, аксиологических, временных и других модусов, которые в структуре предложения, обозначающего суждение v', могут наличествовать, как и выше рассмотренные модусы класса (A_1), эксплицитно или имплицитно. Если в конкретном языке систематически маркируются те или иные компоненты класса (A_2) в форме глагола-сказуемого, правомерно говорить о существовании в этом языке наклонений, с семантикой и наименованием соответствующих компонентов класса (A_2) модальности.

В класс (A_3) входят дополнительные семантические компоненты модальности, создаваемые актуальным членением любого предложения, допускающего такое членение. Очевидно, средствами выражения компонентов этого класса являются средства выражения актуального членения предложения: интонация, порядок слов, предикатовыделительные аффиксы, модальные, вводные слова, относящиеся к предикату нового суждения, получающегося в результате актуального членения.

Учитывая сказанное, модальностью мы называем лексико-грамматическую категорию, характеризующую целевую коммуникативную установку, тип связи субъекта и предиката суждения v', обозначенного предложением, интонему последнего и модус отношения говорящего (или пишущего) к смыслу сообщения. Тем самым модальность выражает отношение суждения v' к действительности (с точки зрения говорящего или пишущего) и отношение говорящего или пишущего к смыслу сообщения. Элемент субъективности наличествует во всех компонентах семантики модальности, поэтому ее деление на субъективную и объективную весьма условно. Ограничение модальности рамками реальности-ирреальности названного в суждении действия лишено принципиальной основы, поскольку является предметом гносеологии.

Структура семантического поля языковой модальности может быть записана таким образом: (1) СПМ$\equiv$ $A \wedge (A_1 \vee A_2 \vee A_3)$, где $\wedge$ — знак логической конъюнкции; $\vee$ — знак логической дизъюнкции в неисключающем смысле. Здесь необходимо подчеркнуть обязательное наличие в любом предложении соответствующего элемента класса (А), обеспечивающего ему определенную коммуникативную установку и тип связи субъекта и предиката суждения v', обозначенного этим предложением. Дизъюнкция формулы (1) истинна при истинности любого числа ее членов. Компоненты класса (A_1), (A_2) отличаются типами модусов, которые довольно часто не являются взаимоисключающими, поэтому вполне возможно одновременно наличие в одном и том же предложении модусов, относящихся к упомянутым подклассам. Ср., например: *Вероятно, запрещено входить в этот музей без специальной обуви*; *Плохо, что невозможно сегодня выполнить это задание* и т. д. Модусы первого предложения, обозначенные лексемами *вероятно*, *запрещено*, входят соответственно в классы (A_1), (A_2). Модусы второго предложения, обозначенные лексемами *плохо*, *невозможно*, входят соответственно в (A_2), (A_1). Компонент класса (A_3) может быть в любом предложении, допускающем актуальное членение.

В разноструктурных языках с развитой парадигмой глагольного словоизменения наклонения являются основным средством выражения модальности. Предлагаемое нами определение наклонения является следствием данного выше определения модальности.

Наклонением мы называем категориальную форму модальности, передающую в синтетической или аналитической форме глагола-сказуемого значение определенного компонента (или компонентов) классов А, A_1, A_2, A_3 ее семантики, характеризующих соответствующее отношение смысла сообщения к действительности с точки зрения говорящего или пишущего и отношение последнего к смыслу сообщения. Вполне разделяем мнение Н. Е. Петрова, в соответствии с которым «система наклонений, имеющая место во всех языках мира и выделенная как одна из центральных категорий глагола в результате длительного изучения разноструктурных языков не одним поколением языковедов, не должна подвергаться сомнению или раздроблению ради „уточнения и конкретизации" модальности. Наоборот, она должна служить фундаментом для уточнения *содержания и объема этого понятия, как категория, наиболее развитая*, достигшая морфологического выражения....» [6, с. 30]. Основу семантики языковой модальности составляет совокупность значений наклонений, выявленных в соответствии с одними и теми же принципами в разноструктурных языках. Однако языковая модальность в целом не исчерпывается совокупностью значений наклонений, поскольку включает в себя и модусы, не получившие статуса последних. Ее семантическое поле шире этой

совокупности значений и описывается приведенной выше формулой (1), а в ее план выражения входят не только морфологические, но и синтаксические, лексико-грамматические, фонетические языковые средства.

Материалы разноструктурных языков, наше определение языковой модальности, соотносящее ее с модальной логикой, позволяют выделить следующие наклонения: 1) повелительное (императив), 2) утвердительное (положительное), 3) отрицательное, 4) вопросительное, 5) восклицательное, 6) условное, 7) сослагательное, 8) уступительное, 9) вероятностное (предположительное, гипотетическое), 10) желательное (оптатив), 11) потенциалис, 12) абсентив (наклонение неочевидности действия), 13) запретительное, 14) разрешительное и др. Поскольку модусы модальной логики образуют открытое множество, как и соотнесенные с ними компоненты семантики языковой модальности любого из выделенных нами классов (А, A_1, A_2, A_3), постольку открытым является и множество допустимых в языке наклонений, которые формировались и формируются в процессе развития языков.

Надо сказать, что по вопросу о соотношении модальности и предикативности существуют различные мнения. Предлагаемое здесь понимание этого соотношения является прежде всего следствием ранее данного нами определения предложения как предикативного языкового знака типа $\Sigma(\mu, \nu', \sigma, \pi)$, где μ — означающее, *индифферентное к цельнооформленности*; ν' — суждение, соотнесенное с денотативно-референтной ситуацией, фрагментом действительности, обозначенное предложением; σ — синтактика (= синтагматическая ценность), складывающаяся из: а) семантической избирательности, предопределяемой спецификой сигнификатов слов, словосочетаний, входящих в предложение, и предложения в целом; системными средствами языка (типами моделей смысловых отношений и соответствующих им синтаксических конструкций, характером семантических распространителей, пресуппозициями, контекстом); б) валентности слов, словосочетаний, входящих в предложение, и валентности знака-предложения, рассматриваемого как логический предикат; в) грамматической значимости входящих в предложение слов, словосочетаний и предложения в целом; г) потенциально возможных сочетаний слов, словосочетаний (компонентов предложения) и предложения в целом с другими знаками языковой системы, обозначающих новые смыслы в условиях речевой деятельности; π — прагматика, включающая в себя: 1) предикативность, соотносящую высказывание с денотативно-референтной ситуацией, фрагментом действительности через посредство модальности и локализации сообщаемой информации в пространстве и времени (формальной или с помощью пресуппозиций, контекста); 2) пресуппозиции (контекстные и экстралингвистические; частным случаем последних являются денотативно-референтные пресуппозиции) [34—35]. Таким образом, модальность входит в предикативность как основной компонент ее семантики, являясь тем самым, как и предикативность, универсальной языковой категорией, в сфере которой находится каждое предложение любого языка, независимо от характера его типологии.

Иногда модальность рассматривается как категория более широкая, чем предикативность. В этом случае в ее сферу включаются лексемы и словосочетания с семантикой оценки называемых предметов, процессов, явлений (ср., например, русские слова: *рука — ручища — рученька*; словосочетания: *грязная история, допотопная старуха, абсолютный балбес* и т. д.). Однако при столь расширенном понимании модальности экспрессивно-эмоциональная оценка говорящим того или иного предмета, процесса, яв-

ления действительности оказывается доминантным компонентом семантики рассматриваемой категории, что не соответствует объективной языковой реальности.

Модальность — это прежде всего основное средство реализации предикативности, обязательно содержащее в своей семантике коммуникативную установку сообщения и тот или иной тип субъективно-предикатной связи в суждении, обозначенном предложением. Экспрессивно-эмоциональная оценка того или иного члена предложения может получить статус дополнительного компонента семантики предикативности и модальности лишь в том случае, когда средства ее выражения маркируют актуальное членение этого предложения и тем самым являются языковым средством выражения дополнительного компонента семантики предикативности и модальности нового суждения, полученного в результате актуального членения. Модальность производного предложения парадигмы актуального членения представляет собой конъюнкцию модальности исходного предложения и ее дополнительного компонента, полученного при актуальном членении.

Для примера рассмотрим несколько парадигм актуального членения в русском языке:

1) *Она приходила вчера;*
Вчера́ приходила она;
Приходи́ла она вчера.

В производных предложениях этой парадигмы актуальное членение выражено интонемой важности, которая реализуется постановкой лексемы с логическим ударением в начальную позицию. Модальность каждого предложения парадигмы имеет интеллектуальную (целевую) интонему повествования, изъявительное (утвердительное) наклонение глагола-сказуемого. Производные предложения имеют еще дополнительную интонему важности. Легко видеть, что здесь модальность производного предложения парадигмы актуального членения является конъюнкцией модальности исходного предложения и модальности, созданной актуальным членением и выраженной интонемой важности. Аналогично предикативность производного предложения является конъюнкцией предикативности исходного предложения и предикативности, созданной актуальным членением и выраженной той же интонемой важности.

2) *Марина завтра уедет?*
Марина уедет за́втра?
Завтра уедет Мари́на?

Здесь модальность каждого предложения парадигмы имеет интеллектуальную (целевую) интонему общего вопроса, изъявительное (утвердительное) наклонение глагола-сказуемого. Интонема важности, реализуемая постановкой лексемы с логическим ударением в конечную позицию, обозначает дополнительный компонент модальности (и предикативности), обусловленный актуальным членением.

3) *Приходи ко мне завтра!*
Завтра ко мне приходи́!
Завтра приходи ко мне́!

В этой парадигме модальность каждого предложения имеет интеллектуальную (волюнтативную) интонему повеления, повелительное наклонение глагола-сказуемого. Интонема важности, реализуемая постановкой

лексемы с логическим ударением в конечную позицию, обозначает дополнительный компонент модальности (и предикативности) в соответствующих производных предложениях парадигмы актуального членения.

Актуальное членение предложения — это один из способов реализации принципа экономии языковых средств человеком — носителем языка. Парадигма актуального членения — пример выражения одним и тем же (или почти одним и тем же) набором лексем различных мыслей-суждений. Дополнительный компонент семантики модальности и предикативности, создаваемый актуальным членением (независимо от того, какими языковыми средствами оно маркировано), не выходит из сферы субъективности уже потому, что является одновременно и компонентом модальности, и компонентом предикативности, что подтверждает условность отнесения актуального членения к «субъективной» модальности.

Учитывая, что предикативность реализуется в подавляющем большинстве случаев не только через посредство модальности, но и через посредство ряда других языковых категорий (лица, числа, времени, аспектуальности, залоговости и др.), сфера ее семантики выходит за пределы модальности, расширяясь за счет семантики дополнительно указанных категорий. Соответственно за счет маркеров этих категорий расширяется набор языковых средств, маркирующих предикативность.

Предикативность реализуется лишь через посредство модальности в случае выражения последней с помощью интонации (в однословных безличных и так называемых номинативных предложениях). Следовательно, соотношение сфер семантики предикативности и модальности можно представить в виде логической формулы: (2) $Pred \equiv Mod \wedge (p \vee n \vee t \vee s \vee a \vee v \vee \ldots)$, где, соответственно: Pred — предикативность, Mod — модальность, p — лицо, n — число, t — время, s — пространство, a — аспектуальность, v — залоговость; $\wedge$ — логический знак конъюнкции (в смысле присоединения), $\vee$ — логический знак дизъюнкции (в неисключающем смысле). Специальной оговорки требует обязательное наличие в формуле предикативности первого элемента конъюнкции (Mod), без которого нет предикативности. Второй член конъюнкции, заключенный в скобку, может быть реализован любым конечным числом элементов дизъюнкции в зависимости от структуры предложения; этот член равен нулю в случае выражения модальности и предикативности лишь с помощью интонации. Число элементов дизъюнкции может быть увеличено, если в рассматриваемом языке окажутся компоненты семантики, предикативности, отличные от указанных в скобке формулы.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Колшанский Г. В.* К вопросу о содержании языковой категории модальности.— ВЯ, 1961, № 1.
2. *Панфилов В. З.* Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971.
3. *Виноградов В. В.* Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975.
4. *Золотова Г. А.* Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 1973.
5. *Шведова Н. Ю.* Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960.
6. *Петров Н. Е.* О содержании и объеме языковой модальности. Новосибирск, 1982.
7. Грамматика русского языка. Т. II (Синтаксис). М., 1980.
8. *Бондаренко В. Н.* Виды модальных значений и их выражение в языке.— ФН, 1979, № 2.
9. Логическая семантика и модальная логика. М., 1967.
10. Неклассическая логика. М., 1970.
11. Семантика модальных и интенсиональных логик. М., 1981.

12. *Ивин А. А.* Логика норм. М., 1973.
13. *Цеплитис Л. К.* Анализ речевой интонации. Рига, 1974.
14. *Торсуева И. Г.* Интонация и смысл высказывания. М., 1979.
15. *Mathesius V.* O tak zvanén aktuálnim člěneni vetném.— В кн.: Čestina a obesny jazykozpyt. Praha. 1947.
16. *Пешковский А. М.* Школьная и научная грамматика. 4-е изд. М.— Л., 1923, с. 30—35.
17. *Paul H.* Deutsche Grammatik. Bd. 3. Halle, 1954, S. 10, 12.
18. *Крушельницкая К. Г.* К вопросу о смысловом членении предложения.— ВЯ, 1956, № 5.
19. *Фортунатов Ф. Ф.* Избранные труды. Т. 2. М., 1957, с. 456, 457.
20. *Пауль Г.* Принципы истории языка. М., 1960, с. 339.
21. *Gabelentz G. V.* Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse Leipzig, 1881, S. 353—354.
22. *Boost K.* Neue Untersuchungen zum Wesen und zur Struktur des deutschen Satzes. Berlin, 1955.
23. *Слюсарева Н. А.* Проблемы функционального синтаксиса английского литературного языка. М., 1981.
24. *Смирницкий А. И.* Синтаксис английского языка. М., 1957.
25. *Распопов И. П.* Актуальное членение предложения. Уфа, 1961.
26. *Панфилов В. З.* Грамматика и логика. М.— Л., 1963.
27. *Панфилов В. З.* Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М., 1982.
28. Грамматика русского языка. Т. II. Ч. I. М., 1954, с. 91.
29. *Каримова З. Р.* Логико-грамматическое членение простого предложения современного узбекского языка в сопоставлении с английским: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1981, с. 11.
30. *Панфилов В. З.* Отрицание и его роль в конституировании структуры простого предложения и суждения.— ВЯ, 1982, № 2.
31. *Хайдаков С. М.* Логическое ударение и членение предложения.— В кн.: Актуальные проблемы нахско-дагестанского языкознания. Махачкала, 1986.
32. *Крашенинникова Е. А.* Модальные глаголы в немецком языке. М., 1974, с. 58—61.
33. *Панфилов В. З.* Категория модальности и ее роль в конституировании структуры предложения и суждения.— ВЯ, 1977, № 4.
34. *Дешериева Т. И.* К проблеме номинации.— ФН, 1983, № 3.
35. *Дешериева Т. И.* Система субъектно-объектных отношений в разноструктурных языках. Гл. I. М., 1985.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1987

ЖИВОВ В. М.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОЙ РЕДАКЦИИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

(По поводу книги И. Тота «Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI — начале XII вв.». София, 1985. 358 с.)

Труды И. Тота хорошо известны исследователям-славистам. В Studia Slavica им был опубликован ряд древнейших славянских памятников русского происхождения, ему принадлежит и серия палеографических и лингвистических описаний древнейших рукописей, содержащая полезную информацию о начальном периоде формирования русской редакции церковнославянского языка. Появившаяся недавно монография И. Тота как бы подводит итог этим исследованиям, что не может не вызвать у заинтересованного читателя определенных ожиданий: процессы формирования русской редакции до сих пор остаются не вполне изученными, и, заполнив эту лакуну, было бы естественно перейти к существенным обобщениям, касающимся функционирования церковнославянского языка в Древней Руси, его отношения к церковнославянскому языку других редакций, его взаимодействия с разговорным языком восточных славян. В какой мере книга И. Тота отвечает этим ожиданиям, в значительной степени и будет предметом нашего обсуждения. Прежде чем перейти к нему, однако, я кратко остановлюсь на том материале, который содержится в монографии.

1. Материалом для исследования И. Тота послужили десять русских рукописей XI — нач. XII вв. Сюда относится Слуцкая псалтырь (СлПс), одноеровая часть Пандектов Антиоха (ПА[2]), Туровские листки (ТЛ), Житие Кондрата (ЖК), Житие Феклы (ЖФ), Минея Дубровского (МД), Бычковская псалтырь (БПс), кирилловская часть Реймсского евангелия (РЕ[1]), Листок Викторова (ЛВ), древнейшая русская часть Саввиной книги (СК[2]). В монографии дается краткая характеристика этих рукописей (с указанием палеографических особенностей), а затем рассматриваются отдельные явления, отражающие процесс адаптации церковнославянского языка на русской почве.

Характеристика рукописей составляет первую главу исследования. Вторая глава названа «От графики к орфографии». Первым вопросом, разбирающимся здесь, являются «особенности употребления букв ѫ, ѭ, ѧ, ѩ (ѧ) и *оу* (ꙋ), *ю*, ꙗ, *а* в древнерусских памятниках». Последовательно по всем десяти рукописям расписано употребление юсов, причем отдельно отмечается этимологически правильное употребление, употребление юсов на месте букв, обозначающих неносовые гласные (*оу*, *ю*, ꙗ, *а*), употребление этих последних букв на месте юсов. Примеры сгруппированы по морфологическим рубрикам: по отдельности даются употребления в корнях, суффиксах и окончаниях, что в принципе позволяет увидеть, в какой сте-

пени писец при написании юсов пользовался морфологической информацией. Следующий параграф второй главы посвящен употреблению букв ъ и ь. Указав, что большинство древнерусских рукописей является двуеровым, И. Тот перечисляет затем рукописи с одноеровой орфографией: ПА[2], РЕ[1], ЛВ с исключительным употреблением ь (я не уверен, что такая характеристика подходит для ЛВ, где написания с ъ составляют статистически значимую группу), ЖК с исключительным употреблением ъ. Автор пытается здесь обосновать тезис о том, что на Руси существовали писцовые школы, пользовавшиеся одноеровой орфографией и следовавшие здесь «болгарской» традиции. Особый раздел отводится употреблению йотированных букв. И. Тот указывает на класс рукописей с «полным комплектом» йотированных букв (ѥ, ѩ, ѧ, ꙗ, ю — из исследованных рукописей сюда относится ТЛ) и на классы рукописей, в наборе графем которых недостает одной или нескольких йотированных букв: ѥ — в ЖК (а также, за исключением нескольких примеров, в ПА[2], ЖФ и ЛВ), ѧ — в ЖК, ЖФ, МД, РЕ[1], ЛВ, ѩ — в БПс, РЕ[1] (а также, за исключением нескольких примеров, в ПА[2], МД, СК[2]), ꙗ и ю — в РЕ[1] (ю употреблено здесь всего два раза). Приведены списки примеров по памятникам и выяснены условия употребления отдельных йотированных букв. Последним моментом, который разбирается во второй главе, является употребление диакритических знаков. Исследуя их функции, И. Тот принимает без особых оговорок гипотезу Е. Будде (выглядевшую легкомысленно уже и сто лет назад, когда она была выдвинута), согласно которой писцы с помощью диакритических знаков «старались передать те оттенки произношения, для передачи которых не хватало „буквенных средств“» (с. 204). Анализируя рукописи, И. Тот приводит примеры на употребление диакритических знаков для обозначения пропущенных редуцированных, для передачи «мягкости согласных» и для обозначения йотации (что здесь может быть причислено к «оттенкам произношения», остается неясным).

Третья глава носит название «Особенности языка русской редакции древнеболгарского языка». Глава начинается с раздела, посвященного судьбе редуцированных гласных. Выводы этого раздела соответствуют ожиданиям: в исследованных памятниках падение редуцированных практически не отражается, и автор относит это на счет влияния живой речи русских писцов, в ряде случаев, видимо, исправлявших написания оригинала. Ценной является роспись по памятникам всех примеров с ерами; примеры распределены по морфологическим рубрикам: редуцированные в корнях, суффиксах, приставках и предлогах, окончаниях. Будущий исследователь истории редуцированных сможет почерпнуть из этих материалов ряд интересных примеров, обнаруживающих роль морфологического фактора в правописании еров. Следующий раздел посвящен рефлексам сочетаний типа **tъrt*, **tъlt*, **tьrt*, **tьlt*. Как известно, правописание этих рефлексов с редуцированным перед плавным (типа *търгъ*) или с редуцированными по обеим сторонам плавного (типа *търъгъ*) является одним из наиболее ранних формирующих моментов русской нормы церковнославянского языка. Исследованные И. Тотом памятники хорошо отражают этот процесс: в одних представлены только написания южнославянского типа (типа *тръгъ*), в других такие написания чередуются в разной пропорции с написаниями, ставшими стандартными для русской нормы, и, наконец, в третьих представлены только написания русского типа. Третий параграф настоящей главы посвящен рефлексам сочетаний типа **trъt*, **trьt*, **tlъt*, **tlьt*. Как и ожидается, примеров на прояснение редуцированных в этих сочетаниях в исследованных рукописях не обнаруживается;

остается неясным, зачем эти сочетания описаны в отдельном параграфе, а не рассмотрены в разделе, трактующем падение и прояснение редуцированных в других условиях. Последний параграф третьей главы носит название «Особенности употребления буквы *ѣ*». Автор расписывает по памятникам примеры с *ѣ*, распределяя их по морфологическим рубрикам. Цель этой работы неясна, поскольку никаких «особенностей» употребления при этом не выявляется. Отмечены единичные случаи смешения *ѣ* и ꙗ (*а*), свидетельствующие, видимо, о глаголическом протографе соответствующих рукописей. В рефлексах **tert ѣ* пишется в СлПс, ПА², ТЛ, ЖК, ЖФ, ЛВ, а также в СК² (за исключением трех примеров); частое написание *е* в сочетаниях этого типа отмечается в МД, БПс и РЕ¹. И здесь, таким образом, можно наблюдать постепенное становление русской нормы (которая требует написаний с *е*). И. Тот без оснований рассматривает соответствующие примеры под рубрикой «рефлексы общеславянских сочетаний *tert*, *telt*» — на рефлексы **telt* во всем приведенном материале имеется всего два примера, и автор не приводит ни одного аргумента в пользу тождественности судьбы рефлексов **tert* и **telt* в русской редакции церковнославянского языка (как известно, поздняя норма XIII—XIV вв. предписывала написание *е* лишь в рефлексах **tert*, но не в рефлексах **telt*: *предъ*, но *плѣнъ*).

В последней, четвертой главе книги говорится о «русизмах, редко встречающихся в рукописях». Содержание главы не вполне отвечает этому названию. И. Тот описывает здесь те явления, которые имеют ту или иную значимость в истории церковнославянского языка русской редакции, но не могут быть сколько-нибудь подробно проиллюстрированы на обработанном им материале. Сначала рассматриваются явления фонетические. Сюда относится написание *ч*, *ж* на месте **tj*, **kt'* и **dj* (*ч* на месте **tj* встречается только один раз в корне *чоуж-* в БПс, процесс становления *ж* как нормативного соответствия **dj* в русском церковнославянском намечен в МД, БПс, РЕ¹, СК²), отсутствие *l* epentheticum в непервом слоге как черта инославянских (у И. Тота почему-то лишь болгарских) протографов (несколько примеров в СлПс и ПА²), отражение первого полногласия (один пример в ПА²), отражение второго полногласия (написания типа *жьрьтвоу* в МД и БПс), отражение «первой веляризации» (*обълкъша*, *обълъклъ* в МД), отражение «второй веляризации» (переход **je* > *о*, не представлен ни одним примером; И. Тот зачем-то приводит частицу *оле*, дважды встречающуюся в МД), рефлексы **ōt* под циркумфлексом (*ростѧше сѧ* в РЕ¹), «начальное *оу* вместо *ю*» (*оуньци*, *оуности* в БПс). К числу морфологических явлений, рассматриваемых И. Тотом, относятся следующие: *ѣ* в род. ед. и им.-вин. мн. существительных мягкой разновидности *а*-склонения (несколько примеров в РЕ¹) [1], *-ъмь*, *-ьмь* в тв. ед. существительных муж. и ср. рода (по памятникам в разном соотношении с *-омь*, *-емь*), *-а* в им. ед. действительных причастий муж. рода (единственный сомнительный пример *сан блгслнъ* в МД), *-ть* в 3-м л. презенса (*-тъ* из обследованных рукописей только в СлПс; в БПс и РЕ [1] несколько примеров с отсутствием *-ть*). Далее И. Тот рассматривает формы имперфекта, указы-

[1] Здесь же, среди морфологических явлений, рассматривает И. Тот и окончание -ꙗ, *-а* в вин. мн. мягкой разновидности *о*-склонения (которое он почему-то называет «разновидностью флексии-*ѣ*»). Между тем это окончание является лишь русской передачей южнославянского -ѩ, -ѧ закономерно возникающей при замене юсов неносовыми гласными. Эта специфическая черта книжной морфологии образуется благодаря усвоению южнославянского морфологического элемента; отличие русской редакции от южнославянских обусловлено здесь не морфологическими, а фонетическими процессами.

вая соотношение стяженных и нестяженных форм в разных памятниках, распространение перенесенных из аориста окончаний *-сте*, *-ста* во 2-мн. и 3-м дв., характер гласного в суффиксе имперфекта и появление *-ть* в личных окончаниях 3-го л. (по одному примеру в РЕ[1] и СК[2]). Остановившись на употреблении суффикса *-ѧн* (в соответствии с южнославянским *-ѣн*), исследователь переходит к описанию встретившихся в рукописях «диалектизмов». Понятно, что диалектные явления в рассмотренных памятниках практически не отражаются. Те феномены, которые перечисляет в данном разделе И. Тот, по большей части не могут быть отнесены к выраженным региональным характеристикам. В разделе говорится об изменении **tь + j > ти + и* (типа *нарекоути имѧ* в РЕ[1]); о принадлежности этого явления южнорусскому ареалу писал в свое время А. А. Шахматов, однако без достаточных оснований (в поздних работах диалектное приурочение отсутствует [1, с. 202]). Изменение **ъ + jь > ы + и* (типа *вы истиноу* в ПА[2]) Шахматов считал более свойственным южным рукописям, нежели северным; на этом основании И. Тот и отражения этого процесса зачисляет в диалектизмы. Здесь же приводится один пример из ТЛ с *и* на месте *ѣ* (*видѧть*), который интерпретируется как южнорусская специфика. К южнорусским чертам (на этот раз вслед за В. Ягичем) относит автор и переход *ъ > ь* в результате ассимиляции с передним гласным следующего слога (примеры сомнительны). Один пример цоканья в ПА[2] (*црьньць*) приводит И. Тота в недоумение, поскольку он склонен считать ПА южнорусским памятником. Основанием для этого служит якобы отражающееся в ПА[2] (равно как в ЖК, ТЛ, ЖФ, БПс, МД) троякое разделение согласных на твердые, полумягкие и мягкие (о методологической непоследовательности в подобной интерпретации данных см. ниже). Наконец, автор пишет здесь о «своеобразном значении» употребления *-е* вместо *-ѣ* в дат.-местн. местоимений *ты* и *себе* и отсутствия *-ть* в 3-м л. презенса (в чем состоит своеобразие и какое отношение имеет оно к диалектным особенностям, остается неясным).

Завершается монография кратким разделом, озаглавленным «Подведение итогов». Поскольку следующая далее полемика и будет в значительной степени посвящена этим итогам, сейчас я на этом разделе останавливаться не буду [2].

2. Исследование процессов формирования русской редакции церковнославянского языка требует двойной перспективы. Та эпоха, к которой принадлежат исследуемые И. Тотом памятники (XI — нач. XII в.), является переходной, и поэтому выявление значимых черт развития книжного языка в этот период предполагает восстановление некой первоначальной картины, исходного момента развития, и учет окончательных результатов этого процесса, т. е. тех норм книжного языка, которые сложились на Руси в XIII—XIV вв. (до второго южнославянского влияния). Только исходя из подобной двойной перспективы и можно понять, какие явления, обнаруживающиеся в рукописях, значимы: что является уходящими чертами книжного языка (что, таким образом, следует отнести на счет протографов), что предвосхищает позднейшую норму (именно здесь и ставится закономерно вопрос об источниках нормирования, прежде всего о книжном произношении), и что, наконец, следует трактовать как отклонение

[2] В конце книги дан список использованной литературы. Отмечу ряд пропусков и погрешностей. Так, в нем нет работы, обозначенной как «В. В. Иванов, 1968», на которую И. Тот ссылается на с. 203. Остается нерасшифрованной и работа, обозначенная как «А. А. Шахматов, 1914» (ссылка на той же с. 203) — имеются в виду «Очерки древнейшего периода истории русского языка» [1].

(ошибки орфографического характера или окказиональное отражение живого произношения, отличающегося в данном пункте от книжного).

2.1. Задача реконструкции итоговой картины является относительно простой: поздняя древнерусская норма книжного языка прекрасно документирована многочисленными рукописями, и лишь недостаточная изученность соответствующих памятников не позволяет сейчас представить ее во всех значимых деталях. Общие контуры этой картины, однако, достаточно ясны. В принципе И. Тот отдает себе отчет в важности этой перспективы и, подводя итоги (с. 331—332), проводит различие между теми русизмами, «которые с течением времени входили в нормы церковно-книжного языка», и теми русизмами, которые попадают в рукописи только по недосмотру писцов. Эта оглядка на сложившуюся норму в самом исследовании не проведена, однако, сколько-нибудь последовательно, и отсюда целый ряд сомнительных интерпретаций.

Так, я уже говорил о том, что как одно целое рассмотрена судьба рефлексов **tert* и **telt*: материал не дает для этого оснований, а позднейшая норма показывает, что написания с *е* являются принятыми лишь в случае рефлексов **tert*, но не в случае рефлексов **telt*. Один взгляд на позднейшую норму мог бы убедить И. Тота и в том, что последовательное различение *ѣ* и *е* (вне рефлексов **tert*) является постоянной чертой русского церковнославянского — от XI в. до наших дней. Поэтому нет смысла подчеркивать тот факт, что в обследованных рукописях смешение *ѣ* и *е* отсутствует; тем более неправомерно трактовать этот факт как «архаическую фонетическую особенность» (с. 289) [3].

Точно так же взгляд на последующую традицию мог бы помочь И. Тоту дать правильную интерпретацию различению *е* и ѥ в начале слова в ТЛ. Обычно здесь в начале слова пишется ѥ, однако в нескольких случаях — *еда*, *еи* (частицы), *езерѣ*, *ева*ꙗ — пишется нейотированное *е* с диакритическим знаком или без него. И. Тот, основываясь на том, что в Зографском листке *ė* (с диакритикой) ставится в значении ѥ, предполагает, что и в случае написания *е* в ТЛ в книжном произношении йотация имела место (с. 151). Известно, однако, что в позднейшем книжном произношении Юго-Западной Руси именно эти слова (т. е. заимствования из греческого, частицы *еда* и *еи* и основы *елен-*, *езер-*, *есен-*) читались с нейотированным начальным гласным (откуда и современное произношение и написание *э* в заимствованных словах [3]). Очевидно, что те рукописи, в которых различаются начальные *е* и ѥ и начальное *е* закреплено за указанной выше группой основ, свидетельствуют о том же книжном произношении, которое можно наблюдать позднее в югозападнорусской традиции. ТЛ в этом отношении не исключение, они примыкают здесь к большинству древнейших памятников русского письма (Остромирово евангелие, Изборник 1073 г., Слова Кирилла Иерусалимского, Юрьевское евангелие и т. д.). Вопрос был подробно исследован Н. Н. Дурново [4, с. 23—37], и странно, что И. Тот не использует результатов этого исследования.

---

[3] И. Тот, возможно, имеет при этом в виду высказанную когда-то А. А. Шахматовым [1, с. 162] гипотезу, согласно которой в книжном произношении *ѣ* и *е* читались одинаково, и полагает, что обследованные им рукописи появились до установления этой традиции чтения. Самая гипотеза А. А. Шахматова малоправдоподобна [2], но даже если исходить из нее, то и здесь обращение к позднейшей традиции однозначно показывает, что различение *ѣ* и *е* оставалось абсолютной орфографической нормой. Смешение *ѣ* и *е* в ряде древних рукописей (Софийские минеи XII в., один из почерков Типографского Устава) объясняется особыми причинами и в любом случае является отклонением от грамотного книжного письма.

Путаную и непоследовательную интерпретацию дает И. Тот и написанию в рассмотренных им рукописях букв ѧ и ꙗ (в особенности в БПс — с. 103). Достаточно было бы, однако, обратиться к тем простым правилам, которыми определялась постановка этих букв в книжной орфографии XII—XIV вв., чтобы мнимые сложности исчезли и вырисовалась картина постепенного становления русской орфографической нормы, которая в ранних рукописях (XI в.) может проводиться не вполне последовательно, поскольку в отдельных случаях писцы повторяли написания своих инославянских протографов.

2.2. Отсутствие четких представлений об «итоговой картине», о перспективе будущего мешает И. Тоту при интерпретации отдельных явлений, отдельных частных фактов. В значительной степени это, видимо, не принципиальные ошибки, а погрешности, обусловленные незнанием соответствующего материала. Сложнее обстоит дело с перспективой прошлого, сложнее, в частности, и потому, что сам вопрос представляет большие трудности и требует для своего решения четкой и точной методики.

В самом деле, если «итоговая картина» подробно документирована, то «исходная картина» должна строиться на фрагментарном, заведомо недостаточном материале. Мы знаем, что русская книжность и русский литературный язык древнейшей эпохи (церковнославянский язык русского извода) возникли на основе инославянской книжности, на основе общего для всех славян кирилло-мефодиевского наследия. Несомненно, что в XI в. на Руси имели хождение рукописи как восточноболгарского, так и македонского происхождения, равно как и рукописи происхождения западнославянского. С самого начала, таким образом, русские книжники сталкивались с церковнославянским языком разных изводов. Каков был при этом «удельный вес» отдельных изводов, остается в общем-то неясным. Неясным остается и самый характер орфографических и морфологических систем, представленных в этих рукописях. Очевидно, что дошедшие до нас старославянские памятники дают лишь очень неполное, в значительной степени случайное представление об этом первоначальном разнообразии. В частности, все наши представления о чешской редакции, значение которой в формировании русской книжности нельзя недооценивать, основаны лишь на Киевских и Пражских листках. Можно полагать, что в общем фонде имевших хождение на Руси рукописей были и памятники сербохорватского извода [5], от древнейшего периода которого до нас не дошло ничего. Реконструируя исходную картину, мы должны постоянно помнить об этой кардинальной неполноте наших знаний и не исключать a priori никаких возможностей — даже, например, такой маловероятной гипотезы, как наличие на Руси церковнославянских памятников польского происхождения. С древнейших времен церковнославянский был общим литературным языком славянства, и никаких принципиальных барьеров для миграции памятников из одной славянской области в другую не существовало [6].

Неадекватность сохранившихся старославянских рукописей для реконструкции всех разновидностей книжного языка славянства на рубеже X—XI вв. делает особенно актуальной задачу извлечения дополнительных данных из рукописей более позднего времени, прежде всего из русских рукописей XI—XII вв. В частности, как писал Н. Н. Дурново, «русские рукописи, восходящие к ю.-сл. орфографической традиции первой половины XI в., имеют большое значение, помогая судить и о самом ст.-сл. языке и об эволюции его у южных славян в X и XI вв. с большей ясностью, чем это можно сделать, пользуясь памятниками только ю.-сл.

письма» [7, с. 73]. Поставленная Н. Н. Дурново задача остается в значительной степени нерешенной и по сей день. Для ее решения необходимо во всех деталях понять, как именно работали русские книжники, и затем, исключив все те моменты, которые были внесены ими в славянскую книжную традицию (прежде всего все элементы переосмысления полученного извне языкового материала), выявить те черты, которые принадлежали усвоенному здесь кирилло-мефодиевскому наследию. И это лишь первый этап работы, поскольку далее эти отдельные черты должны быть соотнесены с разными редакциями литературного языка славян, сталкивавшимися на русской почве.

Поясню сказанное несколькими примерами. В целом ряде русских рукописей XI в. (Остромирово евангелие, Слова Григория Богослова, ТЛ, Синайский патерик, Путятина минея, Изборники 1073 и 1076 гг., Чудовская псалтырь) употребляется четыре юса: ѫ, ѭ, ѧ, ѩ. Между тем старославянские кириллические памятники с таким набором юсов отсутствуют. Возможно, такие памятники существовали, но не дошли до нас. Именно такой вывод и делает И. Тот. «Древнерусская графика с ѫ, ѭ, ѧ, ѩ,— утверждает он,— отражает следы такой древнеболгарской графической традиции, которая с течением времени прекратила свое существование» (с. 124). Следует, однако, иметь в виду, что графическая система с четверкой юсов ѫ, ѭ, ѧ, ѩ не является для кириллицы органическим развитием и может возникать в ней лишь как относительно поздняя реплика глаголицы (ѩ, созданный по аналогии с ѭ, должен при этом вытеснить ѧ [8]). В какой степени вся русская графическая традиция с указанной четверкой юсов могла восходить к южнославянской кириллической системе, не отразившейся в сохранившихся памятниках? Не следует ли думать, что утверждение на Руси подобной графики было связано с распространением здесь глаголических рукописей? Эти вопросы побуждают еще раз с вниманием пересмотреть все факты, относящиеся к бытованию на Руси глаголической традиции, к связям русской книжности с македонской, хорватской глаголической и западнославянской, и это, возможно, приведет к переоценке значимости болгарской редакции церковнославянского языка для формирования его русского извода.

Значимым для реконструкции исходной картины является и книжное произношение еров как [о] и [е] (см. о нем [1, с. 205; 9, с. 63—65]). Подобное произношение еров могло идти лишь из той славянской традиции, где происходило прояснение редуцированных, давших в сильном положении /о/ и /е/. Книжное произношение еров может, следовательно, рассматриваться как свидетельство македонского вклада в русскую книжность. Древность и значимость этого вклада подчеркивается тем обстоятельством, что книжное произношение еров как [о] и [е] предполагает, в принципе, такую систему обучения чтению, при которой склады типа *бъ* и *бь* читаются так же, как и склады *бо* и *бе*. По-видимому, македонское происхождение может быть приписано самой этой системе обучения чтению, ср. [1, с. 205]. Этот факт имеет двоякое значение. С одной стороны, он позволяет сделать вывод о том, что произношение еров как [о] и [е] к XI в. становится для македонского извода нормативным, конституируя признак, противопоставляющий македонский извод другим редакциям. С другой стороны, поскольку книжное учение на Руси складывается в законченную систему уже, видимо, в первой половине XI в., македонское влияние следует отнести к древнейшему периоду русской книжности.

И. Тот приводит любопытный материал, относящийся к данной проблеме,— редкие, но ценные своей древностью примеры отражения книжного

произношения на письме: *воложить* в ПА[2], 22а; *грѫзна* (ѫ вместо *о*) в МД, 9а; *кото*, *члвкѫмъ* (ѫ вместо *о*) в БПс, 7а, 4б; *вавилоноскааго* в РЕ[1], 4а [4]. Однако его интерпретация этого материала основана на неприемлемых методологических принципах. По мнению И. Тота, указанная черта книжного произношения возникает относительно поздно: во время написания ЖК эта норма еще не сложилась (с. 231, ср. с. 142), а во время написания БПс ее формирование находилось в «начальной фазе» (с. 247). Эта точка зрения аргументируется тем, что в ЖК случаи написания *о* или *е* на месте слабых редуцированных полностью отсутствуют, а в БПс имеется всего два таких случая, один из которых сомнителен. Эта аргументация неверна, поскольку она не учитывает статуса написаний с *о* или *е* на месте слабых редуцированных. Орфографической нормой русского извода в XI—XII вв. является последовательное различение *о* и ѫ, равно как *е* и ь: эти буквы одинаково читаются, но их смешение на письме считается ошибкой (в ряде памятников такие ошибочные написания подвергнуты правке [10, с. 287]), причем для выполнения орфографической нормы писцы проверяют написания с помощью своего живого произношения [9, с. 64]. Отсутствие ошибок или их малочисленность указывает лишь на орфографическую норму и не сообщает никаких данных о стоящем за написанием произношении — ЖК точно так же ничего не говорит о различении редуцированных и гласных полного образования в книжном произношении, как современное грамотное письмо о различении /о/ и /а/ в безударных слогах в речи носителя литературного языка.

2.3. Ошибочная аргументация И. Тота в данном вопросе неслучайна, это лишь одно из частных свидетельств его нечувствительности ко всей проблематике реконструкции «исходной картины». Непонимание этой проблематики с самого начала существенно ограничивает глубину и значимость выводов его исследования. Это непонимание проявляется уже в самом названии работы — «Русская редакция д р е в н е б о л г а р с к о г о языка». Избранная автором терминология не только неудачна, но и принципиально недопустима при исследовании памятников литературного языка. Употребляя термин «древнеболгарский» (вместо обычного «церковнославянский»), И. Тот замечает, правда, что «вопросы терминологии весьма сложны и в определенной мере всегда носят условный характер», и выражает надежду на то, «что его терминология не нанесет обиды тем, что определяет древнейший литературный язык славянства другим термином» (с. 6). Однако эти ненужные оговорки только показывают, что проблематика истории литературных языков недостаточно ясна автору. Терминология может быть условной, может быть неточной, но она должна удовлетворять одному простому требованию — не называть двух разных предметов одним термином, не позволяя тем самым описать те процессы, в которых эти одинаково названные предметы играют разную роль. Именно этому требованию и не удовлетворяет термин «древнеболгарский» как наименование древнейшего литературного языка славянства. Пользование им не-

[4] Большую часть этих примеров, правда, И. Тот трактует как описки, возникающие под влиянием последующей или предшествующей гласной. Конечно, описки такого рода возможны, однако апелляция к ним как к стандартному объяснению — это один из случаев недопустимой палеографической мифологии. Прежде чем давать такое объяснение, следует выяснить, насколько часто возникают такие описки у данного писца в несомненных случаях (например, написание *п* вместо *к* в соседстве с *к* и т. д.). Без подобного обследования описка — это Deus ex machina в руках исследователя, стремящегося избавиться от непонятного материала. Именно в силу этого я считаю, что все указанные примеры должны рассматриваться — пока не найдено лучшей интерпретации — как отражение на письме книжного произношения.

избежно ведет к ошибочным выводам и неоправданным построениям, не проясняющим, а затмевающим основные линии развития [5].

Так, на с. 73 И. Тот пишет о древнеболгарском диалекте, письменно закрепленном в азбуке, созданной Константином-Кириллом. Почему диалект Солуни, на который ориентировался Кирилл, назван древнеболгарским, остается непонятным, ведь Солунь в Болгарское царство не входила никогда. Диалект Солуни был южнославянским, это несомненно, но нет никаких оснований считать его особо близким диалекту, скажем, Преслава. Называя его древнеболгарским, автор, не аргументируя, отождествляет две языковые системы, совершенно произвольно членя южнославянский диалектный континуум эпохи общеславянской общности.

Это отождествление ведет в свою очередь к новым двусмысленностям. Солунский говор действительно был диалектной основой старославянского языка (языка кирилло-мефодиевских переводов), однако старославянский с самого начала выступал как язык литературный, искусственный, для которого диалектная основа имела лишь второстепенное значение. Со своими переводами Кирилл и Мефодий отправляются в Моравию, и то, что в Моравии они сталкиваются с иным диалектом, нисколько их не волнует. Старославянский адаптируется на моравской диалектной основе, что кладет начало западнославянскому изводу церковнославянского языка. Отсюда кирилло-мефодиевская традиция переходит в южнославянские земли, в частности, в Хорватию и Болгарию, и в результате появляются хорватский, болгарский и другие южнославянские изводы церковнославянского языка. Возникший таким образом болгарский извод ни в каком плане не может быть отождествлен с разговорным языком славянского населения Болгарии (что оправдывало бы наименование его древнеболгарским): это язык, возникший на иной, нежели восточноболгарская, диалектной основе, испытавший в Болгарии такие же процессы адаптации, как и в других славянских областях, и принципиально противопоставленный языку разговорному как нормированное литературное образование, всегда в той или иной мере отталкивающееся от разговорного начала.

На протяжении XI в. Русь становится основным центром славянской письменности, впитывающим в себя книжные традиции всех прочих славянских земель. Понятно, что здесь сталкиваются разные изводы церковнославянского языка. Процесс формирования русского извода нельзя понять, не учитывая этого разнообразия. Противоречивость норм, представленных в распространявшихся на Руси рукописях, была несомненно одним из важных стимулов для выработки своей, особой нормы. Можно полагать, что разные изводы церковнославянского воспринимались русскими книжниками как варианты единого книжного языка, и при этом вариативность его норм творчески переосмыслялась: создание русской нормы выступает одновременно и как процесс адаптации церковнославянского на восточнославянской диалектной основе, и как обобщение и приспособление имевшихся вариантов к задачам создания новой книжной нормы. Сведение всего этого разнообразия к одной болгарской традиции — что подразумевается термином «русский извод древнеболгарского языка» — с са-

---

[5] Замечу, впрочем, что И. Тот допускает в своей монографии несколько терминологических ляпсусов, указывающих на странную путаницу основных понятий. Так, на с. 282 Добрилово евангелие 1164 г. названо памятником «древнерусского языка», хотя трудно понять, в чем принципиальное отличие языка этого памятника от языка, скажем, Мстиславова евангелия, которое И. Тот считает памятником «древнеболгарского» языка. На с. 200 говорится о какой-то «церковнославянском произношении», отличающемся от «церковно-книжного произношения, сложившегося на древнерусской почве».

мого начала закрывает путь к воссозданию того сложного творческого развития, которое переживает на Руси литературный язык славянства.

2.4. И действительно, заблуждения И. Тота не остаются чисто терминологическими. В особенностях исследуемых им памятников он постоянно стремится увидеть простое воспроизведение черт восточноболгарской рукописной традиции. Соответственно, функциональная интерпретация изучаемых фактов подменяется интерпретацией генетической, так что процессы формирования русского извода — процессы функционального порядка — получают одностороннее и тенденциозное освещение.

Так обстоит дело, в частности, с предлагаемой в монографии интерпретацией русских памятников одноеровой орфографии. И. Тот считает, что на Руси «употреблялись все орфографические приемы, которые были выработаны древнеболгарскими писцами с течением времени как в Восточной, так и в Западной Болгарии. Вследствие этого в XI в. на Руси было представлено три крупные школы древнерусских писцов: 2 одноеровые школы и 1 двуеровая, причем в памятниках с одноеровыми школами обнаруживается только начальная фаза „обрусения“ древнеболгарского правописания» (с. 143). Существование на Руси одноеровых школ доказывается, по мнению автора, тем фактом, что двуеровые рукописи могут переписываться здесь в одноеровой орфографии. Именно так рассматривает И. Тот РЕ, однако его интерпретация логически несостоятельна. И. Тот исходит из трех примеров, в которых на месте ъ перед *и* стоит ы: *повиты и* 5а, *поѧты и* 12б, *приѧты и* 15а. Эти формы И. Тот считает искажением правильных форм протографа: *повитъ и* и т. д., Это и доказывает, на его взгляд, двуеровый характер орфографии протографа, поскольку «на базе такого диалекта, который лег в основу одноеровой графики с буквой ъ..., появление написаний *ыи* (-ъ*и*) невозможно» (с. 138). В этих сложных построениях, однако, нет нужды. Естественно считать, что три указанных выше примера являются ошибками, совершенными не писцом протографа (и оттуда перенесенными в РЕ), а писцом самой рукописи. В говоре этого русского писца /ъ/ и /ь/, безусловно, не смешивались и /ъ/ перед /i/ имел аллофон, который легко мог отождествляться с фонемой /ɨ/ и соответственно передаваться буквой *ы* (ъ*и*): приведенные примеры являются, таким образом, ошибками, обусловленными живым произношением писца РЕ. Одноеровую орфографию, напротив, естественно трактовать как воспроизведение орфографии оригинала, что делает малоправдоподобной гипотезу о существовании русских одноеровых школ [6].

Двуеровая орфография несомненно была нормой русской редакции церковнославянского языка, соответствующей нормам русского книжного произношения. При переписке одноеровых памятников — видимо, достаточно широко распространенных на Руси в XI в.,— как правило, восстанавливалось (с помощью живого произношения) этимологически правиль-

---

[6] История РЕ — это уравнение со многими неизвестными, и вряд ли было бы уместно решать его в данной работе. На мой взгляд, можно во всяком случае с уверенностью утверждать, что одноеровая орфография относится к южнославянскому «слою» этого памятника, а переход ъ > *ы* может относиться и к его восточнославянскому «слою». Гипотеза о сербском происхождении РЕ не представляется мне достаточно обоснованной (даже с оговоркой, что монах, «владевший чакавским наречием», переписывал его в Сазавском монастыре) и поэтому локальные южнославянские черты я склонен приписывать оригиналу РЕ. В то же время нельзя полностью исключить возможности того, что РЕ — это чешская копия XI в. с русского оригинала [11] (в этом случае, впрочем, можно было бы ожидать меньшей последовательности в написании еров). Данная возможность не меняет существа приведенных выше аргументов, они лишь переносятся на оригинал и ориг инал оригинала РЕ.

ное написание еров. О его нормативности как раз и могут свидетельствовать ПА², в которых в пределах второго почерка одноеровая орфография характеризует лишь первые семь листов, тогда как далее писец переходит на двуеровую орфографию: трудно истолковать это иначе, чем переход от воспроизведения оригинала к выполнению предписаний собственной орфографической нормы. РЕ, ЛВ и ЖК являются теми редкими рукописями, в которых писец — возможно, в силу недостаточной подготовки — этими предписаниями пренебрег [7]. Мы имеем здесь дело не с трансплантацией южнославянских орфографических норм, а с частными отступлениями, обусловленными влиянием южнославянских протографов.

В то же время И. Тот постоянно относит на счет влияния протографа такие черты, для которых подобное объяснение либо излишне, либо вовсе неприемлемо. Самый принцип работы древнерусских книжников автор понимает как посильное соблюдение «требования точного списывания древнеболгарских текстов» (с. 120). Такого требования, однако, не было и не могло быть именно потому, что на Русь приходили рукописи разных изводов с разными орфографическими системами, некритическое воспроизведение которых не могло согласоваться со стремлением к единообразию и нормативности. Как писал Н. Н. Дурново, «ошибочно думать, что сколько-нибудь грамотные писцы стремились к точной передаче написаний своих непосредственных оригиналов... Принципом было следование нормам книжного или литературного языка и правописания» [9, с. 45—47]. На счет оригинала могут быть отнесены лишь такие особенности рукописи, которые идут вразрез с действующими нормами литературного языка, не могут быть объяснены как отражение произношения (книжного или разговорного) или индивидуальная норма писца и в то же время находят себе аналог в рукописной традиции другого региона. Подобная установка, однако, чужда И. Тоту.

Так, например, анализируя русскую часть СК, И. Тот пишет, что здесь «консеквентно сохраняются исконные древнеболгарские написания *ч* + ѧ, *ж* + ѧ (*ш*ѧ только частично)... Написания -*ш*ѧ древнеболгарского оригинала передаются в большинстве случаев как *ша*... за исключением 5 случаев... По всей вероятности, последние примеры попали в СК² из оригинала» (с. 119). Подобная же интерпретация дается и написаниям -*ш*ѧ, -*щ*ѧ в БПс (с. 100—101). Вместе с тем, говоря о ПА², И. Тот отмечает, что здесь «буква *а* вместо ѧ, ꙗ пишется обычно по древнеболгарской модели после букв *ж*, *ш*, *ч*, *ц*... Написания *жа*, *ша*, *ча*, *ца* восходят к древнеболгарскому оригиналу» (с. 81; ср. еще о МД, с. 97—98). Очевидно, однако, что во всех этих случаях оригинал не при чем. После палатальных

---

[7] Конечно, задача восстановления двуеровой орфографии не всегда решалась достаточно последовательно, и, видимо, именно с этим следует связывать довольно многочисленные в ранних русских рукописях случаи смешения ъ и ь [4, с. 21—23].

Обосновывая существование на Руси одноеровых орфографических школ, И. Тот ссылается еще на берестяную грамоту № 109 (рубеж XI—XII вв). с исключительным употреблением ъ (с графическим эффектом ь — ъ). Можно было бы указать и еще на ряд ранних берестяных грамот со смешением ъ и ь [12, с. 109]. Правописание берестяных грамот, однако, строится на иных принципах, нежели орфография книжного письма, и поэтому не дает никаких указаний на книжную орфографическую практику. Правописание берестяных грамот связано не с навыками книжного письма, а с навыками чтения [13; 10, с. 261]. Соответственно, одноеровые грамоты свидетельствуют о распространенности на Руси южнославянских рукописей с одноеровой орфографией. Авторы берестяных грамот усваивали из этих рукописей самый принцип неразличения еров, тогда как реализоваться этот принцип может и в исключительном употреблении ъ, и в факультативной замене ь на ъ, и в их безразличном смешении [12, с. 109]. Все это, однако, не имеет отношения к книжной орфографической норме.

согласных имела место нейтрализация противопоставления гласных по ряду [14], в частности, оппозиции /а/ — /ä/. В условиях эквивалентности ѧ и ю в рукописях русского извода это создавало возможность вариантных написаний с *а*, ѩ или ю после шипящих и *ц* (написания с ю ограничены постольку, поскольку действует тенденция не употреблять ю после согласных). Эта вариативность и наблюдается в рукописях, она допускается нормой, причем разные писцы могут поступать по-разному: после шипящих и *ц* одни последовательно пишут *а*, другие ѧ, а третьи свободно варьируют написания с этими буквами [10, с. 253]. Эти вариации, как правило, не имеют никакого отношения к этимологии. Характерно, что в Архангельском евангелии (1-й почерк) написания с *а* и с ѧ распределяются приблизительно поровну и при этом этимологически неправильные написания столь же часты, как и этимологически правильные, т. е. этимологическая правильность (и правописание оригинала) выступает как совершенно нерелевантный фактор [15]. В этой перспективе связывать с «древнеболгарским оригиналом» или с «древнеболгарской моделью» какие-либо примеры из СК², БПс, ПА² или МД представляется явно нецелесообразным.

Ориентация на этимологию и правописание оригиналов приводит И. Тота к игнорированию внутренней систематики исследуемых им памятников. Так, анализируя употребление юсов в БПс (из рассмотренных в книге самая близкая к устоявшейся норме русского извода рукопись), И. Тот замечает, что «благодаря отсутствию в ней знаков ѫ, ѭ и ѩ в графической системе наблюдается больше нововведений, чем в ЖК, ЖФ, ТЛ, и она является более с л о ж н о й, чем графические системы рассмотренных выше памятников» (с. 103; разрядка наша.— *Ж. В.*). Действительно, в описании И. Тота система выглядит непростой: после гласной ѧ этимологически правильно пишется в 37 случаях, но в 3 случаях вместо ѧ, ѩ пишется ю; после согласных «сохраняется» написание ѧ, но не после шипящих и *ц*, где, как правило, пишется *а*, а этимологически правильное написание ѧ встречается лишь в двух случаях, и т. д. Графическая система БПс описывается, однако, очень простыми правилами (релевантными, кстати, для большого числа памятников русского извода):

/а/ → *а* /ä/ → ѧ;

В условиях нейтрализации

/ja ~ ä/ → ѧ, ю; /ш, ч, щ, ц + а ~ ä/ → *а*, ѧ.

Эти правила соотносят фонологические единицы с графическими и, видимо, отражают нормативные установки писца. Они не выводятся из протографов, и именно поэтому попытка описать дистрибуцию графем через южнославянские «праформы» дает столь запутанную и неясную картину.

Столь же неубедительной выглядит и попытка И. Тота доказать, что к древнеболгарским оригиналам восходит простановка диакритических знаков в ряде русских рукописей (с. 178, 188, 191, 196—197). Само употребление диакритик несомненно ориентировано на греческие образцы, которые одинаково значимы и для южных, и для восточных славян. В ряде рукописей употребление диакритик систематично, т. е. определяется простыми правилами: постановка диакритик над гласной в начале слова или слога, на месте пропущенной буквы (чаще всего ъ или ь), для обозначения палатальности согласного. В этом случае мы имеем дело с орфографической системой данной рукописи (данного писца) и поэтому не располагаем никакими данными об орфографической системе оригинала. В ряде рукописей употребление диакритик бессистемно, т. е. нельзя сформулировать

никаких правдоподобных предписаний, которыми мог бы руководствоваться писец при их расстановке. И в этом случае, однако, нельзя сказать, что писец перенес диакритики из оригинала, допустив при этом много погрешностей. Бессистемное употребление может указывать не на оригинал, а на орфографическую традицию, внешние черты которой и воспроизводит писец, воспринимающий диакритики как признак книжного письма, но не придающий им никакой функциональной значимости.

Неубедительные отсылки к оригиналу появляются у И. Тота и в ряде других случаев: то отсутствие написаний *о*, *е* на месте редуцированных (нормативное для ранних рукописей русского извода) оказывается свидетельством того, что в основе протографа лежал диалект без прояснения редуцированных в /о/, /е/ (с. 213, 220), то к протографу возводится написание *всь* (с. 265 — это сокращенное написание встречается во множестве русских рукописей XI—XV вв. и выступает как допустимый орфографический прием), то к «древнеболгарскому оригиналу» возводятся аористы *приѭтъ*, *клѧтъ* (с. 246 — обычный для русских рукописей элемент книжной морфологии). Примеры можно умножить (ср. с. 211, 219, 241—242, 267). Они показывают, что автор слабо представляет себе лингвистические установки русских писцов, и это постоянно приводит к неверным и произвольным интерпретациям особенностей анализируемых рукописей.

3. Необоснованные заключения И. Тота о значении «древнеболгарских» оригиналов, об отражении их орфографии в правописании памятников русского извода оказываются возможными благодаря нечеткой и непоследовательной методологии. Для того чтобы построить ясную картину формирования русской нормы, необходимо отчетливо представлять характер работы русских книжников, те факторы, которыми определялось в их сознании понятие о языковой правильности. Орфографическая норма диктовалась при этом двумя моментами: элементарным соотнесением графики и фонетики (книжного произношения) и специальными правилами книжного письма. Соотнесение графики и фонетики основывалось на обучении чтению: чтение по складам задавало фонетическое значение графем; орфографические правила были предметом специального профессионального обучения и в известных пределах могли варьироваться от одного скриптория (от одной орфографической школы) к другому [10]. Процесс формирования русской церковнославянской орфографии и состоял в том, что написания, отражающие русское книжное произношение и русские правила книжного письма, постепенно вытесняли написания, восходящие к инославянским оригиналам (например, в русском книжном произношении на месте **dj* звучало /ž/, поэтому написания с *ж* постепенно вытесняли написания с *жд*). Те особенности письма, которые не подпадали ни под какие правила, не входили в норму; они могли допускать вариативность, причем характер этой вариативности прямого отношения к формированию русской нормы не имеет (например, написания с начальным *о* или *е*/ѥ в корнях *един-*, *езер-*, *ектениꙗ* и т. д.).

3.1. Проблема источников нормализации остается в монографии И. Тота практически не поставленной. В результате ряд значимых фактов игнорируется, тогда как другие получают малоубедительную интерпретацию.

Так, в книге собран материал о смешении юсов с буквами для неносовых гласных. Истолкование этого материала, однако, вряд ли может удовлетворить читателя. Замену юсов буквами *оу*, *ю*, *а*, ꙗ автор объясняет тем, что русские «писцы более или менее сознательно стремились упрощать графику древнеболгарских рукописей, упрощая некоторые юсы» (с. 123). Установка на упрощение, как кажется, плохо согласуется с об-

щим характером деятельности средневековых книжников. Вместе с тем движущий мотив данного процесса хорошо известен и не требует дополнительных оговорок: в русском книжном произношении носовые гласные отсутствовали, написание юсов не имело «фонологической опоры» и постепенно вытеснялось правописанием, соотносящим /u/ с *оу*, /ü/ с *ю*, а /ä/ с ѧ [9, с. 59—60].

Имеется, однако, ряд ранних памятников, в которых случаи этимологически правильной постановки юсов существенно превышают по числу случаи их смешения с буквами *оу*, *ю*, ꙗ. К таким памятникам относится Остромирово евангелие, Слова Григория Богослова, а из рассматриваемых И. Тотом памятников — СлПс, ТЛ, ЖФ и ЖК. Эти памятники ставят перед исследователем существенную проблему: не являются ли они остатками рукописного наследия такой русской школы книжного письма, которая старалась выдерживать различение юсов и гласных *оу*, *ю*, ꙗ, *а*, т. е. не было ли в формировании русского извода такого промежуточного этапа, когда указанное различение было орфографической нормой? Если такой этап имел место, у русских писцов должны были быть правила постановки юсов, и было бы интересно попытаться их реконструировать. И. Тот предлагает некоторые правила, которыми, на его взгляд, «руководствовался» русский писец (с. 88, 90—91, 93),— типа «сохранять буквы ѫ, ѧ в начале слова», «сохранять ѭ и ѧ... в начале слога», «сохранять ѧ после исконно смягченных согласных...» (с. 93). Понятно, однако, что руководствоваться такими правилами писец не мог. Они по существу сводятся к предписанию «переписывай внимательно», а вероятность такого предписания вызывает, как я уже говорил, большие сомнения (как И. Тот согласует подобные предписания с постулируемым им стремлением «упрощать графику древнеболгарских рукописей», остается и вовсе непонятным). Правила постановки юсов, если они существовали, должны были носить морфологический характер [7, с. 89—90]. Не исключено, что определенное указание на эти правила дает ПА[2], где по данным И. Тота ѫ этимологически правильно употребляется преимущественно в суффиксах и окончаниях, причем в окончаниях этимологически правильное написание наблюдается в вин. ед., в 1-м л. ед. ч. презенса и в 3-м л. мн. ч. презенса после гласной; после согласной в 3-м л. мн. ч. презенса ѫ последовательно заменен на *оу*. Этот вопрос явно нуждается в дальнейшем исследовании на более обширном и показательном материале.

Неадекватную интерпретацию получают и рефлексы сочетаний типа **tъrt*. Как известно, в русских рукописях наряду с написаниями типа *тръгъ*, отражающими южнославянскую традицию, и написаниями типа *търгъ*, нормативными для русского извода, встречаются и написания типа *търъгъ* (или *тър'гъ*). И. Тот отмечает по этому поводу лишь эквивалентность написаний типа *търъгъ* и *тър'гъ* (с. 275), что, вообще говоря, не нуждается в специальном доказательстве, поскольку уже была установлена возможность замены пропускаемых еров диакритическим знаком. Написания типа *търъгъ* ~ *тър'гъ* И. Тот трактует как имеющие «звуковое значение» (с. 276), и это, видимо, справедливо, поскольку наличие таких написаний в берестяных грамотах раннего периода позволяет с уверенностью сказать, что в живой речи гласные произносились по обе стороны плавного [12, с. 124—126]. Это, однако, лишь указывает на проблему, а не решает ее. В самом деле, написания типа *търъгъ* ~ *тър'гъ* всегда составляют лишь относительно небольшой процент от написаний другого типа, причем здесь можно выявить ряд закономерностей, подтверждаемых и обследованными И. Тотом рукописями (сам автор, к сожалению, проходит

мимо этих фактов): если в рукописи есть написания типа *търъгъ* ~ ~ *тър'гъ*, то в ней имеются и написания типа *търгъ*; если в рукописи есть написания типа *търъгъ* ~ *тър'гъ*, то написания типа *търгъ* представлены в ней существенно чаще, чем написания типа *тръгъ*. Это показывает, что написания типа *търъгъ* ~ *тър'гъ* развиваются в ходе формирования русской орфографической нормы как сопутствующие написаниям типа *търгъ*. Статус этих написаний остается, однако, неясным. Были ли они допустимым орфографическим вариантом или ошибкой? Отличалось ли книжное произношение от разговорного тем, что в первом гласный звучал только перед плавным, а во втором — и перед и после него, и не отражали ли написания типа *търгъ* этого книжного произношения, а написания типа *търъгъ* — живой речи писца? Или же книжное и разговорное произношение были в данном аспекте тождественны, притом что фиксация на письме гласного звука, следующего за плавным, оставалась за пределами строгой орфографической нормы? [8]. И эти вопросы требуют дальнейшего статистического исследования на более обширном и показательном материале.

3.2. Последняя проблема связана со сложными вопросами соотношения орфографии и фонетики: фонетические характеристики отражаются в правописании лишь косвенным образом, причем в книжном тексте могут действовать и такие орфографические условности, за которыми не стоит никакая фонетическая реальность. Современная славистика далеко ушла от того этапа исследований, когда книжный текст рассматривался как своего рода транскрипция и можно было писать, как это делал В. Н. Щепкин, о «кирилловских звуках» [17]. Тем не менее реликты этого подхода все еще сохраняются в научном сознании, и книга И. Тота дает этому немало примеров. Характерно, например, что он может писать об «архаичном з в у к о в о м облике» формы *олѣюмь* (с. 164; разрядка наша.— *Ж. В.*). Точно так же, рассуждая о написании *ѣ* в СлПс, И. Тот пишет о двух тенденциях, «которые существовали в языке СлПс: 1) широкое произношение гласного /ě/, что засвидетельствовано написаниями буквы *ѣ* вместо ꙗ (*а*), 2) более закрытое произношение, что выражается в большинстве написаний, когда буква *ѣ* пишется этимологически правильно. Широкое произношение буквы *ѣ*, — замечает далее автор,— характерно для глаголических памятников...» (с. 285). Поскольку СлПс рассматривается как памятник русского происхождения, очевидно, что в произношении писца /ě/ выступал как фонема средневерхнего подъема, что же касается смешения *ѣ* и ꙗ, его естественно отнести на счет протографа, скорее всего глаголического (хотя, конечно же, не исключен промежуточный кириллический оригинал): оно является результатом неправильной транслитерации и о произношении не говорит ничего. Очевидно вместе с тем, что и употребление глаголицы не дает однозначных указаний на произношение /ě/: глаголический алфавит мог свободно употребляться и в тех славянских областях, где имела место оппозиция /ě/ и /ä/ [15].

Некорректный переход от данных правописания к фонетике наблюдается у И. Тота и в других, более принципиальных случаях. Так, многочисленные случаи пропущенных еров в ограниченном наборе корней (*вьс-*, *дьн-*, *книг-*, *мног-*, *кът-*, *чьт-* и несколько других) рассматриваются И. Тотом как отражение падения редуцированных в «абсолютно слабой позиции» (с. 206, 211, 214, 228, 235, 253—254, 261). Отражение этого явления автор видит даже в написании †*алъма* в ЖК, а также в таких примерах,

[8] Ср. в этой связи противоречивые данные кондакарей [16] — кондакарная запись, как правило, в большей степени отражает книжное произношение, нежели обычное книжное письмо, и при этом может даже отступать от орфографических правил.

как *†ание* (ЖК, ПА²), *на†ание*, *на†ати*, *†ано* (РЕ), явно имеющих характер условного сокращения (с. 224, 230, 249). От фонетической трактовки не останавливают И. Тота и написания типа *вcь* или *днь*, где опущен сильный редуцированный: в первом случае он видит влияние протографа (с. 265 — как будто это что-нибудь объясняет), а во втором пишет о положении «этимологически с л а б о г о редуцированного в с и л ь н о й позиции» (разрядка наша.— *Ж. В.*) (с. 235 — какой смысл имеет этот оксюморон, не сказано); между тем орфографический прием сокращения выступает в этих случаях с полной очевидностью. При этом автор игнорирует большое число корней, в которых редуцированный находится в такой же «абсолютно слабой» позиции и для которых нет никаких свидетельств о раннем его падении. Любого из перечисленных обстоятельств достаточно для того, чтобы отказаться от прямой фонетической интерпретации и увидеть в этом, как указывал еще Н. Н. Дурново, «орфографический прием», который «восходит к южнославянскому правописанию» [18] (И. Тот и здесь почему-то игнорирует результаты, полученные замечательным русским славистом).

Неоправданный переход от графики к фонетике наблюдается в монографии и в рассуждениях о мягкости согласных. Так, отдельные написания с ю после шипящих в ПА² (при основной модели с *а* в этом положении) указывают, по мнению И. Тота, на мягкость *ж*, *ш* в говоре писца, а написания с ю после других согласных (на месте этимологического ѧ) «могут свидетельствовать о вторичной мягкости согласных перед *'а* < ѧ» (с. 81, ср. с. 150). На аналогичных основаниях делается и вывод о мягкости шипящих в ТЛ (с. 87). На основе анализа йотированных гласных и эквивалентных йотации диакритик И. Тот считает возможным предполагать для писца ЖФ, «как и для писца Мстиславова евангелия, троякое членение согласных: твердые, полумягкие и мягкие согласные» (с. 158). Написание ѧ в суффиксе имперфекта в РЕ позволяет, на взгляд автора, «установить, что... исконно смягченные согласные не отличались от вторично смягченных согласных, возникших на древнерусской почве» (с. 171). Указание на вторично смягченные согласные И. Тот находит и в написаниях суффикса имперфекта как -ю*а*- (*хотюахж*) в ЛВ (с. 172). Из постановки диакритических знаков над *н*, *р*, *л* выводится заключение о мягком произношении этих согласных перед /е/ (с. 192) и т. д. (ср. еще с. 204, 210, 211).

Очевидно между тем, что разбираемые орфографические системы в принципе не могут сообщить данных о так называемом «вторичном смягчении», о конкретной фонетической реализации шипящих, о совпадении первично смягченных и вторично смягченных согласных. Если, например, устанавливается соответствие /ä/ → ѧ, ю, то из написания *м*ѧ или *м*ю нельзя сделать никакого вывода о качестве /m/: фонологическая система может быть реконструирована так, что мягкость не входит в число различительных признаков, и анализируемые И. Тотом написания такой реконструкции не противоречат. Если даже процесс рефонологизации /mä/ > /m'a/ относить к рассматриваемому периоду, он не отражался и не мог отражаться в правописании. После шипящих (палатальных шумных) происходила нейтрализация гласных по ряду. Соответственно, в позиции после этих согласных могли с равным успехом писаться *а* и ѧ или ю, *ъ* или *ь*. Мягкость не была релевантным признаком для палатальных, и поэтому выбор той или иной гласной буквы мог быть орфографической условностью, а отнюдь не обозначением фонетического качества.

Рефлексами сочетаний **nj*, **lj* и **rj* были первоначально палатальные сонорные, противопоставленные /*n*/, /*l*/, /*r*/ не по модальному признаку

мягкости, а по месту образования [15, 19]. Палатальность сонорных могла обозначаться как с помощью диакритических знаков, так и с помощью йотированных букв; последний способ обозначения палатальности мог распространяться и на палатальные шумные. Последовательное употребление йотированных букв после *л*, *н* (как, например, в Остромировом евангелии) указывает на существование подобной фонологической оппозиции (но отнюдь не на «мягкое произношение» *л*, *н*; не могут указывать на него и обозначающие палатальность диакритические знаки). Существовала вместе с тем и орфографическая традиция, в которой палатальность никак не обозначалась; буквы ꙗ и ѧ могли выступать в ней как вариантные, потому из их написания после согласных нельзя сделать никакого вывода ни о релевантности признака палатальности, ни о мягкости несонорных согласных, ни о совпадении «первично» и «вторично» смягченных, ни тем более о тройном членении согласных на твердые, полумягкие и мягкие [15; 10, с. 253]. Развитие новой фонологической системы, в которой согласные противопоставлялись по мягкости, а палатальные сонорные совпали с мягкими, принципиально не могло отразиться в тех характеристиках правописания, которые анализирует И. Тот. Поэтому его выводы остаются схемами, перенесенными из исторической фонетики восточнославянских языков и бездоказательно связанными с отдельными чертами орфографических систем исследуемых рукописей.

3.3. Нечеткость и непоследовательность методологии, которую можно было видеть на рассмотренных выше примерах, не позволяет И. Тоту построить убедительную картину формирования русского извода церковнославянского языка. Такая картина в принципе предполагает определение факторов, воздействовавших на формирование тех или иных элементов русской нормы: книжного и диалектного произношения, инославянских орфографических традиций и т. д. Понятно, что при путанице в выявлении черт протографа, неясности в разграничении фонетических и орфографических явлений не представляется возможным определить, как и на что воздействовал тот или иной фактор.

Еще менее убедительными представляются попытки автора установить хронологию отдельных явлений. Так, говоря об употреблении юсов, И. Тот предполагает, что древнейшими являются системы с тремя и четырьмя юсами, причем трехъюсовая орфография может быть старее четырехъюсовой, что четырехъюсовая была продуктивна в 1050—1080-е годы и что именно к 80-м годам XI в. относится ТЛ. Двухъюсовая орфография представлена Архангельским евангелием 1092 г., и на этом основании И. Тот считает, что она была продуктивной в 90-е годы XI в., и относит к этому периоду ПА[2], МД, СК[2] и РЕ[1] (с. 125—127).

В общих чертах история юсов в русской письменности достаточно ясна. Те орфографические системы, которые стоят в прямой зависимости от инославянских протографов, получают распространение в начальный период русской письменности: к ним принадлежит как четырехъюсовая, так и трехъюсовая система. Нет оснований для принципиального ограничения этих систем 70-ми или 80-ми годами XI в.— йотированные юсы исчезают с прекращением прямого влияния инославянских оригиналов, т. е. к началу XII в. Сказать точно, когда впервые появились двухъюсовые русские рукописи, мы не можем; относить продуктивность такой графики только к 90-м годам XI в. на основании одного Архангельского евангелия совершенно невозможно. Видимо, большая устойчивость ѫ — такой же излишней для русского извода графемы, как и йотированные юсы,— объясняется вхождением ѫ в стандартный алфавит, употреблявшийся при обу-

чении чтению [20]. Хотя двухъюсовые рукописи составляют меньшинство уже и для XII в., однако такую графическую систему можно наблюдать даже в Симоновской псалтыри последней четверти XIII в. (ср. еще последний почерк в Стихираре Син. 279, кон. XII в., л. 162об—168об). Поэтому из одного данного признака никакой датировки для ПА[2], МД и т. д. извлечь невозможно, так что хронологические домыслы в данном случае неуместны.

То же самое можно сказать и о предположении И. Тота, согласно которому написание рефлексов **tъrt*, **tъlt*, **tьrt*, **tьlt* с диакритикой после плавного является более древним, чем написание с ерами по обе стороны плавного (с. 279). Автор делает это предположение на основании одного недатированного памятника (ЖФ), забывая при этом о том бесспорном факте, что уже в первом датированном русском памятнике, Остромировом евангелии, имеются как те, так и другие написания [21]. Этого обстоятельства вполне достаточно, чтобы воздержаться от каких-либо гипотез о сравнительной древности.

Наивным выглядит и заключение И. Тота о том, что ни одна из обследованных им рукописей «не была написана после первой половины XII в.», поскольку в них не отразились «процессы утраты и вокализации редуцированных вместе со своеобразными последствиями их падения», впервые зафиксированные Добриловым евангелием 1164 г. (с. 282). Можно указать на целый ряд памятников конца XII — нач. XIII вв., которые по правописанию еров мало чем отличаются от рассмотренных в монографии рукописей: Добрилово евангелие отнюдь не было памятником, установившим новую норму, которой следовали все писцы, работавшие после 1164 г.

Формирование русского извода церковнославянского языка было сложным и длительным процессом, включавшим переработку инославянских норм литературного языка по целому комплексу признаков. В ходе этой переработки одни признаки закреплялись как средство противопоставления литературного и живого языка, тогда как по другим признакам литературный язык сближался с диалектным языком восточнославянского населения. Это сближение шло неравномерно по разным признакам. Так, скажем, *-mь* в окончаниях 3-го л. презенса входит в норму русского извода со времени самых первых известных нам памятников (формы на *-mъ* отмечаются лишь в Остромировом евангелии и СлПс). *Ж* на месте **dj* вытесняет *жд* существенно медленнее: в наиболее ранних памятниках *ж* встречается значительно реже, чем *жд*, в памятниках рубежа XI—XII вв. *ж* постепенно берет верх над *жд*, и лишь в начале XIII в. *жд* оказывается за пределами нормы (ср. исправления *жд* на *ж* в Богословии Иоанна Дамаскина, Син. 108), хотя отдельные формы с *жд* отмечаются и в рукописях XIII в. Еще медленнее идет замена *pѣ* на *pe* в рефлексах **tert*: и в рукописях XIII в. пропорции написаний с *pѣ* и *pe* подвержены сильной вариации.

Каждый из релевантных для формирования русского извода признаков обладает своим характером изменения. При этом в рукописях наблюдается определенная взаимозависимость разных признаков. Например, если в рукописи последовательно выдержано *pe* в рефлексах **tert*, то в ней последовательно выдержано и *ж* в рефлексах **dj*; если в рукописи *ж* в рефлексах **dj* встречается чаще, чем *жд*, в ней отсутствует *-mъ* в 3-м л. презенса. Наблюдения над подобными зависимостями разбросаны в славистической литературе (они есть и у И. Тота, см. с. 339), однако они не приведены в систему. Систематический анализ этих закономерностей является одной из актуальнейших задач истории русского литературного языка. С этой

задачей связана и другая: выявление тех факторов, которые определили тот или иной характер эволюции признака.

Вместе с тем установление указанных закономерностей должно дать нам возможность построения относительной хронологии рукописей (отдельных почерков). Будучи охарактеризована по всем релевантным для формирования русского извода признакам, рукопись должна занять определенное место в истории складывания русской нормы. Для каждой пары рукописей (почерков) мы, вообще говоря, можем сказать, что одна из них относительно старше другой. Например, почерк, в котором последовательно проведено *ж* на месте **dj*, в 70 % случаев пишется *ре* в рефлексах **tert* и т. д., будет относительно моложе почерка, в котором встречается *жд* на месте **dj*, в 40 % случаев пишется *ре* в рефлексах **tert* и т. д. [9]. Ясно, что прямого перехода от этой относительной хронологии к абсолютной нет и не может быть (хронологические гипотезы И. Тота и ряда других авторов обусловлены именно таким простым переходом), однако какая-то зависимость здесь наверняка существует. Чтобы получить возможность каких-либо обоснованных заключений в этой области, необходимо детально изучить все сохранившиеся рукописи (особенно для XI—XII вв., где число их весьма ограничено). При этом звеньями, соединяющими относительную хронологию с абсолютной, будут служить, с одной стороны, датированные рукописи, а с другой — сопоставление разных, но единовременных почерков одной рукописи (такое сопоставление показывает, какие относительно разновременные системы могут абсолютно сосуществовать). Исследования в этой области — также одна из актуальных задач истории русского литературного языка.

Монография И. Тота этих задач не ставит и не решает. Самый отбор материала предопределяет ограниченность проблем, решаемых в исследовании. Автор выбирает десять второстепенных памятников древнейшего периода, преимущественно небольших отрывков, в ряде случаев не способных дать материал для значимых статистических наблюдений. Общий объем всего рассмотренного материала — около 70 листов, т. е. менее трети обычной «целой» рукописи. Даже и при абсолютной методологической четкости на этом материале вряд ли можно хотя бы с относительной полнотой раскрыть вынесенную в заглавие тему — русская редакция древнеболгарского (т. е. церковнославянского) языка в конце XI — начале XII вв. Данная тема безусловно требует привлечения всех сохранившихся рукописей рассматриваемого периода, и прежде всего таких основополагающих памятников, как Остромирово евангелие, Изборники 1073 и 1076 гг., Слова Григория Богослова, Слова Кирилла Иерусалимского, Синайский патерик, Чудовская псалтырь, Типографские и Синодальные минеи и т. д. Это очень трудоемкая работа, но это же и единственный путь к получению значимых выводов. Заменить этот труд изучением нескольких отрывков невозможно. Между тем, работа с отрывками является, видимо, принципиальной установкой И. Тота, поскольку он оперирует с фрагментами не только в том случае, когда это все, что дошло до нас, но и тогда, когда рукопись сохранилась в более пространном виде: из 310 листов ПА выбрано 7, из 144 листов БПс (вместе с синайской частью) выбрано только 9[10].

Такой подход к изучению процессов формирования русского извода

---

[9] Конечно, в принципе могут быть и такие случаи, когда одна рукопись (почерк) «обгоняет» другую по одному признаку, но «отстает» от нее по другому. Такие пары колеблющихся признаков также должны быть предметом особого изучения: ясно, что лишь немногие признаки могут образовать такие пары.

[10] Хотя фототипическое воспроизведение всей рукописи легко доступно [22].

нельзя назвать перспективным. И по объему рассматриваемого материала, и по широте ставящихся задач исследование И. Тота стоит в стороне от той плодотворной славистической традиции, которая обозначена трудами А. И. Соболевского, В. И. Ягича, А. А. Шахматова, Н. Н. Дурново, Г. Ланта. Проблемы формирования русского извода ждут своего исследователя. Надо полагать, что он — среди прочих материалов — воспользуется и работой И. Тота. Собранные им данные (часто, видимо, с иной интерпретацией) найдут свое место в общей истории русского литературного языка. Эта история, основанная на всем дошедшем до нас богатейшем рукописном материале, должна раскрыть один из важнейших аспектов развития русской культуры в эпоху средневековья.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Шахматов А. А.* Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915.
2. *Живов В. М., Успенский Б. А.* Оппозиция рефлексов *ě и *е в книжном произношении и историческая диалектология.— В кн.: Совещание по вопросам диалектологии и истории языка: Тезисы докладов и сообщений. Т. II. М., 1984.
3. *Успенский Б. А.* Книжное произношение в России (Опыт исторического исследования): Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1971, с. 18—19.
4. *Дурново Н. Н.* Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка.— Јужнославенски филолог, 1926—1927, кн. 6.
5. *Дурново Н. Н.* Мысли и предположения о происхождении старославянского языка и славянских алфавитов.— Byzantinoslavica, 1929, Sv. 1, с. 51.
6. *Толстой Н. И.* К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян.— ВЯ, 1961, № 1.
7. *Дурново Н. Н.* Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка.— Јужнославенски филолог, 1924, кн. 4.
8. *Marti R. W.* Old Church Slavonic nasal vowels: У or VN?— New Zealand Slavonic Journal, 1984, p. 143—144.
9. *Дурново Н. Н.* Славянское правописание X—XII вв.— Slavia, 1933, roč. 12.
10. *Живов В.* Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI—XIII века.— Russian Linguistics, 1984, v. 8, № 3.
11. *Lunt H. G.* On writing the history of the language of Old Rus'.— In: Semiosis. Semiotics and the history of culture. In Honorem Georgii Lotman. Ann Arbor, 1984, p. 316.
12. *Зализняк А. А.* Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения.— В кн.: *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.). М., 1986.
13. *Успенский Б. А.* Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983, с. 38.
14. *Issatschenko A.* Geschichte der russischen Sprache. I. Bd. Von den Anfängen bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. Heidelberg, 1980, S. 130—131.
15. *Lunt H. G.* The Orthography of Eleventh Century Russian Manuscripts. University microfilms. Ann Arbor, 1949.
16. *Успенский Б. А.* Древнерусские кондакари как фонетический источник.— В кн.: Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г.: Доклады советской делегации. М., 1973, с. 330—332.
17. *Щепкин В. Н.* Рассуждение о языке Саввиной книги. СПб., 1899, с. 289.
18. *Дурново Н. Н.* Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка.— Јужнославенски филолог, 1925—1926, кн. 5, с. 111.
19. *Колесов В. В.* Историческая фонетика русского языка. М., 1980, с. 41.
20. *Янин В. Л.* Новгород. Берестяные грамоты № 540—614.— В кн.: *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.). М., 1986, с. 53.
21. *Козловский М.* Исследование о языке Остромирова Евангелия.— В кн.: Исследования по русскому языку. Т. 1. СПб., 1885—1895, с. 110—111.
22. An Early Slavonic Psalter from Rus'. V. I: Photoreproduction. Ed. by Altbauer M. with the collaboration of Lunt H. G. Cambridge, 1978.

Замечу, что, рассматривая лишь фрагмент этой рукописи, И. Тот высказывает странное предположение, что она является памятником «скорее южного, нежели северного происхождения» (с. 49). Поскольку в синайской части отражается цоканье, такое предположение нуждается в каком-то особом обосновании.

Я бы считал вместе с тем, что лишь при стремлении к полному охвату рукописей XI в. (и лишь с оговорками) в корпус исследуемых текстов можно вводить СлПс, дошедшую до нас в копии, которую трудно считать достоверной во всех деталях.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1987

ТОПУРИА Г. В.

ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ СКЛОНЕНИЯ В ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКАХ

В дагестанских языках функционируют системы склонения, отличающиеся друг от друга принципами его организации, средствами образования и семантикой падежей.

Особенно бросается в глаза большое число формантов, выражающих значение (функцию) того или иного падежа (эргативного, родительного). Привлекает также внимание чрезвычайно разнородный по структуре и составу морфологический инвентарь падежей, создающий особое многообразие склонения в дагестанских языках. Посредством этих формантов (суффиксов) формируются самые различные системы склонения, разнящиеся и в морфологическом и в семантическом отношениях. Необходимо учитывать и широкую вариативность падежных форм и суффиксов (образователей этих падежных форм), порождаемую фонетическими процессами, которые активно влияют на характер склонения и порой приводят к существенным, а в ряде случаев и к коренным преобразованиям первичной, исходной системы склонения. Последствия фонетических изменений нередко ставят исследователя в тупик, анализ таких систем осложняется, и механизм склонения с трудом поддается осмыслению. Наряду с трудностями фонетического и морфологического порядка имеются неясности и в синтаксисе: функции падежей требуют дополнительного изучения. В первую очередь это касается природы так называемого совмещающего эргатива, его взаимосвязи с другими падежами и вообще места эргатива в системе склонения. Существенное значение в этом плане, видимо, приобретает вопрос о взаимоотношении эргативного и родительного падежей — вопрос, которому до настоящего времени уделяется недостаточное внимание.

Следует отметить, что данное многообразие систем склонения и изобилие формантов не впечатление, полученное на основе анализа дагестанских языков в целом, а реальный языковой факт, в той или иной степени характерный для каждого отдельно взятого языка. Вместе с тем выясняется, что в пределах одного и того же языка и сегодня могут сосуществовать системы склонения разной формации, — это системы, содержащие форманты, разные по своему количеству, фонетическому составу и структуре и относящиеся к различным хронологическим уровням.

Отметим здесь же, что разные системы склонения, их модели не распределены по разным языкам и языки не противопоставляются друг другу с этой точки зрения [1], что, естественно, создает дополнительные трудности при анализе систем склонения.

---

[1] В этом отношении более ясную картину показывает спряжение глагола, где выделяют три основных типа: 1) классное, 2) классно-личное, 3) личное спряжение. Особое место занимает тип спряжения, в котором не выражены ни класс, ни лицо [1]. Эти типы спряжения более строго распределены по языкам, чем типы склонения.

В настоящем исследовании, разумеется, нет возможности учесть все частные случаи склонения, все морфологические и фонетические отклонения в этих системах. Предпринята, однако, попытка выделить в наблюдаемом разнообразии наиболее характерные для дагестанских языков модели, типы склонения, дающие определенное представление об общем характере склонения.

Представленная ниже классификация систем склонения основана на результатах синхронного анализа парадигм склонения имен существительных в ед. числе. В основном те же системы (при некотором отличии) повторяются и в склонении прилагательных и числительных при бо́льшем своеобразии склонения местоимений 1-го и 2-го лица. Строго ограничен и языковый ареал — дагестанские языки.

Эти ограничения необходимы, поскольку приходится иметь дело с большим, богатым и своеобразным материалом. При анализе склонения имя существительное — это тот базис, который дает возможность правильной ориентации в столь разнообразном и пестром материале. Такой путь призван облегчить определение места в общей системе склонения дагестанских языков всех архаизмов, инноваций, особенностей, выявленных при склонении как самих имен существительных, так и других частей речи.

Специалистам хорошо известно, что в дагестанских языках выделяются два основных типа склонения: одноосно́вное и двуосно́вное. Одноосновное склонение,несмотря на своеобразные организацию, построение систем склонения, является все-таки более однородным по сравнению со склонением с двумя основами. Принцип склонения здесь один: все основные падежи (эргатив, генитив, датив) являются самостоятельными морфологическими единицами, и показатель каждого падежа непосредственно присоединяется к чистой именной основе (которую терминологически обычно отождествляют с абсолютивом или номинативом).

Особо большое многообразие и своеобразие наблюдаются при построении систем склонения по принципу двух основ [2]. Данная работа ставит целью выяснить сущность двуосновного склонения, показать, по каким принципам оно строится, выявить все его разновидности, установить взаимоотношения между ними и дать их классификацию.

Представленная ниже классификация деклинационных двуосновных систем носит морфолого-семантический характер и опирается на взаимоотношение эргатива и генитива, с одной стороны, и учитывает отношение указанных падежей к номинативу (resp. абсолютиву, точнее, к чистой основе) [3], с другой. В этих взаимоотношениях специфическую роль играет и твор. падеж, являющийся в большинстве случаев «совмещенным», не имеющим своего собственного морфологического выражения (исключение составляют дидойские языки.)

Что же касается дат. падежа, то он в дагестанских языках, в отличие от картвельского датива, в выражении субъектно-объектных синтаксических отношений, как правило, никакой роли не играет (за исключением глаголов класса verba sentiendi). Не характерны для датива и морфолого-семантические взаимоотношения, присущие эргативу и генитиву (а также инструменталису), ему чуждо и совмещение функций эргатива (или генитива), и поэтому датив здесь не рассматривается.

---

[2] Понятие «принцип двух основ» в научный обиход введено А. С. Чикобава [2, с. 56—57].

[3] По своей сути это то же самое, что и Casus Indefinitus [3]. Ссылка дается по К. Х. Шмидту [4].

С синхронической точки зрения в дагестанских языках выделяются в основном три типа склонения с двумя основами: I. «Диффузное» склонение, II. Отэргативное или оттенитивное двуосновное склонение, III. Склонение со «вставками».

В склонении I типа эрг. и род. (а также твор.) падежи не дифференцированы (и поэтому такое склонение условно именуется «диффузным»). Все падежные функции сосредоточены в одной маркированной именной форме, которая противопоставляется чистой основе и по своей природе является, так сказать, полифункциональной [4]. Этот тип склонения наиболее ярко представлен в одной группе имен существительных лакского языка, где имеется общая эргативно-генитивно-творительная форма, признаком которой является суф. *-l* с предшествующими гласными (*-al*, *-ul*, *-il*). При основах с гласными в ауслауте вокальный компонент суффикса утерян:

Им.	*örč*	«мальчик»	*hivč*	«яблоко»	*čiṭu* «ласточка»
Эрг./род.	*örč-al*		*hivč-ul*		*čiṭu-l*
Дат.	*örč-an*		*hivč-un*		*čiṭu-n* [5].

Аналогичная модель склонения как одна из возможных параллельных систем именного формообразования засвидетельствована и в удийском и цахурском языках.

II тип. В системах склонения второго типа выделяется также вторая, производная, маркированная специальными суффиксами форма, которая находится в такой же морфологической оппозиции к чистой основе, как и в первом типе, но с той разницей, что здесь производная форма уже служит базисом для падежного формообразования — в разных системах она получает значение то эрг., то род. падежа. Соответственно выделяются две подсистемы склонения II типа: склонение, основанное на форме эргатива (отэргативное двуосновное склонение, типа II_1), и склонение, основанное на форме генитива (оттенитивное двуосновное склонение, типа II_2).

1. Отэргативное двуосновное склонение. В подобных системах склонения морфологически (поэтому и функционально) от второй, маркированной формы специальными суффиксами выделена форма родительного падежа, в то время как эргатив остается немаркированным. По отношению к генитиву он представлен нулевой морфемой, хотя по сравнению с чистой основой имеет все-таки свой показатель. Иначе говоря, в таких случаях оказывается, что эргатив одновременно и маркирован и не маркирован, в зависимости от того, с какой формой он сопоставляется: по отношению к чистой основе эргатив всегда маркирован (является формой первичного маркирования) — этим он и противопоставляется ей, а при сравнении с род. падежом выясняется, что эргатив не маркирован — не имеет своего собственного показателя. И именно эту маркированную производную форму со значением эргатива в научной литературе совершенно справедливо приравнивают к косвенной основе [6, 7, с. 214—216; 8, с. 27, 40—44].

Таким образом, в этих системах производные формы и форма эргатива оказываются полностью идентичными. Это и создает впечатление

[4] Следует заметить, что о полифункциональности той или иной морфологической единицы или о функциональной совмещаемости двух форм (падежей) можно говорить только условно при сопоставлении (сравнении) материалов разных языков. Для отдельно взятого языка (например, аварского) проблемы полифункциональности или совмещаемости не существует. Это лишь проблема, привнесенная лингвистом извне, с позиции другого языка. И при анализе систем склонения, разумеется, всегда надо учитывать это обстоятельство.

(а с точки зрения описательной грамматики так оно и есть), что все члены парадигмы склонения опираются на форму эргатива. Отсюда и термин — отэргативное двуосновное склонение.

В зависимости от структуры показателя эргатива выделяются несколько разновидностей названной подсистемы склонения: в основном используются суффиксы структур *-V*, *-C*, *-VC*, *-CV*, *-VCV*, с разной частотой функционирования в том или ином языке. Наиболее характерна отэргативная двуосновность для таких лезгинских и дидойских языков, как лезгинский, табасаранский, агульский, арчинский, дидойский, капучинский, хваршийский. Не чужда она и другим языкам, например, аварскому.

Детальное описание этих систем и выявление полной картины, установление правил дистрибуции формантов сейчас не входит в нашу задачу. Ограничимся лишь несколькими примерами, дающими общее представление об этой системе склонения:

Лезгинский

Им.	*wax* «сестра»	*γil* «рука»	*buba* «отец»	*gum* «дым»	*beš* «лист»
Эрг.	*wax-a*	*γil-i*	*buba-di*	*gum-adi*	*beš-ini*
Род.	*wax-a-n*	*γil-i-n*	*buba-di-n*	*gum-adi-n*	*beš-ini-n*
Дат.	*wax-a-z*	*γil-i-z*	*buba-di-z*	*gum-adi-z*	*beš-ini-z*

	Хваршийский		Капучинский	
Им.	*buc* «месяц»	*aqo* «женщина»	*kid* «дочь»	
Эрг.	*buc-u*	*aq-a*	*kid-ba*	
Род.	*buc-u-s*	*aq-a-s*	*kid-ba-s*	
Дат.	***buc-u-l***	***aq-a-l***	***kid-ba-l***	

	Южноаварский		Аварский	
Им.	*kver* «рука»	*vacₐ* «брат»	*jacₐ* «сестра»	
Эрг.	*kver-d*	*vacₐ-asₐ*	*jacₐ-alₐ'*	
Род.	*kver-d-ul*	*vacₐ-asₐ-ul*	*jacₐ-alₐ'-ul*	
Дат.	*kver-d-uje*	*vacₐ-asₐ-e*	*jacₐ-alₐ'-e*	

2. Отгенитивное двуосновное склонение. По сравнению с отэргативным склонением здесь выявляется обратное, противоположное взаимоотношение эргатива и генитива: в этих системах присоединяемый к косвенной основе суффикс передает уже значение эргатива (а не генитива), а нулевой морфемой представлен уже генитив (а не эргатив), т. е. и здесь косвенная основа и форма род. падежа совпадают, как и косвенная основа и эргатив в предыдущей подсистеме склонения. Следовательно, все, что было сказано выше об эргативе, полностью может быть отнесено к генитиву, и понятно, почему в таких случаях имеется полная общность косвенной основы и формы род.падежа. Это и находит свое отражение в термине — отгенитивное двуосновное склонение.

В построении систем этого вида склонения в основном участвуют форманты той же структуры и состава, что и в системе отэргативного склонения.

Подобная система наиболее характерна для крызского языка [9], но встречается и в удийском, будухском, а также хиналугском [5]. Несколько

[5] Система склонения хиналугского языка описывается по-разному: одни исследователи считают, что эргатив образуется посредством суф. *-i(j)* [10], а другие и в эргативе и генитиве в качестве форманта выделяют только *-i* [11]. Такая будто незначительная разница в констатации языковых фактов приводит к типовым различиям в склонении: в первом случае (*-ij*) дело имеем с II_2 типом склонения, а во втором — с I.

примеров:

Крызский

Им.	*kādər* «кастрюля»	*rix* «дорога»	*viraγ* «солнце»	*qəaz* «гусь»	*tur* «сеть»
Род.	*kādər-ä*	*rix-i*	*viraγ-ǯi*	*qəaz-əla*	*tur-ərdə*
Эрг.	*kādər-ä-r*	*rix-i-r*	*viraγ-ǯi-r*	*qəaz-əla-r*	*tur-ərdə-r*
Дат.	*kādər-ä-s*	*rix-i-s*	*viraγ-ǯi-s*	*qəaz-əla-s*	*tur-ərdə-s*

III тип. Широко распространены системы склонения, о которых можно сказать, что это склонение с двумя основами, но не ясно, что из себя представляет вторая основа, какого она происхождения и какая форма лежит в основе склонения. Как эргатив, так и генитив являются здесь самостоятельными падежами и ни один из них, в отличие от систем II типа склонения, не служит основой для образования другого. После усечения чисто падежных формантов остается такая морфологическая единица, которая также противопоставляется чистой основе, но ни с морфологической, ни с функциональной точек зрения ни к какой падежной форме она не приравнивается. Это и есть склонение, известное в научной литературе как склонение со «вставками», «вставочными элементами» [6]. Название обусловлено тем, что в таких системах склонения между именной основой и падежным окончанием появляется (вставляется) такой элемент (сегмент), который в синхронном плане не относится к основе [7], но и не является показателем какого-либо одного падежа, повторяясь во всех падежных формах. Для обозначения данного морфологического элемента используются и другие названия: «детерминант основы», «распространитель основы», в зависимости от того, какое назначение элемента усматривает исследователь. Более употребителен из этих двух термин «распространитель».

Систему склонения III типа с той или иной частотой можно обнаружить во всех подгруппах дагестанских языков, но наиболее характерны они для лакского и аварско-андийско-дидойских языков. В структурном отношении соединение «вставки» и падежного показателя, естественно, создает более сложные форманты, чем отдельно взятый суффикс эргатива или генитива. В таких случаях падежный маркер имеет следующие основные структуры:-CVC, -VCVC -CVCV, -VCVCV, -CCVC, -VCCVC, -CVCVC.

	Южноаварский	Лакский	Гунзибский
Им.	*kver* «рука»	*duš* «дочь»	*kaγar* «бумага»
Эрг.	*kver-du-d*	*duš-ni-l*	*kaγar-bo-l*
Род.	*kver-du-l*	*duš-ni-l*	*kaγar-bo-s*

	Ахвахский	Ботлихский	Гинухский
Им.	*mešu* «нож»	*anzi* «снег»	*ṭoq* «нож»
Эрг.	*mešu-na-de*	*anzi-la-di*	*ṭoq-ru-j*
Род.	*mešu-na-l'e*	*anzi-la-l'i*	*ṭoq-ru-s*

---

[6] О природе «вставок» см. [12, 13; 14, с. 57—60, 141—144; 15—17].

[7] Для специалистов не ново что при некоторых именах «вставочный» элемент (гласный, согласный, комплекс) в историческом плане может оказаться усеченной частью основы, восстанавливаемой в какой-либо падежной форме (обычно эргативного или родительного). Подобные древние элементы выявляются лишь путем специального диахронического анализа. Однако, по правильному замечанию А. С. Чикобава [18, с. 110—111], в языке всегда остается определенное число примеров, в которых едва ли возможно квалифицировать эти элементы как принадлежность основы (например, в заимствованных словах). В таких случаях, естественно, должна меняться морфологическая характеристика той или иной парадигмы склонения.

	Каратинский		Гинухский		Рутульский	
Им.	*anča*	«камень»	*ʿaqıl*	«женщина»	*dan*	«зерно»
Эрг.	*anč-ıla-l*		*ʿaqıl-la-ɟ*		*dan-əl-ər*	
Род.	*anč-ıla-l'*		*ʿaqıl-la-s*		*dan-əl-u*	

	Будухский		Лакский			
Им.	*lem*	«осел»	*nik*	«колено»	*žira*	«бедро»
Эрг.	*lem-əld-ər*		*nik-ur-al*		*žir-tʒura-l*	
Род.	*lem-əld-u/a*		*nik-ur-al*		*žır-tʒura-l* [8].	

Понятно, что предлагаемая классификация базируется на «идеальных», регулярно построенных системах склонения. Представленные парадигмы не нуждаются в каких-либо «поправках», не требуют никаких реконструкций. Системы прозрачны и ясны. Но специалистам хорошо известно, что в дагестанских языках функционируют и такие системы, которые не укладываются в рамки моделей, парадигм, предусмотренных данной группировкой, и остаются вне этой классификации. При общей классификации, разумеется, невозможно учесть все фонетические и морфологические варианты двуосновных систем склонения, но во всех частных случаях специальный анализ призван выяснить характер и природу отклонений от нормы и тем самым определить место этих своеобразных, видоизмененных систем в данной классификации [9].

Таковы коротко основные результаты описательного анализа двуосновных систем с точки зрения правил организации склонения. Прежде чем перейти к диахронической интерпретации этих систем, нужно сказать несколько слов по поводу одного терминологического вопроса.

В иберийско-кавказском языкознании широко используются термины «косвенная основа», «косвенный падеж», но в научной литературе уже ставится вопрос о том, что «понятия „прямой падеж", „косвенный падеж", перенесенные из морфологии древнегреческого языка в синтаксис индоевропейских языков, вряд ли могут служить критерием для квалификации падежей в иберийско-кавказских языках» [20]. Несоответствие обусловлено тем, что под понятие косвенного падежа попадает и эргатив, падеж реального субъекта при переходных глаголах, который по своей природе является именно прямым падежом, а не косвенным: считают, что эрг. (повествовательный) падеж исторически является «первым именительным» [2, с. 48; 21]. Видимо, в принципе то же самое можно сказать и о «косвенной» основе, ибо, как будет показано ниже, морфологическая форма, именуемая «косвенной» основой, в историческом плане является грамматической формой выражения того же реального субъекта, который обозначается термином «эргатив», но отличается от него в хронологическом отношении. Чтобы разграничить эргатив двух уровней, нами вводится новый термин палеоэргатив, который одновременно указывает на древность формы и на его функцию — выражение реального субъекта. Понятие древнего эргатива уже было использовано в научной литературе [18, с. 98, 106], но термин «палео-

[8] Образцы парадигм склонения здесь и выше заимствованы из работ Е. А. Бокарева, Т. Е. Гудава, Г. Х. Ибрагимова, Э. А. Ломтадзе, З. М. Магомедбековой, У. А. Мейлановой, Г. Б. Муркелинского, А. С. Чикобава.

[9] Так, например, если следовать традиционному анализу одного типа склонения в даргинском языке, то окажется, что для этой модели вообще нет места в предложенной классификации, поскольку и по сей день считается, что принцип двуосновности в этих парадигмах нарушен (вернее, не выдерживается до конца). Однако и в этих случаях действует принцип двух основ, соответствующий III типу склонения: *biç* «волк» — эрг. *biç-l-i*, род. *biç-l-a*, дат. *biç-l-ij* [19].

эргатив» имеет то преимущество, что он более удобен в плане словопроизводства: «палеоэргативная основа», «палеоэргативный уровень в склонении» и т. д. Традиционный же термин «косвенная» основа оставляем как один из возможных синонимов.

Нужно сказать несколько слов и о морфологическом инвентаре, который формирует систему двуосновного склонения, передает различные функциональные взаимоотношения падежей. Выявлены форманты эргатива следующих структур: -V, -C, -VC, -CV, -VCV, -CVC, -VCVC, -CVCV, -VCVCV, -CCVC, -VCCVC, -CVCVC — всего 12 структур. По существу они повторяются и в формантах род. падежа. Установлено, что в образовании формантов обоих падежей используются элементы *d*, *r*, *l*, *n*, *j*, *b* (не говоря уже о других фонетических вариантах — *ṭ*, *ǯ*, *z*, *m*...), а в аварско-андийско-дидойских языках наличествуют и форманты несколько иного характера: *-asₐ*, *-alₐ*, *-cₐa*; *-šᵊ-(-sₐ-)*, *-lₐ-*; *-lₐ/-l'/-l'*; *-s*. Все эти суффиксальные элементы в сочетании со всеми гласными и путем взаимного комбинирования порождают удивительное множество формантов — столь необычное и непривычное для агглютинативных языков. Те или иные вокальные и консонантные элементы и их сочетания в разных языках, конечно, встречаются с неодинаковой частотой и вероятностью. В том или ином языке всегда действуют какие-либо ограничения, запреты, распространяемые на отдельные форманты, составные компоненты суффиксов (гласные, согласные) и их комбинации, и не всегда их можно подвести под какое-либо правило, к определенной закономерности. Несмотря на эти трудности, совершенно очевидно, что наблюдаемое многообразие формантов не может быть изначальным — слишком велика амплитуда различий в строении формантов: от -V, -C до, скажем, -CVCVC. Не имея возможности здесь коснуться всех вопросов структурного анализа падежного инвентаря, предлагаем правило (проверенное на всех типах двуосновного склонения), которое призвано навести хотя бы частичный порядок в этом кажущемся формантном хаосе: во всех двуосновных системах склонения в эргативе и генитиве выделяются суффиксы до первого согласного от начала форманта (включая согласный), которые в историческом плане являются образователями палеоэргативной («косвенной») основы, а не показателями падежей. Эти суффиксы, первоначально имевшие структуру -VC (в ряде случаев упрощаясь в структуру -V или -C), функционируют самостоятельно или же входят в состав более сложных формантов.

Такая постановка вопроса приводит к выводу (правомерность которого можно проиллюстрировать фактами всех дагестанских языков), что во всех таких системах следует выделить производные формы, образованные формантами структуры VC (>-V, -C), которые по своей природе и есть традиционные „косвенные" основы, фигурирующие во всех трех типах склонения. Однако особое внимание следует обратить на то, что в современных системах склонения эта вторичная, производная морфологическая единица используется в различных падежных значениях: в склонении I типа одновременно выражает семантику эргатива, генитива, инструменталиса. Это и есть полифункциональная форма, отражающая палеоэргативный уровень в склонении; во II типе аналогичная форма передает функцию или эргатива или генитива (функция творительности в обоих подсистемах этого типа склонения совмещена с эргативом). В III типе данная форма не имеет конкретного падежного значения и потому кажется образованной элементами («вставками»), не имеющими функции с точки зрения описательного анализа.

Таким образом, во всех системах склонения выделяются производные именные формы, имеющие различную функциональную нагрузку, и эти различные семантические возможности в разных языках реализуются по-разному. Поэтому их и следует рассматривать как полифункциональные морфологические единицы, способные выражать (совмещать) семантику разных падежей. На наш взгляд, это и есть та вторичная, маркированная основа, которая в историческом плане противопоставлялась (а в некоторых системах противопоставляется и сегодня) чистой, немаркированной основе. Анализ двуосновных систем склонения приводит к заключению, что на подобной производной форме и базируется склонение в целом: первоначальная, исходная двухступенчатая, двуосновная система — бинарная оппозиция двух именных форм (немаркированная — маркированная) — и является тем фундаментом, на который опирается склонение с двумя основами и вообще склонение в дагестанских языках [10].

Все сказанное выше в диахроническом аспекте означает, что любую систему II и III типа склонения можно свести к одной общей модели I («диффузного») типа склонения. Этот первоначальный вид именного формообразования наиболее ярко выражен, как уже было показано, в лакском языке, где двучленное противопоставление в ряде случаев строго выдерживается и по сей день: *hivč* «яблоко» — *hivč-ul* «яблоко» (эрг.), «яблока» (генит.), «яблоком» (твор.). Однако этот уровень в именной морфологии, видимо, все еще не есть склонение, хотя здесь и следует искать его истоки. Склонение возникает тогда, когда подобная многозначная именная форма превращается в основу, на которую впоследствии опирается склонение, т. е. из этой семантически недифференцированной формы выделяется какое-либо падежное значение с соответствующим морфологическим обозначением. Такие зачатки склонения выявляются в удийском и цахурском языках, где, с одной стороны, имеется модель склонения чисто лакского типа, а с другой стороны, функционирует система склонения (как одна из параллельных), дающая возможность проследить сам процесс склонения — уяснить механизм его формирования, выявить принцип организации, показать, как происходит семантическое расщепление полифункциональной именной формы и как данная форма становится «косвенной» (палеоэргативной) основой, от которой в качестве самостоятельной морфологической единицы впоследствии вычленяется какая-либо падежная функция путем дополнительного, повторного маркирования этой «косвенной» основы. Прежде всего это относится к генитиву и эргативу, их взаимоотношению. А в этих отношениях наблюдается следующая закономерность. Если в результате повторного маркирования палеоэргативной основы выделена форма эргатива, то «косвенная» основа автоматически приобретает значение род. падежа, и наоборот — при морфологическом обозначении род. падежа «косвенная» основа становится формой эргатива.

Правило хорошо иллюстрируется примерами из близкородственных удийского и цахурского языков.

---

[10] В этом свете заслуживает внимания схема протокартвельской системы склонения, предложенная К. Х. Шмидтом [22, 23]. Принципиально иную систему для общедагестанского языка предполагает Б. К. Гигинейшвили [24].

	Удийский				Цахурский	
Им.	*tur*	«нога»	ср.	*mu$_{ə}$.qaə* «рог»	*o*	«дрова»
Эрг.	*tur-in*			*mu$_{ə}$.q-in-en*	*os-an*	
Род.	*tur-in*			*mu$_{ə}$.q-in*	*os-an//os-an-a/i*[11].	

Следовательно, морфолого-семантическое дифференцирование эргатива и генитива — процесс одновременный. Вместе с тем ясно, что именно такой эргатив и такой генитив являются падежными формами, если можно так выразиться, второго поколения, противопоставляясь палеоэргативной основе в морфологическом и семантическом смысле.

Здесь нужно признать, что все еще открытым остается вопрос, какой язык какому типу склонения отдает предпочтение. Единственное, что можно с уверенностью констатировать, это то, что отэргативное склонение, по сравнению с отгенитивным, имеет более широкий ареал распространения, а отгенитивное склонение характерно только для лезгинских языков, преимущественно для шахдагской подгруппы.

Думается, что процесс разграничения эрг. и род. падежей, выявленный на материале удийского и цахурского языков, должен был быть общим для ряда других дагестанских языков (но не всех) [12], хотя нельзя сказать, что аналогичные системы склонения, столь ярко выражающие взаимосвязь обоих падежей, имеют широкое распространение. Скорее, наоборот — они носят пережиточный характер. Более новые системы наличествуют в III типе склонения. Здесь свой собственный маркер имеют уже и эргатив и генитив (другой вопрос, каковы структура и природа этих формантов), а «косвенная» основа, как бы освободившись от всех падежных значений, становится формой, не имеющей с точки зрения синхронии никакой функциональной нагрузки.

Подытоживая результаты синхронного и диахронического анализа двуосновных систем склонения, следует сказать, что во всех описанных системах выделяется морфологически оформленная, производная форма, которая на раннем этапе развития (вернее, при зарождении) склонения функционировала самостоятельно и противопоставлялась чистой основе, создавая бинарную оппозицию. В семантическом отношении данная производная форма по своей природе была полифункциональной, т. е. не являлась ни «эргативом», ни «генитивом» и ни «инструменталисом», а представляла собой нечто единое, объединяющее все синтаксические функции в одной морфологической единице. Полифункциональность же проявлялась в том, что она имела потенциальную возможность либо превратиться в один из названных падежей, либо оставаться без семантических изменений, совмещая в себе функции всех этих падежей [27].

Естественно, напрашивается вопрос: что из себя представляет данная маркированная форма в синтаксическом, функциональном отношении? С какой целью она создана в языке? Ответ однозначен: палеоэргативная основа является формой выражения реального субъекта в имени — его грамматического класса.

Из истории дагестанских, да и горских иберийско-кавказских языков в целом хорошо известно, что при первоначальном, исходном классном

---

[11] [25; 26, с. 240, 242]. В отличие от нас, Е. Ф. Джейранишвили предполагает, что совпадение форм эрг. и род. падежей в удийском и цахурском языках носит случайный, вторичный характер и является результатом утери собственного показателя генитива [26, с. 280—283].

[12] В южноаварском, андийских и некоторых дидойских языках более или менее прослеживается и несколько иной характер взаимоотношения эрг. и род. падежей.

спряжении в переходных глаголах морфологически выражался только прямой объект (его грамматический класс), а реальный субъект — (деятель, агенс) на раннем этапе развития языков нигде не фигурировал, т. е. морфологически не был маркирован.

Впоследствии усиление синтаксической роли (и соответственно морфологических «прав») субъекта транзитивного глагола привело к необходимости морфологического маркирования наряду с объектом и субъекта. Следует подчеркнуть, что речь идет о субъекте именно транзитивного (в историческом плане динамического) глагола, ибо субъект интранзитивного глагола не маркирован и по сей день — он представлен в виде чистой, неоформленной (немаркированной) основы, в так называемом абсолютном падеже.

Для выражения реального субъекта иберийско-кавказские языки избрали два принципиально различных пути, которые в конечном итоге ведут к одной цели:

1) в абхазском и абазинском языках обозначение субъекта (вместе с объектом) взял на себя опять-таки глагол — в результате чего появились два ряда морфологических элементов: Д и Л [28, 29], передающие субъектно-объектные отношения и при отсутствии склонения;

2) в большинстве других нахских и дагестанских языков центр тяжести переместился на имя: была выработана новая, специально маркированная форма, которая, указывая уже на класс реального субъекта в имени (а не объекта и не в глаголе), противопоставлялась чистой, неоформленной основе, вследствие чего и была образована указанная первоначальная двухступенчатая система. Эта морфологическая инновация и положила начало формированию склонения, что в дальнейшем повлекло за собой большие структурные сдвиги в грамматической системе дагестанских языков, о чем ясно свидетельствует представленная выше картина склонения.

Несколько слов о грамматических классах в склонении. Данная система реально функционирует и по сей день в некоторых дагестанских языках — в цахурском, рутульском (во мн. числе), арчинском, аварском, андийских. Имеются и пережиточные свидетельства былого классного склонения (например, в лезгинском). Кроме того, основной массив падежных формантов и образователей «косвенных» основ составляют элементы *d*, *r*, *l*, *n*, *j*, *b* и их фонетические варианты, которые являются обычными, живыми, ныне действующими экспонентами грамматических классов во многих дагестанских языках. Обращает на себя внимание и то, что классное значение в склонении приобретают и такие элементы, которые по происхождению не связаны с грамматическими классами, — факт, сам по себе заслуживающий внимания с общелингвистической точки зрения. Таковы: суффиксы эргатива -(*a*)$s_ə$ (I кл.), -(*a*)$l^{ʿ}_ə$(II кл.),-$c_ə a$ (III кл.)— в аварском; те же элементы -$š_ə$-(-$s_ə$-), -$l^{ʿ}_ə$-, но уже в роли «вставок» — в андийских языках (с той же дистрибуцией, что и в аварском); суффиксальные элементы род. падежа — -$l^{ʿ}_ə$/-$l^{ʿ}$/-l' — в андийских языках (при именах класса вещей) и -*s* — в дидойских языках (всех классов). Все это, несомненно, говорит о том, что категория грамматических классов была характерна для склонения всех дагестанских языков в прошлом [13]. Учитывая это обстоятельство, форманты, содержащие элементы *d*, *r*, *l*. . ., следует расценивать как наиболее древний слой в падежном формообра-

[13] Укажем на несколько работ по истории грамматических классов с различными подходами к данной категории [30—34; 7, с. 265—268] и др.

зовании, а суффиксы другого ряда (*-as*$_{э}$, *-al*$_{э}^{i}$...) — как морфемы сравнительно новой формации. Поэтому форманты этих двух рядов необходимо строго разграничить при анализе систем склонения.

Теперь, конечно, мы не можем установить первоначальную систему классной оппозиции в склонении. Могут быть разные толкования: исходя, например, из минимальной, двучленной оппозиции, можно считать, что в эрг. падеже наличествовали два показателя класса: один для обозначения субъекта класса личности (кто?), а другой — для класса вещей (что?). Не исключено, что морфология имени могла в склонении отразить результаты последующей дифференциации (детализации) системы грамматических классов.

На фоне двухклассного эргатива особую значимость приобретает вопрос о взаимоотношении эргатива и инструменталиса. При так называемом «совмещающем» (resp.бифункциональном) эргативе функция твор. падежа выявляется лишь при именах класса вещей. Установлено, что последующее выделение твор. падежа как самостоятельной морфологической единицы в ряде языков происходит на основе реинтерпретации функции бывшего показателя эргатива (точнее, палеоэргатива, — с нашей точки зрения), именно класса вещей, как это имело место в дидойских языках [35—37; 14, с. 134—140]. Следовательно, в историческом плане инструменталис бифункционального эргатива не что иное, как тот же эргатив, но только для имен класса вещей.

В заключение предлагаем общую схему формирования и развития склонения в ряде дагестанских языков:

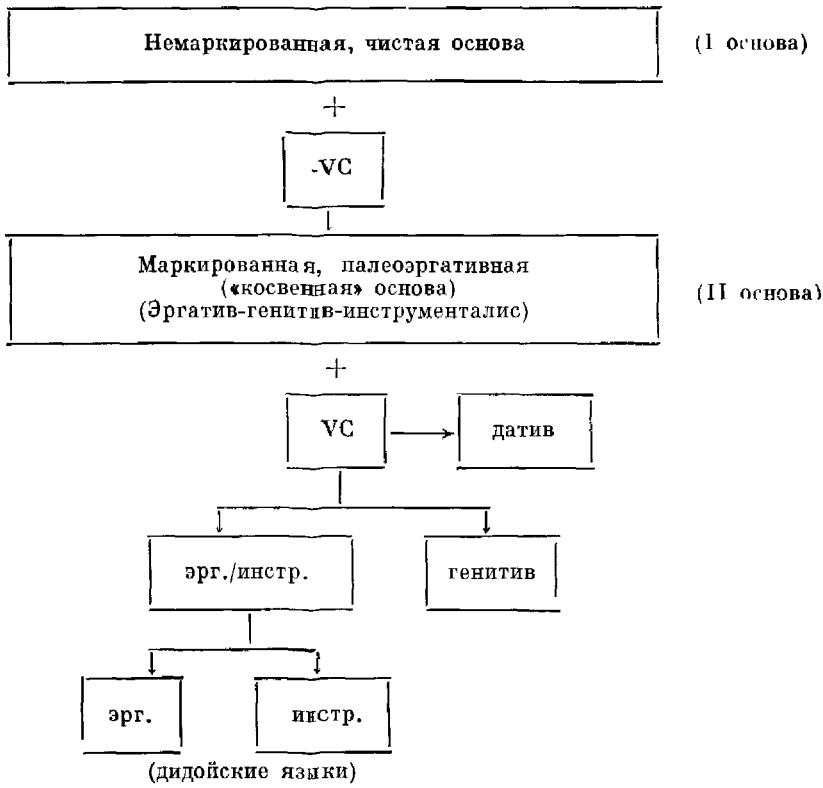


Схема [14] указывает на то, что магистральная линия развития склонения ведет к осложнению, т. е. из единого «падежа» с определенной морфологической характеристикой (палеоэргатива) постепенно вычленяется та или иная функция реального субъекта с соответствующим морфологическим эквивалентом, превращаясь в известной последовательности в самостоятельный падеж, в том числе и в эргатив.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Чикобава А. С.* Основные типа спряжения глаголов и их исторические взаимоотношения в иберийско-кавказских языках.— В кн.: XXV Международный конгресс востоковедов: Доклады делегации СССР. М., 1960.
2. *Чикобава А. С.* Один вариант сванского эргативного падежа в связи с принципом «двух основ» в склонении имен некоторых кавказских языков.— Тр. Тбилисского гос. ун-та, 1941, т. XVIII (на груз. яз.).
3. *Bohtlingk O.* Über die Sprache der Jakuten. The Hague, 1964.
4. *Schmidt K. H.* Kaukasische Typologie als Hilfmittel für die Rekonstruktion des Vorindogermanischen. Innsbruck, 1983, S. 12—16.
5. *Муркелинский Г. Б.* Грамматика лакского языка. I. Морфология. Махачкала, 1971, с. 90—91.
6. *Бокарев Е. А.* Цезские (дидойские) языки Дагестана. М., 1959, с. 85, 153.
7. *Климов Г. А., Алексеев М. Е.* Типология кавказских языков. М., 1980.
8. *Алексеев М. Е.* Вопросы сравнительно-исторической грамматики лезгинских языков. М., 1985.
9. *Саадиев Ш. М.* Склонение имен существительных в крызском языке.— В кн.: Вопросы изучения иберийско-кавказских языков. М., 1961.
10. *Дешериев Ю. Д.* Хиналугский язык. М., 1959, с. 23, 29—31.
11. *Кибрик А. Е., Кодзасов С. В., Оловянникова И. П.* Фрагменты хиналугского языка. М., 1972, с. 49—54.
12. *Жирков Л. И.* Лакский язык. М., 1955, с. 28—30.
13. *Чикобава А. С., Церцвадзе И. И.* Аварский язык. Тбилиси, 1962, с. 119—124 (на груз. яз.).
14. *Имнайшвили Д. С.* Дидойский язык в сравнении с гинухским и хваршийским языками. Тбилиси, 1963.
15. *Ломтадзе Э. А.* Гинухский диалект дидойского языка. Тбилиси, 1963, с. 108—109.
16. *Бурчуладзе Г. Т.* Склонение имен существительных в лакском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Тбилиси, 1970, с. 3—15.
17. *Талибов Б. Б.* Морфологическая и синтаксическая характеристика падежей цахурского языка.— В кн.: Именное склонение в дагестанских языках. Махачкала, 1979, с. 5—6.
18. *Чикобава А. С.* К истории образования эргатива в аварском языке.— ИКЯ, 1948, II (на груз. яз.).
19. *Топуриа Г. В.* К генезису одного типа склонения в даргинском языке.— ИКЯ, 1985, т. XXIV (на груз. яз.).
20. *Чикобава А. С.* Об эргативном падеже — «косвенном» и «прямом» в иберийско-кавказских языках.— В кн.: Падежный состав и система склонения в иберийско-кавказских языках: Тезисы докладов IX региональной научной сессии по изучению системы и истории иберийско-кавказских языков. 16—18 сентября 1981 г. Махачкала, 1981, с. 3—4.
21. *Чикобава А. С.* К генезису повествовательного падежа (эргатива) в картвельских языках.— Тр. Тбилисского гос. ун-та, 1939, т. X, с. 175 (на груз. яз.).
22. *Schmidt K. H.* On the reconstruction of Proto-Kartvelian. — Revue de kartvélologie, 1978, v. XXXVI, p. 255.
23. *Шмидт К. Х.* — ЕИКЯ, 1980, VII, с. 347—348.— Рец. на кн.: *Услар П. К.* Табасаранский язык. Тбилиси, 1979.
24. *Гигинейшвили Б. К.* Падежная система общедагестанского языка в свете общей теории эргативности.— ВЯ, 1976, № 1, с. 38—39.
25. *Джейранишвили Е. Ф.* Удийский язык. Тбилиси, 1971, с. 58 (§ 11), 61 (§ 13), 68 (на груз. яз.).
26. *Джейранишвили Е. Ф.* Цахский и мухадский языки. II. Морфология. Тбилиси, 1983 (на груз. яз.).

[14] Ср. со схемой образования основных падежей на пралезгинском уровне [8, с. 45].

27. *Топуриа Г. В.* Эргатив самостоятельный и эргатив совмещающий, их функции в иберийско-кавказских языках.— В кн.: Вопросы синтаксического строя в иберийско-кавказских языках. Нальчик, 1977, с. 33.
28. *Ломтатидзе К. В.* Тапантский диалект абхазского языка. Тбилиси, 1944, с. 123—126 (на груз. яз.).
29. Грамматика абхазского языка. Сухуми, 1968, с. 77—93.
30. *Джавахишвили И. А.* Первоначальный строй и родство грузинского и кавказских языков. Тифлис, 1937, с. 133—257 (на груз. яз.).
31. *Deeters G.* Gab es Nominalklassen in allen kaukasischen Sprachen?— Corolla Linguistica, 1955.
32. *Андгуладзе Н. Д.* Некоторые вопросы истории классного и личного спряжения в иберийско-кавказских языках. Тбилиси, 1968, с. 5—57 (на груз. яз.).
33. *Чикобава А. С.* Введение в иберийско-кавказское языкознание. Тбилиси, 1979, с. 86—118 (на груз. яз.).
34. Структурные общности кавказских языков. М., 1978, с. 67—68.
35. *Ломтадзе Э. А.* К вопросу об историческом взаимоотношении эргативного и инструментального падежей в капучинско-гунзибском языке. — ИКЯ, 1953, IV (на груз. яз.).
36. *Ломтадзе Э. А.* Анализ капучинско-гунзибского языка.— ИКЯ, 1956, VIII, с. 401—403.
37. *Бокарев Е. А.* Из истории склонения в языках цезской группы Дагестана.— В кн.: Академику В. В. Виноградову. М., 1956, с. 122.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1987

ЕЛИСЕЕВА А. Г., СЕЛИВЕРСТОВА О. Н.

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МЕСТОИМЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Местоимения представляют собой один из самых загадочных в семантическом отношении класс слов. Одни лингвисты считали их выразителями наиболее общей идеи предметности, качественности и т. д. [1]. Другие, напротив, приписывали и приписывают им чрезвычайно конкретное, но не постоянное, ситуативно изменчивое значение [2, 3]. Третьи видят их основное своеобразие в том, что они характеризуют актант ситуации через его отношение к говорящему лицу или выражают другие отношения, связанные с актом речи [4, 5]. Четвертые полагают, что местоимения составляют одно из главных средств актуализации языкового знака, установления его связи с обозначаемым, т. е. референтом или денотатом [6].

В предлагаемой статье на примере анализа производных с англ. *-one* и *-body* будет представлена следующая концепция местоименного значения: 1) значение местоимений не более изменчиво, чем значение остальных слов; 2) их значение не сводится к характеристике актанта ситуации через его отношение к акту речи, в котором это событие описывается; 3) собственно лексическая часть значения местоимений складывается из двух компонентов: а) из информации об уровне характеризации актанта ситуации и б) из указания на «адрес» идентификации (т. е. указание на того или иного участника акта речи или на элемент контекста), что и позволяет представить актант ситуации в соответствии с заданным уровнем характеризации; 4) своеобразие местоимений в денотативном плане предопределяется их значением, и, таким образом, денотативные свойства — лишь следствие их семантических особенностей.

Поясним понятие уровня характеризации. Под этим понятием имеется в виду возможность представить один и тот же денотат с разной полнотой учета его свойств. Так, индивид может быть отображен в семантической структуре высказывания только через тот набор свойств, который предопределяет его отнесенность к тому или другому классу: (1) *Я говорил с женщиной.* Далее, индивид может быть представлен как носитель «уникального», но не исчерпывающего его индивидуальность свойства: (2) *Моя собеседница промолчала* (актант ситуации охарактеризован как носитель свойства «быть моей собеседницей»). В отличие от этого имя собственное при употреблении по отношению к лицу, известному и говорящему и слушателю, ассоциируется с образом данного лица, т. е. представляет его как индивидуальность: (3) *Вы давно виделись с Натальей Николаевной?* Подобную же информацию передают, как мы полагаем, и местоимения *я* и *ты*. Различие, однако, заключается в следующем: данная информация задана в самом языковом значении *я* и *ты*, не связана с каким-то отдельным индивидом, а сводится к требованию представить актант ситуации именно как индивидуальность, личность, т. е. задается высший уровень характеризации. При этом указы-

вается (второй компонент значения), что эта личность идентична либо говорящему, либо адресату речи. Таким образом, указание на роль в акте речи не определяет здесь — в отличие от таких выражений, как *моя собеседница*; *говорящий данные слова*, — то, как представлен актант ситуации. Данная информация составляет лишь отсылку, позволяющую идентифицировать личность участника события. Это различие лежит в основе определенных особенностей употребления. Ср.: *моя прекрасная собеседница*, но **прекрасная ты*, **уважаемый вы*. Ср. также: (4) *Ты отдала свою судьбу другому* (Блок А. Стихотворения). Поскольку слово *ты* представляет актант ситуации как личность, оно может обозначать индивид при выполнении им самых разных ролей в ситуации. Так, в (4) имеется в виду роль жены, возлюбленной. Напротив, выражения типа *моя собеседница* указывают именно на выполнение роли адресата речи. Поэтому странно звучит: (4а) **Моя собеседница ушла к другому.*

Итак, уникальную особенность местоимений мы видим в том, что они задают тот или иной уровень характеризации актанта ситуации. При этом они сами не раскрывают заданной характеристики, а только либо отсылают к тому элементу ситуации или контекста, через который можно получить недостающие сведения, либо указывают на отсутствие необходимых сведений у говорящего или на то, что по той или иной причине они не будут сообщены слушателю. Развиваемая в данной статье точка зрения в известной степени объединяет в себе разные подходы к описанию местоименного значения. Во-первых, как и многие другие лингвисты, мы рассматриваем местоимения как слова, содержащие информацию о роли участника события в акте речи или сообщающие о других отношениях к акту речи или контексту. Во-вторых, подобно лингвистам, полагающим, что местоимения не имеют постоянного значения, мы рассматриваем указанную выше информацию не как характеристику актанта ситуации, а как отсылку, позволяющую идентифицировать актант ситуации (ср.: *я* и *произносящий данные слова*; *ты* и *моя собеседница*). Однако мы не делаем отсюда вывода относительно того, что местоимения не имеют постоянного значения: и «отсылочная» информация, и информация об уровне характеризации не зависят от контекста и, таким образом, входят в состав местоименного значения.

Представление об уровне характеризации, насколько нам известно, не выдвигалось в других исследованиях. Однако элементы этого представления есть в ряде работ.

Прежде всего, начиная с работ Гумбольдта (см. об этом [1]), *я* связывается с выражением личности говорящего [7, 8]. Подобным же образом трактуется и *ты* — выражение личности адресата речи. Однако место этой информации в структуре значения либо не обсуждается, либо определяется иначе, чем предложено в нашей статье [7]. Другие концепции местоименного значения менее прямо и менее однозначно могут быть связаны с проводимой точкой зрения. Так, утверждение о том, что местоимения и другие слова, относимые к актуализаторам, задают денотативный статус (если воспользоваться термином Е. В. Падучевой) именной группы, потенциально могло бы быть интерпретировано в смысле, близком к вводимому нами понятию «уровня характеризации». Для этого нужно было бы считать, что указание на денотативный статус составляет особый, самостоятельный компонент значения. Такого утверждения, однако, в рассматриваемых работах не содержится. В некоторых из них (например [4]) выделение такого компонента значения несомненно исключается, поскольку местоименное значение в явной форме определяется

лишь как выражающее отношение актанта ситуации к лицу говорящего. Своеобразие же в денотативной отнесенности (например, неупотребляемость *я*, кроме отдельных редких случаев, для обозначения обобщенного денотата) считается следствием этого значения. Вводимое понятие уровня характеризации отличается от понятия денотативного статуса еще и в следующем отношении. О различии в денотативном статусе естественно, как нам представляется, говорить в том случае, когда различаются сами типы денотатов [1]. Поэтому говорить о том, что местоимения предопределяют «денотативный статус» можно было бы, если бы, например, они однозначно указывали на референтное или, напротив, нереферентное употребление. Как будет показано ниже, местоимения чаще всего могут соотноситься с разными денотативными типами, и, таким образом, указание на какой-то один тип денотата не составляет их общей черты. В связи с отличием предлагаемого подхода от существующей интерпретации местоимений как актуализаторов обратим внимание еще на следующее: если признать, что местоимения задают только уровень характеризации, но не тип денотата, то вряд ли можно считать, что все местоимения играют какую-то исключительную роль в «сцеплении» высказываний с действительностью.

2. Попытаемся теперь проиллюстрировать справедливость предлагаемой точки зрения на примере анализа английских местоимений *-one/-body*, которые в статье представлены в основном местоимениями *someone/somebody* [2].

Впервые различие между производными с *-one* и *-body* было показано в работе Болинджера [9]. До этого считалось, что их значения тождественны [10], хотя и отмечались отдельные расхождения в условиях употребления. Д. Болинджер выдвигает следующую гипотезу: «*-one* и его производные маркированы по признакам близости к говорящему и индивидуализации; напротив, производные с *-body* не маркированы по этим признакам. Вследствие этого производные с *-body* больше похожи на существительные множественного числа с показателем неопределенности; они не показывают, что внимание говорящего/слушателя акцентируется на личности референта» [9, с. 230]. Сходным образом определяется различие между рассматриваемыми единицами и в более поздней работе Д. Болинджера. Он пишет, что местоимения с *-one* связаны с представлениями о близости как в пространственном, так и в психологическом плане. Приводится также следующая формулировка одного из информантов, которая рассматривается как соответствующая постулируемой

---

[1] См.: однако, [6], где в рамках референтного употребления выделяются денотативные подстатусы, связанные с признаками «± определенность», т. е. известность для говорящего и слушателя, и «± слабая определенность», т. е. известность только для говорящего. В отличие от этого подобные признаки мы не рассматриваем как предопределяющие не только тип денотата, но и уровень его характеризации. Подчеркнем, что признак известности/неизвестности мы отграничиваем от того признака, который лежит, например, в основе противопоставления английских артиклей и который также принято обозначать термином «± определенность». Этот последний признак указывает на уровень характеризации.

[2] При исследовании было опрошено 8 англичан: шесть слушателей русского языка в Лондонском университете (возраст 20—28 л.) и двое преподавателей английского языка (28 л.). Авторы пользуются случаем высказать им глубокую благодарность. Авторы особенно благодарны М. Фитцджеральд, ответы которой помогли сформулировать исходные гипотезы. Остальные информанты участвовали в контрольных опросах. Авторы также благодарят А. П. Василевича, который провел опрос информантов в Лондонском университете.

гипотезе: «*-one* — близость, определенность, индивидуальность; *-body* — дальность, неопределенная референция, коллективность» [11, с. 15].

Полученные нами результаты сходны с выводами Д. Болинджера [3]. Однако есть и некоторые различия. Д. Болинджер выдвигает фактически три признака: «близость/дальность» (пространственная и психологическая), «индивидуализация/отсутствие индивидуализации» (коллективность); «определенность/неопределенность». В отличие от этого мы попытаемся показать, что для противопоставления *-one* и *-body* существен только один признак: «индивидуализация/осутствие индивидуализации», который можно несколько точнее определить как «акцентирование неакцентирование внимания» на индивидуализированном представлении актанта ситуации. Восприятие психологической или пространственной близости может возникать как возможное, но не обязательное следствие данного признака и не имеет самостоятельной значимости. Различие по признаку определенности/неопределенности реализуется лишь в некоторых условиях употребления. В других же условиях и производные с *-one*, и производные с *-body* могут быть охарактеризованы через понятие определенности в широком смысле слова. Обратимся к рассмотрению этого последнего признака.

В англистике понятие «неопределенности» прежде всего связывается со значением неопределенного артикля, который показывает, что денотат имени характеризуется как член некоторого класса. В отличие от этого местоимения с *-body* чаще всего (хотя и не всегда) представляют актант ситуации в его индивидуализирующей характеристике [4]. В пользу сделанного утверждения говорит то, что и *someone*, и *somebody* могут употребляться в тех случаях, когда характеристика актанта ситуации только через признак его отнесенности к тому или иному классу была бы недостаточной или даже бессмысленной [5].

(1) *Where would he be buried? Somebody would know — Francis or Eustace* (J. Galsworthy, The white monkey) «Где его похоронят? Кто-нибудь, наверное, знает — Френсис или Юстас». Употребление в этом контексте не только слов типа *a man*, *a woman*, но и слова *relatives* «родственники» было бы бессмысленным. Ср. русск.: **Человек, наверное, знает об этом.* Недопустимость употребления слова *relatives* объясняется тем, что сам говорящий входит в число родственников. Поэтому актант ситуации здесь может быть представлен только индивидуализированно [6]. Ср. также перевод с русского:

(2) *А Жилину пить хочется, в горле пересохло, думает: хоть бы пришли проведать* (Л. Н. Толстой. Кавказский пленник) *Ghilin was thirsty — his throat was dry — and he wished somebody would come* (**a man would come*, **a woman would come*).

---

[3] В отличие от Д. Болинджера мы работали с английскими информантами, и, таким образом, полученные результаты свидетельствуют о значимости выделенного семантического противопоставления не только для американского, но и для британского варианта английского языка.

[4] Именная группа с определенным артиклем, как мы полагаем, по крайней мере, в большинстве условий употребления характеризует актант ситуации через «уникальный», но не составляющий его индивидуальность признак. Напротив, местоимения с *-one* и *-body* скорее обычно задают уровень представления актанта ситуации как личности, индивидуальности.

[5] Вопрос о достаточности/недостаточности той или иной характеризации актанта ситуации не всегда зависит только от логической структуры текста. Рамки данной статьи, однако, не позволяют нам остановиться на этом вопросе более подробно.

[6] Подчеркнем, что отображение актанта ситуации именно как индивида не исключает его принадлежности к множеству. Например: *С ней говорил один из нас — один* характеризует актант ситуации как индивид. Ср., напротив: *С ней говорил врач.*

В приведенных контекстах речь шла о совокупности известных говорящему лиц. При «неизвестном» заполнителе актантной позиции его характеристика через отнесенность к классу часто также бывает недостаточной:

(3) *In other words, he left the door open, but he came back to find it shut. Why? Because somebody else had already passed out that way* (G. K. Chesterton. Stories) «Другими словами, он оставил дверь открытой, но когда вернулся, она оказалась запертой. Почему? Потому что здесь прошел еще кто-то». В (3) нельзя заменить *somebody* на то или иное обобщенное существительное (*a man*, *a person*). Ср. также русск.:

(4) «Вот теплятся желтые свечи, Забытые в чьем-то окне» (А. Блок. Стихотворение) (**в окне человека*, **в окне жителя города*).

Местоимение *чье-то* в данном контексте «требует» представления актанта ситуации не только как члена класса людей, жителей, но и как индивида в его индивидуализирующей характеристике, которая, однако, остается неизвестной говорящему.

Только в некоторых контекстах *somebody* может указывать на принадлежность актанта ситуации к тому или иному классу. Однако в этих условиях его значение не тождественно значению существительного множественного числа с нулевым показателем неопределенности. В отличие от существительного *somebody* указывает на отнесенность к некоторому подклассу внутри большого класса, причем признак, объединяющий данный подкласс, не раскрывается (этот признак неизвестен либо слушателю, либо и говорящему и слушателю одновременно):

(5) *He must have been cornered by a mugger or a mafioso or somebody, from the way they worked him over* «Судя по тому, как его избили, на него напал профессиональный грабитель или мафиозо или еще кто-нибудь в этом роде» (пример взят из [11, с. 230]). Таким образом, и *someone* и *somebody* представляют актант ситуации на уровне индивида (индивид, отображенный в наборе его индивидуализирующих свойств); *somebody* (а, возможно, при некоторых условиях и *someone*) может также отображать актант ситуации на уровне члена класса.

Остановимся теперь на признаке пространственной или психологической близости/дальности. О том, что выбор между *-one* и *-body* не зависит однозначно от признака пространственной близости/дальности, свидетельствуют данные, содержащиеся в работе самого Д. Болинджера ([11], тесты № 13, 14, 35, 37). Например, информанты должны были сделать выбор между *everybody* и *everyone* в контексте:

(6) *Where is everybody/everyone? The place looks deserted* «Куда же все подевались? Похоже, что жители ушли из города». При этом задавались два разных условия: 1) астрономы, наблюдая через телескоп, обнаруживают на Марсе город со всеми следами «живой» цивилизации, но не видят его жителей; 2) та же картина наблюдается космонавтами, приземлившимися на Марсе и попавшими в данный город. При первом условии большинство опрошенных выбрало *everybody* (10 из 12). При втором условии результаты опроса изменились (5 выбрало *everyone* и 7 *everybody*), но не настолько сильно, чтобы можно было говорить об однозначном влиянии признака близости/дальности на выбор между *everyone* и *everybody*. Отметим также, что параметр пространственной близости/дальности вообще не ассоциируется с большинством условий употребления местоимений с *-one* и *-body*. Что же касается психологической близости/дальности, то он также не объясняет распределения в текстах производных этих местоимений. Введение его в толкование не противоречит смыслу вы-

сказываний с *-one* и *-body* в тех случаях, когда понятие психологической близости/дальности ассоциируется с признаком индивидуализации. В тех же случаях, когда такой корреляции нет, толкование через данное понятие не раскрывает содержания высказывания (см., например, тесты № 33 и № 34 Д. Болинджера), ср. также следующие предложения:

(7) *When a young boy does any damage to someone else's property, it is his father who always has to foot the bill* (пример информанта) «Когда мальчик приносит ущерб чьей-нибудь чужой собственности, то его отец должен возместить ущерб»;

(8) *...and surely wanting to pull someone's nose is a nasty tendency, isn't it, dear boy?* (S. and R. Thorndike. Lilian Baylis). «Желание провести человека не очень-то благородно, не так ли, мой дорогой?»

(В (7) и (8) значение *someone* вряд ли выражает представление о психологической близости.

3. Покажем теперь зависимость выбора производных с *-one* и *-body* от признака «акцентирование/неакцентирование внимания» на личности возможного заполнителя актантной позиции. Рассмотрим также различные варианты их значения. Постановка этой задачи требует классификации диагностирующих контекстов. Рассмотрим также типы денотативной отнесенности, характерные для анализируемых местоимений [7].

Значение *somebody* определяется в работе следующим образом: это местоимение несет информацию о том, что 1) актантная позиция заполнена (или будет, должна была бы быть и т. д. заполнена) и 2) актант ситуации характеризуется чаще всего как индивид или — реже — член подкласса внутри класса людей, но при этом 3) индивидуализирующие свойства данного индивида или признак, объединяющий данный подкласс, не раскрываются; они 4) объявляются неизвестными говорящему или такими, которые по той или иной причине не сообщаются слушателю, и — более того — 5) индивидуальность актанта ситуации признается несущественной для данного акта речи, и, таким образом, она как бы игнорируется.

Someone отличается от *somebody* по последнему (пятому) признаку: оно показывает, что индивидуальность актанта ситуации не отбрасывается: она существенна для данного акта речи, хотя и не раскрывается (точнее, она может быть раскрыта, хотя и не обязательно, в последующем контексте). Самым общим следствием из постулируемого различия является следующее: *somebody* должно употребляться, когда в центре внимания говорящего стоит само событие или сам факт заполненности «ролевых» позиций, выступающих в качестве ингредиентов описываемого события. Напротив, если внимание сосредотачивается не только на событии в целом, но и на личности участника, то должно выбираться *someone*.

Рассмотрим различные условия употребления анализируемых единиц, для того чтобы проверить, действительно ли данное следствие имеет место [8].

---

[7] В работе Д. Болинджера задается только список диагностирующих примеров, которые, однако, не классифицируются по типам. Выделенные условия употребления лишь частично совпадают с установленными нами. Два других вопроса — о вариантах значения и о денотативных типах — в работе Д. Болинджера не ставились.

[8] Заметим, что толкование отдельных примеров информантами иногда прямо соответствовало сформулированному выше следствию. Так, например, комментируя предложение *Everyday someone (somebody) would come to see her* «Каждый день к ней кто-то/кто-нибудь приходил» двое из информантов отметили, что *someone* акцентирует внимание на том, кто́ приходил. Напротив, *somebody* показывает, что важно только одно, а именно: что посетитель был, т. е. посещение состоялось. Другие предложенные толко-

Одним из проявлений сформулированного следствия является употребление производных с *-one* в тех условиях, когда для говорящего (или героя повествования, через восприятие которого описывается денотативная ситуация) важно идентифицировать участника события или когда говорящий в последующей речи собирается осуществить акт идентификации. Интерес к идентификации в свою очередь может зависеть от типа речи. Среди многих градаций актов речи по их цели можно провести и следующее различие: 1) цель речи — просто создать картину, воспринимаемую зрением или какими-либо другими органами чувств, причем говорящий как бы безличный «фиксатор» того, что происходит, — воспроизводится лишь внешняя сторона событий, объективно регистрируемая органами чувств; 2) цель речи — сообщить о непосредственно воспринимаемом, но при этом говорящий — не безразличный «фиксатор», а присутствующее в ситуации лицо, которое может быть так или иначе затронуто событием. Понятно, что при первой цели для говорящего не существенна личность участника события. Поэтому можно ожидать, что в этом типе речи будут употребляться местоимения с *-body* (это и действительно имеет место):

(9) «*Somebody was in hammock, somebody, but in this light they were phantoms only half guessed, half seen...*» (V. Wolf. A zoom of one's own) «В гамаке кто-то лежал, кто-то, но в этом свете они были только фантомами, о которых можно было скорее догадываться, чем видеть их».

Ср. перевод с русского: «Далеко за оврагом, позади сада, кто-то запел звучную песню...» (Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда):

(10) *Away beyond the gully on the far side of the orchard, somebody began singing a sweet melody...*

К особому «непоэтическому» варианту описательной речи можно отнести авторские ремарки в пьесах типа:

(11) *Somebody tries the door with the key* (B. Shaw. Mrs. Warren's profession).

Употребление *someone* во всех приведенных контекстах признавалось опрошенными неправильным (8 человек).

Напротив, вторая цель речи создает предпосылку для акцентирования внимания на личности актанта ситуации: при восприятии события, которое может иметь то или иное отношение к воспринимающему, он, естественно, пытается идентифицировать участников этого события. Таким образом, можно ожидать, что в этом типе речи будет использоваться *someone*, что и подтверждается при анализе примеров. Так, например, при переводе текста: *Слышит — бежит кто-то с горы, легко попрыгивает. Думает, опять Дина* (Л. Н. Толстой. Кавказский пленник) все опрошенные (4 человека) выбирали *someone*, это же местоимение использовалось и в опубликованных переводах:

(12) *Then he heard someone runing lightly down the hill and assumed it must be Dina.*

Есть, однако, одно условие, которое заставляет отдавать предпочтение выбору *somebody*, а именно: при эмфатической речи (например, когда говорящий считает описываемое событие опасным, трагическим и т. д.) центр внимания переносится с идентификации участника на сам факт осуществления события и заполненности его актантных позиций. Напри-

---

вания (в большинстве случаев информанты просто оценивают правильность предложений, не комментируя их) относились к более частным проявлениям рассматриваемого следствия.

мер, все информанты (8 человек) отдавали предпочтение выбору *somebody* в следующих контекстах:

(13) *Quick! Somebody's drowning in the lake* «На помощь! Человек тонет» (пример информанта)

Ср., напротив:

(14) *Look! There's someone walking along the road* (пример информанта) «Смотри! Кто-то идет по дороге».

В экспрессивной речи *someone* может употребляться, если драматический характер действия зависит от заполнителя актантной позиции:

(15) *Someone just tried the door* (S. Maugham. The painted veil) Кто-то пытался открыть дверь (в описываемой ситуации для говорящих важно понять, кто пытался открыть дверь).

В других стилях речи, не связанных с непосредственным восприятием актанта ситуации, выбор *someone* также часто определяется важностью идентификации актанта ситуации:

(16) *It was here, so plainly it comes from someone who knows of our advertisements* (J. Foweles. The French lieutenant's woman) «Письмо было отправлено здесь, и, следовательно, его написал кто-то, кто знал о наших объявлениях».

Someone также часто употребляется в контекстах, в которых раскрывается «инкогнито» участника. Однако наличие кореферентного имени еще не обязательно требует употребления *someone*; ср.:

(17) *Somebody touched him on the shoulder and he looked up. It was Henry Wimbush* (A. Huxley. Crome Yellow) «Кто-то дотронулся до его плеча, он поднял голову. Перед ним стоял Генри Уимбуш». (Здесь допустимо употребление обоих местоимений.). При этом *someone*, по утверждению информантов, непосредственно связано с именем собственным (*someone*= *Henry*). Напротив, *somebody* отрывает первое предложение от второго, и его выбор требует каких-то особых предпосылок (например, может диктоваться желанием автора подчеркнуть, что герой повествования находится в полной изоляции, окружающие не обращают на него никакого внимания, и вдруг некто дотрагивается до его плеча — именно такая ситуация описывается в романе).

Если говорящий уже в момент речи знает, кто́ актант ситуации, и собирается идентифицировать его для слушателя, то в нейтральной речи употребляется только *someone*. Например, в (18) все опрошенные (8 человек) отдавали предпочтение выбору *someone*:

(18) *I'm not coming alone. There's someone I want you to meet ... Who?* (P. Theroux. The family arsenal) «Я приеду не один. Я хочу познакомить вас с одним человеком...» «С кем?»

Выбор *somebody* в (18) оценивался либо как неправильный, либо как допустимый, но обусловленный особой стилистической функцией — придать речи элемент таинственности.

Даже если актант ситуации не будет идентифицирован для слушателя, само знание его говорящим создает предпосылку для акцентирования внимания на личности участника события. Поэтому при наличии такой предпосылки часто выбирается *someone*. Например:

(19) «*It's a shell. I've seen one like that before. On someone's back wall. A conche he called it*». (W. Golding. Lord of the flies) «Это ракушка. Я уже видел такую же раньше. На заборе у одного человека. Только он называл ее рогом».

Употребление *somebody* в этих условиях также возможно. Его функция заключается в том, чтобы подчеркнуть небрежное или даже пренебрежительное отношение к участнику события:

(20) *Somebody at the reception desk referred me to the manager* (пример информанта). «Портье направил меня к управляющему».

(21) *Somebody gave me a bit of pencil* (пример информанта) «Мне дали кусочек карандаша».

Различие между *someone* и *somebody* в рассматриваемых условиях можно проиллюстрировать на примере теста, предложенного Д. Болинджером. Информантов попросили сделать выбор между *someone* и *somebody* в двух разных ответах на вопрос: «Для кого этот подарок?». В первом ответе подчеркнуто, что речь идет о дорогом для говорящего человеке. Во втором, напротив, указано на неважность, несущественность идентификации участника. В контексте первого ответа все 17 информантов отдали предпочтение выбору *someone*, во втором — *somebody* [11, с. 230].

Итак, и *someone*, и *somebody* могут употребляться при описании уже осуществившегося или осуществляемого события, когда актант ситуации неизвестен ни говорящему, ни слушателю. При этом *someone*, в отличие от *somebody*, выбирается, если для говорящего важно идентифицировать участника события. Эти местоимения могут также использоваться, когда участник события известен говорящему, но неизвестен слушателю. В этом случае *somebody* получает экспрессивный признак: «неважно, несущественно, кто участник события».

4. В значение местоимений *somebody* и *someone* не входит признак альтернативности/единственности заполнения актантной позиции. Под альтернативностью понимается здесь информация о соотнесенности с актантной позицией некоторого множества элементов, только один из которых (тот или иной) или по крайней мере один, но не все станет, стал бы и т. д. фактическим участником события. Информация об альтернативности или единственности привносится при их употреблении лишь контекстом. В ситуациях с альтернативным заполнителем актантной позиции *someone* и *somebody* как и в других условиях их употребления, представляют актант ситуации на уровне индивида или — реже — члена того или иного подкласса. Однако функция такого представления меняется: *someone* и *somebody* дают возможность обобщенного отображения в семантической структуре высказывания некоторого множества индивидов при сохранении за ними статуса индивидов. Вследствие этого данные местоимения часто употребляются, когда альтернативные заполнители актантной позиции известны, но говорящий хочет представить их «суммарно». При выполнении данной функции выбор *someone*, которое, как и в других условиях употребления, акцентирует внимание на личности заполнителя актантной позиции, не связан с важностью его идентификации. Здесь наличие или отсутствие такого акцента свидетельствует в основном об отношении говорящего к участникам события, что в свою очередь часто связано с размером или — если воспользоваться математическим термином — мощностью множества, элементы которого составляют альтернативы заполнения актантной позиции. Если участники события принадлежат к некоторой ограниченной совокупности — кто-то (кто-нибудь) из друзей, знакомых, сослуживцев и т. п., то чаще выбирается *someone*. Например:

(22) *I ought to have been told. Someone really ought to have warned me* (S. Maugham. The painted veil) „Мне должны были сказать. Кто-нибудь обязан был меня предупредить".

Как отмечали все опрошенные, *someone* в этом контексте вызывает представление об ограниченном круге людей. Подобным же образом комментировалось и (23):

(23) *Well, the twins are now five and I'm so thankful I didn't leave them for someone else to raise them* (пример информанта).

При употреблении *someone* сообщается, что воспитание детей было бы предоставлено кому-нибудь из близких, знакомых. Напротив, *somebody* указывает, что ограничение в выборе участника снимается. В [9, 11] также отмечается зависимость выбора *someone* и *somebody* от размера множества. Мощность множества не составляет, однако, самостоятельного условия разграничения *someone/somebody*. Это условие лишь следствие признака «акцентирования/неакцентирования» внимания на личности участника события: при ограниченном числе элементов естественно создается предпосылка для их представления как индивидуальностей. тем более, что обычно речь идет о совокупностях, члены которых известны говорящему (или герою повествования). Кроме того, данное условие составляет лишь предпосылку, которая, однако, не обязательно определяет выбор между *somebody/someone*. Так, *somebody* может использоваться при описании ограниченного множества, если говорящий хочет подчеркнуть, что личность участника события для него безразлична. Ср. примеры (2), (3), а также (24):

(24) *It ditn't occur to you to ask somebody or other what my name was*? (S. Maugham. The painted veil) «А вы не подумали о том, чтобы спросить кого-нибудь, как меня зовут?» (имеется в виду круг общих знакомых; слово *other* усиливает акцент на безразличии говорящего к выбору участника).

Кроме того, *somebody* выбирается при описании ограниченного множества, если говорящий хочет акцентировать внимание только на самом факте заполненности («неизбежности» заполнения) актантной позиции. Эта информация может дополняться и указанием на то, что для говорящего неважно, ктó участник события, но здесь эта последняя информация необязательна:

(25) *And hurry up, Sydney, because you'll keep your mother waiting. Well, your granny then! . . . Somebody's coming to take you away, aren't they, Sydney*? (пример информанта) «Сидней, торопись, а то ты заставишь ждать свою маму. Ну, бабушку... Но ведь кто-то же придет за тобой, не так ли, Сидней?»;

(26) *He couldn't bear to be alone for a moment: it was death to him. Somebody had to be with him always* (B. Shaw. The apple Cart) «Он ни на минуту не мог оставаться один. Это было подобно смерти для него. Кто-то всегда должен был быть при нем».

Не существует прямого логического запрета на употребление слова, представляющего участника события как индивидуальность в высказываниях, цель которых — подчеркнуть саму заполненность актантной позиции. В этом случае могла бы происходить перестановка акцентов внутри компонентов самого слова, в результате чего указание на индивидуализацию участника события отступает на задний план. Однако если в языке есть противопоставленность по признаку «акцентирование/неакцентирование» внимания на личности, предпочтение, естественно, должно отдаваться выбору местоимения со вторым значением, что и имеет место в английском языке.

5. Материал, рассмотренный выше, свидетельствует о том, что местоимения с *-one* и *-body* имеют разную денотативную отнесенность: 1) они могут обозначать индивид или — точнее — актантную позицию, заполненную индивидом, который при этом представлен именно как индивид — и — реже — как член того или иного подкласса в рамках класса (люди);

2) они могут соотноситься с незаполненной или еще не заполненной актантной позицией, которой соответствует то или иное множество элементов, по крайней мере один из которых заполнит (или мог бы, должен был бы и т. д. заполнить) актантную позицию (элементы множества и в этом случае отображены как индивиды или члены различных подклассов).

Рассмотрим теперь еще два типа денотативной отнесенности, присущих *someone* и *somebody*. Данные местоимения употребляются также в высказываниях, описывающих многократные события. При этом они могут обозначать актантную позицию, заполнители которой при разных актах реализации события сменяются, т. е. в событии участвует то один, то другой и т.д. из элементов ограниченного или неограниченного множества:

(27) *Someone in the household was always remembering that a baby was on the way, and the someone was not always Edita* (J. O'Hara. Ten North Frederick) «В доме всегда помнили о скором появлении на свет ребенка, но этим „помнящим" не всегда была Эдита»;

(28) *Never seem to get peace to get any work done, — said Quiggin.— Always somebody or other butting in* (A. Powell. A question of upbringing) «Нельзя работать. Нет ни минуты покоя, — сказал Квигин. — Постоянно кто-то мешает».

Наряду с этим *someone* и *somebody* могут употребляться в обобщенных высказываниях, не соотнесенных с конкретной группой индивидов. В таких высказываниях в отличие от существительных, которые могут обозначать либо класс в целом, либо типизированного представителя, члена класса, *someone* и *somebody* представляют актант ситуации на уровне индивида; этому актанту соответствует любой индивид, когда он окажется в соответствующей ситуации:

(29) *Let your boat of life be light, packed with only what you need — a homely home and simple pleasures, one or two friends worth the name, someone to love and someone to love you...* (G. K. Jerome. Three men in a boat) «И пусть лодка, в которой вы плывете по жизни, будет легкой, пусть в ней будет только то, что вам необходимо,— уютный дом и простые радости, один или два друга, достойные так называться, кто-то, кого бы вы любили, и кто-то, кто любил бы вас».

Замена местоимения на имя с общим значением *a woman to love* «женщина, которую бы вы любили» делает характеристику актанта ситуации более далекой, менее личной, что связано с представлением его именно как члена класса, а не как индивидуальности, личности. Это различие особенно четко ощутимо при употреблении *someone*, которое (как и в других условиях употребления) акцентирует внимание на том, что личность актанта ситуации значима. Вследствие этого *someone* употребляется в тех случаях, когда характер описываемой ситуативной роли таков, что личность возможного ее «исполнителя» небезразлична. Напротив, *somebody*, показывает, что личность участника события несущественна, и вследствие этого употребляется в высказываниях, в которых описываются соотношения, закономерные связи, независимые от индивидуальности заполнителя актантной позиции. Например, все информанты (8 человек) отдавали предпочтение выбору *somebody* в (30), где сообщается о психологических последствиях осуществления доброго поступка, которые не зависят от выбора адресата действия:

(30) *What a pleasure it is,— said Denis,— to do somebody* (*someone) *a kindness* (A. Huxley. Crome Yellow) «Приятно оказать человеку услугу», — сказал Денис.

Someone может употребляться предикативно, т. е. обозначать набор свойств, присущих лицу в отрыве от их носителя. Такое употребление согласуется с постулируемым различием между *someone* и *somebody*. Понятно, что именно слово, акцентирующее внимание на качественной характеристике актанта ситуации (в данном случае на его индивидуальности), должно получить предикативное употребление. Использование *somebody* в этой функции, правда, также возможно, но здесь актуализируется особое его значение, не присущее ему в других употреблениях; а именно: оно указывает на исключительную, значительную личность (это значение отмечается в словарях). Если данное значение не реализуется, употребление *somebody* создает неотмеченное высказывание. Например:

(31) *Both are bewildered and miserable. Amy probably more so because she tends to see herself the way she thinks Paul sees her, as someone weak, morbid and boring* (International Herald Tribune, February 10, 1981) (*somebody) «Оба растеряны и несчастны. Особенно Эми, потому что она видит себя такой, какой, как она думает, видит ее Пол: слабой, скучной, болезненной». Ср. также:

(32) *You know, boy, it does me good to meet someone* (**somebody*) *like you now and then. Makes me realize the value of money* (I. Murdock. Under the net) «Знаете, молодой человек, время от времени очень полезно встречать таких, как вы. Это помогает понять цену денег».

В этих последних примерах местоимение *someone* употребляется, как нам представляется, в «скрытой» предикативной функции. Например, (32) можно интерпретировать следующим образом: «время от времени „мне" полезно встречать „тех", которые, соответствуют описанию „быть таким, как вы"». В рассматриваемых контекстах *someone* обозначает набор свойств, оторванный от их носителя. Носитель свойств представлен здесь отдельным членом предложения. Как следствие этого *someone* не может соотноситься с импликацей существования. Так, фразе *for someone not born to money, David...* нельзя приписать следующую семантическую структуру: «для кого-то, если (когда) он рожден в бедной семье, Дэвид...».

Somebody в отличие от *someone* не может употребляться для обозначения «неопредмеченного» набора свойств. Его использование становится возможным только в том случае, если устанавливается тождество между «носителем» одного свойства и «носителем» другого свойства, по отношению к каждому из которых может быть введена независимая импликация существования:

(33) *A good loser is somebody who doesn't become annoyed or angry when defeated* (пример информанта) «Достойно проигрывает тот, кто не раздражается и не сердится, когда оказывается побежденным».

Семантическую структуру этого предложения можно интерпретировать так: «когда (если) имеет место ситуация борьбы и ситуация победы, то хорошим побежденным является тот борющийся, кто не раздражается и не сердится, когда побежден». Таким образом, мы предполагаем, что здесь устанавливается тождество между двумя независимыми актантами «тот, кто побеждает» и «тот, кто борется», каждый из которых может «вводить» импликацию существования (*если, когда кто-то*). Описываемая денотативная ситуация может быть отображена в семантической структуре высказывания и иначе: «хорошим побежденным является тот, кто не раздражается и не сердится, когда побежден». Здесь *тот, кто* обозначает не самостоятельный актант, а набор свойств денотата подлежащего. Такая семантическая структура должна реализоваться в соответствии с проводимой нами гипотезой при употреблении в (33) *someone*. Употребление

someone в данном контексте, как показал опрос информантов, действительно может иметь место. Больше того, все опрошенные (8 человек) отдавали предпочтение выбору *someone*, хотя допускали и употребление *somebody*. То, что выбор *someone* и *somebody* зависит от отмеченного различия в семантических структурах, видно из следующего: *someone* не взаимозаменимо с *somebody* при описании ситуаций, в которых денотат, соотнесенный с *someone*, может быть интерпретирован только как набор свойств. Местоимение *anyone* также может обозначать набор свойств, отделенный от его носителя:

(34) *Actors lived in a way she would have chosen for herself; they could be anyone and they could persuade others to believe in their masks* (P. Theroux. The family arsenal) «Она хотела бы жить так, как живут актеры. Они могут надеть любую маску и заставить других поверить ей».

Итак, проведенный анализ местоимений *someone*, *somebody*, которые взяты как пример производных с *-one* и *-body*, показывает, что их значение согласуется с развиваемой в статье концепцией местоименного значения. Рассмотренные местоимения «требуют» представления актанта ситуации на уровне индивида, отображенного в его индивидуализирующей характеристике или — реже — на уровне члена класса. При этом *someone* и *somebody* не раскрывают данную характеристику, а указывают, что она неизвестна говорящему или не будет сообщена слушателю. Таким образом, выделяются два обязательных компонента местоименного значения: 1) указание на уровень характеризации и 2) указание на «адрес» получения недостающей информации и в том числе сообщение об отсутствии «адреса» или нежелания его дать.

Местоимения *someone* и *somebody* могут соотноситься с разными типами денотатов: 1) обозначают актант ситуации, представленный индивидом; 2) употребляют по отношению к актантной позиции, которая будет заполнена тем или иным индивидом из некоторого множества; 3) используются в тех случаях, когда существование заполнителя актантной позиции задается лишь в виде условия *если* (*когда*) . . ., *то* и т. д. Таким образом, рассматриваемые местоимения не связаны с каким-то одним денотативным типом.

Способность представлять актант ситуации на уровне индивидуализирующей характеристики приводит к употреблению *someone* и *somebody* в тех условиях, где представление актанта ситуации только как члена класса было бы недостаточно и бессмысленно.

То, что местоимения *someone* и *somebody* только задают индивидуализирующий уровень характеризации актанта ситуации, но не раскрывают содержания задаваемой характеристики, позволяет использовать данные местоимения для выражения значения «обобщенного» индивида, в роли которого может выступать тот или иной конкретный индивид. Такую функцию они выполняют в высказываниях, описывающих многократные и обобщенные события. Еще одной ведущей функцией рассмотренных местоимений является указание на отсутствие сведений у говорящего об индивидуализирующей характеристике актанта ситуации или о том подклассе, к которому он относится. Они могут также указывать на нежелание говорящего раскрыть индивидуализирующую характеристику.

Различие между местоимениями *someone* и *somebody* определяется прежде всего тем, акцентируется ли внимание на личности (индивидуальности) актанта ситуации.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Виноградов В. В.* Русский язык. М. Л., 1947, с. 258—259.
2. *Collinson W.* Indication. Baltimore, 1937.
3. *Смирницкий А. И.* Морфология английского языка. М., 1959, с. 177.
4. *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. Гл. VIII. М., 1938.
5. *Якобсон Р.* Шрифтеры, глагольные категории и русский глагол.— В кн.: Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
6. *Падучева Е. В.* Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.
7. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. Гл. XXII. М., 1974.
8. *Степанов Ю. С.* Имена, предикаты, предложения, М., 1981, с. 165.
9. *Bolinger D.* Meaning and form. London — New York, 1977.
10. *Jespersen O.* A modern English grammar on historical principles, Heidelberg, 1914.
11. *Bolinger D.* The in-group: *one* and its compounds.— In: The second Lacus forum. Ed. by Reich P. A. Columbia, 1975.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1987

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

КАЛИУЩЕНКО В. Д.

ТИПОЛОГИЯ ЛОКАТИВНЫХ, ПОСЕССИВНЫХ И АТРИБУТИВНЫХ ОТСУБСТАНТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ

В предлагаемой статье осуществляется опыт типологии отсубстантивных глаголов (ОГ), т. е. глаголов, мотивированных именами существительными типа русск. *мастер* → *мастерить*, ср. аналогичные пары в польск. *majster* → *majstrować*, англ. *master* → *to master*, швед. *mästare* → → *mästra*, фин. *mestari* → *mestaroida*, индонез. *tukang* → *bertukang* [1]. ОГ служили объектом исследования как в различных отдельных языках, так и в сопоставительном и типологическом аспектах (см. [1—4]). ОГ характеризуются различными видами семантической связи с их мотивирующими именами (МИ), ср. русск. *гость* → *гостить* ≈ *быть гостем* (ср. также аналогичную пару в швед. *gäst* → *gästa*, лтш. *viesis* → *viesoties*); *раб* → → *поработить* ≈ *сделать рабом* (ср. также болг. *роб* → *поробя*, *заробя*, швед. *slav* → *förslava*, фин. *orja* → *orjuuttaa*).

На основе вида семантической связи между ОГ и их МИ устанавливаются семантические группы ОГ. Отнесение ОГ к определенной группе производится в данной работе на основе его формулы толкования (ФТ). Толкованию подвергается ОГ с его актантами. В соответствие им ставится перифраза, состоящая из тех же актантов, а ОГ заменяется на синонимичную ему конструкцию «МИ + глагол (или глагольная группа)». Глагол толкования должен иметь значение, способное описывать некоторое количество однотипных ситуаций [1, с. 11]. Так, глаголы типа *гостить* имеют ФТ «S_1 есть S_m», типа *поработить* ФТ «S_1 каузирует S_2 быть S_m», где S_1, S_2 — актанты ОГ, а S_m — означаемое мотивирующего имени.

В зависимости от семантической функции, которую в толковании ОГ можно приписать его МИ, выделяются различные типы ОГ, например, инструментальные (их ФТ — «S_1 выполняет действие над S_2 при помощи S_m», ср.: *клей* → *клеить*, аналогично в швед. *lim* → *limma*, исп. *cola* — *encolar*, узб. *елим* → *елимламоқ*), объектные (ФТ — «S_1 совершает действие, направленное на S_m», ср. нем. *Fisch* «рыба» → *fischen* «ловить рыбу», аналогично в англ. *fish* → *to fish*, итал. *pesce* → *pescare*, литов. *žuvis* → *žuvauti*).

На выделении таких значений и определении их иерархии базируется возможное исчисление типов ОГ (см. [5]). В некоторых работах уже предпринимались попытки подобного исчисления [4, 6].

Предметом данного исследования являются ОГ трех типов: локативные, посессивные и атрибутивные. МИ локативных ОГ выполняет в толковании семантическую функцию «место», например: *земля* → *приземлить* ≈

[1] Здесь и ниже примеры, приводимые из грамматик и специальных работ, снабжены отсылками к источнику; примеры из словарей даются без указания на источник.

Таблица 1

Локативные ОГ

Подтипы (группы) ОГ и формулы толкования	Количество языков (из 50 взятых), в которых отмечены ОГ данной группы
(1а) «S_1 есть (в месте) S_m»	2
(2б) «S_1 не есть в S_m»	0
(3а) «S_1 начинает быть в S_m»	2
(4а) «S_1 начинает не быть в S_m»	7
(5а) «S_1 каузирует S_2 быть в S_m»	31
(6а) «S_1 каузирует S_2 не быть в S_m»	5

Таблица 2

Посессивные ОГ

(1б) «S_1 имеет S_m»	8
(2б) «S_1 не имеет S_m»	3
(3б) «S_1 начинает иметь S_m»	5
(4б) «S_1 начинает не иметь S_m»	0
(5б) «S_1 каузирует S_2 иметь S_m»	43
(6б) «S_1 каузирует S_2 не иметь S_m»	23

Таблица 3

Атрибутивные ОГ

(1в) «S_1 есть S_m»	3
(2в) «S_1 не есть S_m»	0
(3в) «S_1 начинает быть S_m»	34
(4в) «S_1 начинает не быть S_m»	0
(5в) «S_1 каузирует S_2 быть S_m»	26
(6в) «S_1 каузирует S_2 не быть S_m»	2

≈ *посадить на землю*. МИ посессивных ОГ обозначает «предмет обладания», ср. в индонез. isteri «жена» → *beristeri* «иметь жену» [7, с. 125]. МИ атрибутивных ОГ выражает в толковании «признак» субъекта, ср. в эск.: *юг* «человек» → *югыцы-* «быть человеком» [8, с. 66].

В задачу исследования входило: а) установление логически возможных подтипов ОГ, МИ которых в толковании выполняют семантические функции «место», «предмет обладания», «признак»; б) выявление подтипов ОГ, реализующихся в конкретных языках; в) приблизительная оценка степени типологической продуктивности каждого из реализующихся подтипов: г) характеристика ОГ с точки зрения формантов, участвующих в их образовании.

Материалом исследования послужили данные об образовании ОГ в 50 языках, полученные из грамматик, работ по словообразованию и (частично) словарей. Это следующие языки: славянские (болгарский, польский, русский, украинский, чешский); балтийские (латышский, литовский), германские (английский, датский, немецкий, норвежский, шведский), романские (итальянский, испанский, румынский, французский),

иранские (осетинский, таджикский), тюркские (азербайджанский, казахский, тувинский, турецкий, узбекский, хакасский, якутский), тунгусо-маньчжурские (нанайский, орокский, эвенкийский, эвенский), самодийские (ненецкий), палеоазиатские (алеутский, ительменский, корякский, нивхский, чукотский, эскимосский, юкагирский), угро-финские (венгерский, вепсский, коми, мансийский, марийский, финский), малайско-полинезийские (индонезийский, тагальский), индейские (аймара, кечуа, пиро), классический арабский и японский.

Набор языков не является адекватным для окончательных типологических обобщений вследствие: а) его относительно небольшого объема; б) отсутствия в наборе языков представителей большого числа семей и групп [2], что объясняется в свою очередь отсутствием данных о словообразовательной семантике вообще и, в частности, об ОГ в этих языках (это касается прежде всего африканских языков); в) неполнотой описания семантики ОГ в некоторых из языков набора, хотя он и определялся в значительной мере принципом «удобства» [9, с. 128], т. е. доступностью для автора достаточно полных описаний ОГ в том или ином языке, достаточно полных словарей, так как частотность большинства ОГ невысокая.

Синтаксические конструкции трех типов: «быть (находиться) в каком-л. месте», «иметь кого-, что-л.», «быть (существовать)» связаны отношением производности в диахроническом и семантическом аспектах [10]. Естественно предположить наличие параллелизма и у трех типов ОГ — локативных, посессивных и атрибутивных. Семантическая связь между указанными типами ОГ проявляется, в частности, в возможности осуществления логического исчисления подтипов локативных, посессивных и атрибутивных ОГ на основе одинаковых признаков: исходное значение каждого из типов — (1а) «S_1 есть S_m», (1б) «S_1 имеет S_m», (1в) «S_1 есть S_m» — может осложняться следующими признаками (и комбинациями этих признаков): «отрицание», «инхоативность», «каузативность». Исчисление логически возможных групп ОГ трех типов представлено в таблицах 1—3.

Ниже будет подробнее рассмотрен каждый из трех типов ОГ.

Локативные ОГ

(1а) Первая группа включает локативные ОГ с исходным значением «S_1 есть в (месте) S_m», ср.: алеут. *қинӯх* «кино» → *қинӯгикух* «он находится в кино» [11, с. 28], эск. *снаӄ* «берег» → *снамы-* «находиться на берегу» [12, с. 33—34]. ОГ с данным значением отмечены из привлекаемых языков, по-видимому, только в алеутском и эскимосском [3]. В остальных языках отмечены квазилокативные ОГ, обозначающие не просто «нахождение, пребывание субъекта в месте S_m», а «действие, выполняемое обычно в данном месте или связанное с данным местом семантическими ассоциациями». При этом действие может осуществляться только в данном месте, ср. в эвенк. *дӯ* «чум» → *дӯтā-* «жить в чуме» [13, с. 199], нем. *Sonne* «солнце» → *sich sonnen* «лежать на солнце, загорать». В большинстве же случаев локативные ОГ первой группы называют действие, типичное для места, обозначенного МИ, но выполняемое не обязательно в данном месте,

---

[2] О принципах составления образца, т. е. набора языков для типологического исследования, см. [9].

[3] Не исключено, что и в некоторых других языках имеются единичные ОГ этой семантики, но факт отсутствия указаний на них в использованных источниках свидетельствует по крайней мере об их непродуктивности в остальных из рассмотренных языков.

ср.: русск. *базар* → базарить, рум. *tîrg* «рынок» → *a se tîrgui* «торговаться», англ. *school* «школа» → *to school* «обучать, тренировать». Квазилокативные ОГ группы (1а)отмечены не менее чем в 31 из рассмотренных 50 языков.

(2а) Вторую логическую возможность представляет отрицательный противочлен предшествующей группы со значением «S_1 не есть в S_m». В рассмотренных языках глаголы с этим значением не отмечены.

(3а) Локативные ОГ третьей группы описываются толкованием «S_1 начинает быть в S_m», ср.: чукот. *гычурмын* «берег» → *гычурмэтык* «приставать к берегу» [14, с. 219], турецк. *at* «лошадь» → *atlanmak* «садиться верхом на лошадь».

Локативные ОГ данной группы обозначают не только начало нахождения S_1 в/на месте S_m, но и само действие (*садиться*, *приставать* и др.), приводящее к возникновению локального отношения. ОГ третьей группы отмечены не менее чем в 22 языках. Но количество самих ОГ в каждом языке незначительно. В ряде языков — алеутском, классическом арабском, кечуа, тувинском, хакасском, эскимосском, якутском — имеются квазилокативные ОГ данной группы со значением «идти, ходить, ехать, направляться в место, обозначенное МИ», ср.: кечуа *chimpa* «другая сторона» → *chimpay* «перейти на другую сторону» [15, с. 136]; тув. *көдээ* «деревня» → *көдээлс-* «ехать в деревню» [16, с. 259], хакас. *тайға* → → *тайғала-* «ходить по тайге» [17, с. 166], якут. *Москва* → *москвалаа* «ехать в Москву» [18, с. 98]. К третьему типу локативных ОГ могут быть отнесены также квазилокативные глаголы со значением «идти, пройти по чему-л.» и «пойти к кому-л.», ср.: эвенк. *дяпка* «берег» → *дяпкара-* «пройти по берегу», *дюкэ* «лед» → *дюкэрэ* «пройти по льду» [13, с. 202], эвен. *нючи* «русский» → *нючимадай* «пойти к русскому» [19, с. 169]. Квазилокативные ОГ отмечены не менее чем в 30 языках.

(4а) Единичные локативные ОГ четвертой группы со значением «S_1 начинает не быть в S_m (покидает, удаляется из S_m)» отмечены только в германских и романских языках — не менее чем в семи, ср. нем. *Ufer* «берег» → *ausufern* «выйти из берегов (о реке)», *Gleis* «рельс» → *entgleisen* «сходить с рельсов (о поезде)», ср. аналогичную пару в англ. *rails* → *to derail* и франц. *rail* → *dérailler*.

(5а) Локативные ОГ пятой группы описываются толкованием «S_1 каузирует S_2 быть в S_m», ср.: аймара *uma* «вода» → *umaruchaña* «окунуть в воду» [20, с. 127], таг. *sa araw* «на солнце» → *magsaaraw* «помещать, класть на солнце» [21, с. 111], дат. *fængsel* «тюрьма» → *fængsle* «посадить в тюрьму». От одного МИ, имеющего одно значение, или от одного лексико-семантического варианта многозначного слова могут образовываться в некоторых случаях различные по значению локативные ОГ рассматриваемой группы, ср. русск. *земля* → *заземлить*, *приземлить*. Также в разных языках существует возможность образования от существительных-эквивалентов локативных глаголов с разными значениями, ср., с одной стороны, русск. *заземлить*, *приземлить*, нем. *Erde* «земля» → *erden* «заземлять», *beerdigen* «хоронить», англ. *earth* → *to earth* «зарывать, закапывать; загонять в нору; заземлять; сажать (самолет)», швед. *jord* → *jorda* «предавать земле; заземлять» и т. д.

Локативные глаголы пятой группы отмечены не менее чем в 31 языке из числа всех языков набора.

(6а) Шестую группу локативных ОГ образуют глаголы, описываемые толкованием «S_1 каузирует S_2 не быть в S_m», ср.: франц. *parc* «загон для скота» → *déparquer* «выгонять скот из загона», нем. *Kerker* «тюрьма» →

→ *entkerkern* «освобождать из тюрьмы», дат. *spole* «катушка» → *afspole* «разматывать». Данная группа ОГ, как и все остальные с «отрицательными» ОГ, гораздо менее продуктивна в типологическом аспекте, чем ее положительный противочлен — группа (5а), и отмечена в пяти языках, но и в этих языках ОГ группы (6а) представляют собой единичные образования.

Посессивные ОГ

(1б) Исходным для посессивных ОГ является значение «S_1 имеет S_m». Собственно посессивные ОГ выражают ситуацию, в которой S_1 — одушевленный, а S_m — одушевленный или неодушевленный предмет, ср. эвен. *дю* «юрта, жилище» — *дюлаттай* «иметь юрту, жилище» [19, с. 165], ненец. *мирв* «оружие» (форма род. падежа мн. числа — *мирбе*) → *мирбець* «иметь оружие, быть вооруженным» [22, с. 171]. Продуктивность этого типа ОГ в некоторых языках весьма высокая. Так, например, в чукотском языке любое существительное, способное обозначать предмет обладания, может быть оформлено глагольными показателями и употребляться в качестве глагола-сказуемого со значением «иметь кого-, что-л.» [23, с. 218—225], т. е. образовывать ОГ. Собственно посессивные глаголы группы (1б) с S_1 — одушевленным предметом отмечены по меньшей мере в восьми языках образца (алеутском, классическом арабском, индонезийском, корякском, чукотском, эвенском, эскимосском, юкагирском). Они нетипичны для индоевропейских, тюркских, угро-финских языков.

Значение «иметь S_m» может осложняться дополнительными семантическими признаками, например, «много S_m», «хорошее/плохое S_m» — в алеутском, ср. *сайгис* «ружье» → *сайгизигакуҳ* «он имеет хорошее ружье» [11, с. 28], «много/мало S_m», «большое S_m» — в классическом арабском [24]. В алеутском, индонезийском, эвенском существуют ОГ со значением «S_1 имеет S_2 в качестве S_m», ср. эвен. *аман* «отец» → *амантадай* «иметь кого-л. отцом», *акан* «старший брат» → *акантадай* «иметь кого-л. старшим братом» [19, с. 166], индонез. *isteri* «жена» → *beristerikan* «иметь кого-л. в качестве жены» [7, с. 126—127]. Не менее чем в 20 языках имеются единичные квазипосессивные ОГ группы (1б). Они выражают локальные отношения или разновидность посессивных — отношение «часть — целое». От локативных ОГ квазипосессивные отличаются тем, что S_m обозначает здесь не место, а «предмет, находящийся в каком-л. месте». S_1 квазипосессивных ОГ — неодушевленный предмет, ср.: хакас. *порчо* «цветок» → *порчолан-* «цвести» [17, с. 167], якут. *эҥкэ* «пробоина» → *эҥкэр* «быть с пробоиной» [18, с. 133], англ. *flower* «цветок» → *to flower* «цвести», нивх. *ҳар* «червь» → *ҳарваркт'* «быть червивым» [25, с. 39].

(2б) ОГ с противоположным значением «S_1 не имеет S_m» отмечены в трех языках: ненецком, нивхском, юкагирском, ср.: ненец. *харад* «дом» → → *хардася(сь)* «не иметь дома, быть без дома» [26, с. 85], юкаг. *илэҥ* «олень» → *эл'илэн'эјэҥ* «я не имею оленей» [27, с. 176], нивх. *к'ыскаврд'* «быть несчастным» → *к'ыс* «счастье», *ҷаврд'* «не иметь» [25, с. 40] [4].

[4] В качестве ОГ в нивхском, осетинском, таджикском рассматривались здесь так называемые «аналитические» глаголы, образованные по модели «имя существительное + + глагол», как правило, служебный типа «быть», «иметь», «становиться». Статус этих образований представляет собой сложную теоретическую проблему и, видимо, неодинаков в разных языках. Несмотря на их морфологические отличия от полноценных ОГ, аналитические глаголы были включены в исследование, прежде всего по той причине, что они являются лексическими единицами, представленными в словарях, образуемыми не от каждого имени, вспомогательные глаголы в их составе десемантизированы и выполняют функцию словообразовательных аффиксов [28, с. 139].

(3б) Посессивные ОГ третьей группы имеют толкование «S_1 начинает иметь S_m», ср. таг. *bahay* «дом» → *magkabahay* «обзавестись домом» [21, с. 118], эвен. *хут* «ребенок» → *хутэлбэдэй* «обзавестись детьми» [19, с. 165]. Собственно посессивные ОГ группы (3б) отмечены в пяти языках: тагальском, хакасском, эвенкийском, эвенском, эскимосском. В ряде языков имеются квазипосессивные ОГ, обозначающие действие лица над предметом, приводящее к возникновению локативного отношения. От локативных ОГ такие посессивные глаголы отличаются тем, что S_m в толковании ОГ обозначает не место, а перемещаемый предмет, ср. чукот. *къэли* «шапка» → → *къалейпык* «надевать шапку» [14, с. 221], ср. аналогичную пару с тем же значением в кечуа: *chuci* → *chucullicuy* [15, с. 137]. Квазипосессивные ОГ с одушевленным S_1 отмечены в 8 языках.

Как и в группе (1б), во многих языках (не менее чем в 26) имеются квазипосессивные ОГ, S_1 которых — неодушевленный, а сами они выражают возникновение отношений локальных и «часть — целое», ср. англ. *feather* «перо» → *to feather* «оперяться», осет. *сала* «копоть» → *сала уын* «покрываться копотью» [28, с. 144—145], турецк. *yaprak* «лист» → *yapraklanmak* «покрываться листьями» [29]. Субъект S_1 этих глаголов обозначает чаще всего животное, растение, а S_m — плоды, ветви, перья и т. д. ОГ этого типа обозначают не просто возникновение отношения локального или «часть — целое», а определенное состояние целого S_1, обусловленное наличием, появлением у него части S_m.

Характерно, что собственно посессивные ОГ образуются, как правило, при помощи «специализированных» словообразовательных аффиксов (т. е. формирующих ОГ только одной определенной семантической группы, например, инструментальные, посессивные и т. д.), ср. значение суф. *-лба-/-лбэ-* в эвенском — «приобрести кого-, что-л.»: *атыкан* «жена» → *атыкалбадай* «приобрести жену, жениться», *хут* «ребенок» → *хутэлбэдэй* «обзавестись детьми» [19, с. 165]; только со значением «надевать что-л.» образуются в чукотском языке ОГ с суф. *-йп-/-эп-* [14, с. 221] и т. д. Квазипосессивные ОГ, выражающие локативное отношение или отношение «часть — целое», образуются при помощи «неспециализированных» аффиксов (т. е. формирующих ОГ самой различной семантики) или безаффиксальным способом. Так, например, в кечуа ОГ, выражающие наличие отношения «часть — целое» [*t'ica* «цветок» → *t'icay* «цвести», *ruru* «плод» → *ruruy* «иметь на себе плоды (о дереве)», но также и «удалять косточку из плода»], образованы безаффиксальным способом, как и ОГ другой семантики, например, объектные (с толкованием «S_1 совершает действие, направленное на S_m»: *challhua* «рыба» → *challhuay* «ловить рыбу», *ic'hu* «трава» → → *ic'huy* «косить траву»), инструментальные (с толкованием «S_1 совершает действие с помощью S_m»: *ñajch'a* «гребень» → *ñajch'ay* «причесывать», *huach'i* «стрела» → *huach'iy* «стрелять стрелами») [15, с. 135—136].

(4б) Посессивные ОГ четвертой группы имеют толкование «S_1 начинает не иметь S_m». Собственно посессивных ОГ (S_1 которых — обладатель предмета S_m, которого он лишается в ситуации, описываемой высказыванием с ОГ данной группы) в рассмотренных языках не отмечено.

Квазипосессивные ОГ группы (4б) выражают ситуацию разрыва локальных отношений или отношения «часть — целое»; они отмечены не менее чем в 15 языках. Так, в чукотском с помощью суф. *-тв-* образуются ОГ со значением «снимать S_m», ср. *къэли* «шапка» → *къэлитвык* «снимать шапку», *лилит* «рукавицы» → *лилитвык* «снимать рукавицы» [14, с. 221—222]. Квазипосессивы с отрицательным значением «начинать не иметь S_m» в остальных 14 языках выражают ситуацию разрыва отношения «целое —

часть», ср. нем. *Haar* «волосы, шерсть» → *haaren* «линять», англ. *peel* «корка, кожица» → *to peel* «шелушиться, сходить (о коже)». ОГ данного типа, так же, как квазилокативы и квазипосессивы других групп, выражают «удаление», «лишение» т. е. разрыв локальных, посессивных отношений лишь с точки зрения логического анализа ситуаций, репрезентируемых этими ОГ. С точки зрения номинации эти ОГ возникают как наименования наиболее обычных, характерных действий, связанных с предметом S_m, ассоциирующихся у носителей языка с частью S_m предмета (животного, лица) S_1. Собственно «лишение» обозначают приставочные квазипосессивные ОГ некоторых славянских, германских языков, ср. русск. *память* → *обеспамятеть*, англ. *form* «форма» → *to deform* «деформироваться», т. е. «потерять форму», нем. *Art* «род, вид» → *entarten* «выродиться».

(5б) Посессивные ОГ пятой группы имеют толкование «S_1 каузирует S_2 иметь S_m». Это так называемые орнативные глаголы, или глаголы снабжения, ср. русск. *оружие* → *вооружать*, аналогичная пара в укр. *зброя* — *озброїти*, итал. *arme* → *armare*, азерб. *силаһ* — *силаһландырмаг* и т. д. ОГ данной группы являются, по-видимому, наиболее продуктивными в типологическом аспекте [30, с. 11]. Они отмечены не менее чем в 43 из 50 языков (отсутствуют или крайне непродуктивны, например, в ненецком, осетинском, тагальском, японском). Следует указать, что в каждом отдельном языке преобладают ОГ, выражающие каузирование не собственно посессивных отношений типа «оружие → вооружать», а отношений локальных или «часть — целое», ср. русск. *стекло* → *стеклить*, аналогично в тув. *шил* → *шилде*, нем. *Glas* → *verglasen*; русск. *соль* → → *солить*, ср. эту же пару в норв. *salt* → *salte*, узб. *туз* → *тузламоқ* и т. д.

(6б) Толкование посессивных ОГ шестой группы — «S_1 каузирует S_2 не иметь S_m». Это так называемые приративные ОГ, обозначающие ситуацию разрыва посессивных отношений, ср. русск. *оружие* → *обезоружить*, аналогично в болг. *оръжие* → *обезоръжа*, итал. *arme* → *disarmare*, швед. *vapen* → *avväpna* и т. д., пиро *pxi* «дом» → *kopxi* «отнимать дом, лишать дома» [31, с. 85—87]. Как и в группе (5б), здесь ОГ выражает чаще локативные отношения и «часть — целое», ср. англ. *head* «голова» → *to behead* «обезглавить», нем. *Blut* «кровь» → *entbluten* «обескровить». Характерным для ОГ данной группы в разных языках является их образование с помощью «специализированных» аффиксов, преимущественно приставок (так, в русском это приставка *обез-*, в немецком *ent*,- английском *be-*, пиро *ko-* — см. примеры выше) или «частично специализированных». Под последними здесь понимаются словообразовательные аффиксы, продуктивные в образовании ОГ с данным значением, но образующие также и ОГ с другими значениями, так, с помощью суф.-*у-*/-*о-* в чукотском языке образуются ОГ с приративным значением, ср. *чааттэ* «арканы» → *чааток* «отнимать арканы», *пойгыт* «копья» → *пойгок* «отнимать копья» [14, с. 223—223], но также и ОГ с другими значениями: «добывание животного», ср. *ръэвыт* «киты» → *ръэвук* «добывать китов» и «употребление в пищу», ср. *понты* «печень» → *понток* «есть печень» [14, с. 222]. В целом ОГ группы (6б) отмечены не менее чем в 23 языках.

Атрибутивные ОГ

(1в) Первая, исходная группа атрибутивных ОГ описывается толкованием «S_1 есть S_m», ср. русск. *символ* → *символизировать*, эск. *юг* «человек» → *югыцы-* «быть человеком», *пуругых* «копье» → *пуругыгыцы-* «быть

копьем» [8, с. 66]. ОГ с данным значением в юкагирском языке могут быть образованы от основы каждого существительного посредством суф. *-ҥо-*, ср. в колымском диалекте: *шоромо* «человек» → *шоромонод'э* «я человек есьм» [27, с. 180]. В чукотском существительные могут иметь форму лица, оформляясь глагольными показателями и употребляясь в качестве сказуемого со значением «быть кем-, чем-л.» [23, с. 218—225], т. е. образовывать безаффиксные ОГ. Глагольная парадигма этих ОГ отлична от парадигмы посессивных глаголов, ср. группу (1б), например: *ҥинҵэй* «мальчик» → *ҥинҵэйигыт* «мальчик (ты)» и *гэҥинҵэйигыт* «(ты) мальчика(ов) имеешь». Собственно атрибутивные ОГ первой группы типологически непродуктивны. В качестве продуктивного типа они отмечены, по-видимому, из языков образца только в чукотском, эскимосском и юкагирском.

Бóльшая же часть ОГ группы (1в) обозначает не просто «быть S_m», а «работать в качестве S_m», «выполнять действия, свойственные S_m», «вести себя подобно S_m», т. е. являются квазиатрибутивными. При этом в отношении тождества между S_1 и S_m возможны 3 случая: 1) S_1 есть S_m, ср. русск. *директор* → *директорствовать*, индонез. *kuli* → *berkuli* «быть кули, работать в качестве кули» [7, с. 128], коми: *ныв* «девушка» → *нылавны* «пребывать в девицах» [32, с. 145]; 2) ОГ, мотивированные именами — названиями лиц по профессии, черте характера, занятию, поведению, могут относиться как к лицу S_1, которое есть S_m, так и к лицу S_1, которое не является S_m, ср. русские ОГ, выражающие как профессиональную, так и непрофессиональную деятельность: *слесарить*, *плотничать*, *столярничать* [33, с. 149]; 3) типологически продуктивным является тип ОГ, основанных на сравнении S_1 с S_m, ср. русск. *обезьяна* → *обезьянничать*, аналогично нем. *Affe* → *äffen*, англ. *ape* → *to ape*, фин. *apina* → *apinoida*, казах. *маймыл* → *маймылдану*. Квазиатрибутивные ОГ образуются, как правило, при помощи неспециализированных аффиксов или безаффиксальным способом (например, в германских, романских, тюркских языках). Реже встречаются квазиатрибутивные ОГ, образованные при участии специализированных или частично специализированных аффиксов. Так, в русском языке с суффиксами *-нича-*, *-ствова-* от существительных — названий лиц образуются ОГ со значением «заниматься тем, что свойственно лицу»: *лентяйничать*, *профессорствовать* [33, с. 141]. В тагальском, эскимосском, японском языках имеются ОГ со специализированными аффиксами, обозначающие «быть похожим на», ср. эск. *нахсях* «женщина» → → *нахсяхсюгын-* «быть похожим на женщину», *аҥйыҳ* «байдара» → *аҥйыҳсюгын-* «быть подобным байдаре» [8, с. 66]. В японском, где ОГ в целом малопродуктивны, существует целый ряд суффиксов со значением «иметь вид, быть похожим на кого-л.», «казаться кем-л.», «выдавать себя за кого-л.», например: *отона* «взрослый человек» → *отонабиру* «казаться взрослым», *отонабуру* «выдавать себя за взрослого, поступать, как взрослый» [34]. В эскимосском и эвенском языках имеются квазиатрибутивные ОГ со специализированными аффиксами, обозначающие «S_1 имитирует S_m, играет в S_m», ср. эвен. *орон* «домашний олень» → *оркаттай* «изображать оленей, играть в оленей» [19, с. 167], эск. *айвыҵ* «морж» → *айвыҵирагутаҵут* «они играют в моржей» [12, с. 35]. Квазиатрибутивные ОГ группы (1в) отмечены не менее чем в 42 языках.

(2в) Атрибутивные ОГ второй группы со значением «S_1 не есть S_m», по-видимому, отсутствуют в языках набора.

(3в) Атрибутивные ОГ третьей группы описываются толкованием «S_1 начинает быть S_m», они продуктивны в типологическом аспекте — отмечены не менее чем в 34 языках набора, ср. русск. *камень* → *окаменеть*,

аналогично чеш. *kámen* → *zkamenět*, дат. *sten* → *forstene*, фин. *kivi* → *kivettyä*, азерб. *даш* → *дашлашмаг*; русск. *сирота* → *осиротеть*, аналогично польск. *sierota* → *osierocieć*, фин. *orpo* → *orpoutua* и т. д. Значение ОГ данной группы может быть совмещенным со значением ОГ группы (1в), ср. в русском ОГ «вдоветь» может обозначать как «превращаться в S_m», так и «быть S_m» [33, с. 136]. Регулярной является совмещенность этих значений у тагальских ОГ с преф. *mag-*: *makata* «поэт» → *magmakata* «быть, стать поэтом», *bugaw* «сводник» → *magbugaw* «быть, стать сводником» [21, с. 109].

Наряду с атрибутивными ОГ в языках, где они отмечены, имеются и квазиатрибутивные ОГ, основанные на сравнении S_1 с S_m, ср. русск. *зверь* → → *озвереть*, аналогично литов. *žvėris* → *sužvėrėti*, исп. *bestia* → *abestiarse*, нем. *Tier* → *vertieren*, нан. *усэлтэ* → *усэлтэнэ-* [35, с. 18] и т. д. Во многих языках рассматриваемое здесь значение связано со специализированными или частично специализированными аффиксами, при этом с помощью одних и тех же аффиксов могут быть образованы и атрибутивные, и квазиатрибутивные ОГ, ср. в русском модель «*о* + МИ + *е* (*ть*)» или «*о* (*б*) + МИ + + *и*(*ть*) + *ся*»: *осиротеть*, *обуглиться* (атрибутивные ОГ) и *обалдеть*, *озвереть* (квазиатрибутивные ОГ); в аймара ОГ группы (3в) образуются с суффиксами *-pta-/-quipta-*: *uma* «вода» → *umaptaña* «превратиться в воду» (атрибутивный ОГ) и *puma* «пума» → *pumaquiptaña* «стать храбрым, злым, как пума» (квазиатрибутивный ОГ) [20, с. 127]; в немецком продуктивным аффиксом в этой группе является преф. *ver-*: *Waise* «сирота» → *verwaisen* «осиротеть» (атрибутивный ОГ) и *vertieren* (см. выше — квазиатрибутивный ОГ).

(4в) Атрибутивные ОГ четвертой группы с толкованием «S_1 начинает не быть S_m» не отмечены в работах и словарях, на которых основано исследование. Но подтверждением логической возможности существования таких ОГ могут служить единичные окказиональные ОГ с преф. *aus-* в немецком, ср.: *Bürgermeister* «бургомистр» → *sich ausbürgermeistern* букв. «отбургомистриться», т. е. «перестать быть бургомистром» [36].

(5в) Атрибутивные ОГ пятой группы имеют значение «S_1 каузирует S_2 быть S_m», ср. русск. *раб* → *поработить*, аналогично швед. *slav* → *forslava*, исп. *esclavo* → *esclavizar*, рум. *rob* → *a înrobi*. ОГ данной группы отмечены в 26 языках, они отсутствуют (или, по крайней мере, малопродуктивны, поскольку не отмечены в работах) в палеоазиатских, малайско-полинейзийских и индейских языках. Характерно, что в данной группе непродуктивны ОГ, основанные на сравнении S_2 с S_m типа русск. *божество* → *обожествлять*, аналогично в нем. *Gott* → *vergotten*, англ. *god* → *to god*.

В тунгусо-маньчжурских, некоторых тюркских языках имеются ОГ со значением «считать, принимать, признавать в качестве S_m», ср. нан. *най* «человек» → *найси-* «принять за человека» [37], *мапа* «медведь» → *мапаси-* «принять за медведя» [35, с. 19], тув. *эжим* «мой товарищ» → *эжимзин-* «считать своим товарищем» [16, с. 268]. В качестве квазиатрибутивных можно рассматривать здесь также ОГ со значениями «обращаться с S_2, как с S_m», «называть S_2 именем S_m», ср. якут. *ыт* «собака» → *ыттаа* «обзывать собакой» [18, с. 100], но ср. в нем. *Hund* «собака» → *hunzen* устарев. «обращаться, как с собакой, ругать»; венг. *úr* «господин» → *úrazni* «называть господином» [38]. Квазиатрибутивные ОГ группы (5в) отмечены не менее чем в 32 языках.

(6в) ОГ шестой группы со значением «S_1 каузирует S_2 не быть S_m», по-видимому, типологически непродуктивны. Указание на их наличие в использованных источниках отсутствует. Реализацию этого типа можно проил-

люстрировать единичными образованиями типа русск. *кулак* → *раскулачить*. В немецком языке, где корпус ОГ был получен путем сплошной выборки из словарей, среди 3,5 тыс. ОГ было отмечено лишь 7 глаголов этой группы: *Sklave* «раб» → *entsklaven* «освободить от рабства», *Mensch* «человек» → *entmenschen* «лишить человеческого облика» (квазиатрибутивный ОГ). Все 7 немецких ОГ образованы с помощью префиксов *aus-* и *ent-*.

Основные выводы

1. Локативные, посессивные и атрибутивные ОГ обнаруживают семантические взаимосвязи, выражающиеся, в частности: а) в возможности исчислить виды значений ОГ всех трех типов путем осложнения семантически исходных значений «S_1 есть в (месте) S_m», «S_1 имеет S_m», «S_1 есть S_m» одними и теми же признаками: «отрицание», «инхоативность», «каузативность»; в) в образовании ОГ семантически параллельных групп в ряде языков при помощи одних и тех же аффиксов, ср. образование ОГ групп (5а) «S_1 каузирует S_2 быть в S_m» и (5б) «S_1 каузирует S_2 иметь S_m» в аймара при помощи суф. *-cha-*; (5а) *uma* «вода» (*umaru* — направ. падеж)→ → *umaruchaña* «окунать, погружать в воду» — (5б) *uman* (инструм. падеж)→ → *umanchaña* «смачивать, поливать водой» [20, с. 126—127]; ср. также образование ОГ групп (6а), (6б), (6в) в немецком с помощью префиксов *aus-* и *ent-*: (6а) «S_1 каузирует S_2 не быть в S_m»: *Kerker* «тюрьма» → *entkerkern* «освобождать из тюрьмы» — (6б) «S_1 каузирует S_2 не иметь S_m»: *Waffe* «оружие» → *entwaffnen* «обезоружить» — (6в) «S_1 каузирует S_2 не быть S_m»: *Sklave* «раб» → *entsklaven* «освободить от рабства».

2. Из трех типов ОГ наиболее продуктивными типологически являются посессивные ОГ. В каждом из трех типов ОГ выделяются три группы ОГ с положительным и три группы ОГ с отрицательным значением (см. табл. 1—3). В отношении типологической продуктивности отдельных групп ОГ можно отметить следующее:

а) все группы ОГ с положительным значением отмечены в части языков образца (но ни одна группа не отмечена во всех языках);

б) из 9 групп ОГ с отрицательным значением только 6 групп отмечены — каждая в небольшом количестве языков (см. табл. 1—3);

в) среди групп ОГ и с положительным, и с отрицательным значением менее продуктивными в типологическом аспекте являются группы «статичных» ОГ, т. е. обозначающих «состояние» — см. группы (1а), (2а), (1б), (2б), (1в), (2в).

г) каждая из групп с положительным значением более продуктивна типологически, чем ее отрицательный противочлен, ср. группы (1а) и (2а), (3а) и (4а), (5а) и (6а) и т. д.;

д) среди ОГ с положительным значением наиболее продуктивной в типологическом отношении является группа каузативных посессивных ОГ (5б), а среди групп отрицательных ОГ — отрицательный противочлен группы (5б) — группа (6б).

3. На основании анализа наличия/отсутствия в отдельных языках групп ОГ с положительным и отрицательным значением может быть сформулирована (в качестве тенденции) следующая импликация: если в определенном языке имеется определенная группа локативных, посессивных или атрибутивных ОГ с отрицательным значением, то в этом языке имеется и ее положительный противочлен, т. е., например, если в языке имеются ОГ группы (2а), то можно с большой степенью вероятности предположить и наличие ОГ группы (1а).

4. В большинстве групп имеются глаголы, значения которых не совпадают с толкованиями собственно локативных, посессивных и атрибутивных ОГ, они обозначены здесь как квазилокативные, квазипосессивные и квазиатрибутивные ОГ. Эти глаголы часто неоднородны по значению в пределах одной группы. Они более продуктивны типологически, чем собственно локативные, посессивные и атрибутивные ОГ, что позволяет сформулировать (в качестве тенденции) следующую импликацию: если в языке имеются собственно локативные, посессивные или атрибутивные ОГ в определенной группе, то в этом языке можно с большой степенью вероятности предположить и наличие квазилокативных, квазипосессивных или квазиатрибутивных ОГ этой же группы.

5. ОГ рассматриваемых типов могут образовываться с помощью двух различных видов аффиксов. Один вид — специализированные, т. е. такие, с помощью которых образуются ОГ только данной семантики [см. подробнее в группе (3б)], или частично специализированные, т. е. такие, аффиксы которых продуктивны в образовании ОГ с данным значением, но также участвуют и в образовании ОГ другой семантики [см. подробнее в группе (6б)]. Второй вид аффиксов — неспециализированные. С их помощью, так же как и безаффиксальным способом, образуются ОГ различной семантики. Характерно, что специализированные аффиксы преобладают:

а) в группах ОГ с положительным значением, непродуктивных в типологическом аспекте — см. выше (1а), (1б), (3б), (1в);

б) во всех группах ОГ с отрицательным значением — см. (4а), (6а), (2б) и т. д.

Этот факт можно объяснить тем, что значительная часть локативных, посессивных и атрибутивных ОГ с положительным значением выражает действие, которое обычно ассоциируется у носителей данного языка с денотатом мотивирующего имени (например: *соль — солить*, *оружие — вооружать* и т. п.). Действия же разрыва локальных, посессивных и атрибутивных отношений, иначе действия, выражаемые глаголами с отрицательным значением, редко связаны у носителей языка устойчивой ассоциативной связью с денотатами мотивирующих имен (исключения составляют имена типа «шелуха», «кожура», «шкура» и т. п.— действием, обычно ассоциирующимся с этими именами, является именно действие удаления, ср. в русском языке *шелуха → шелушить*, нем. *Schale → schälen*, англ. *peel → to peel* и т. д.). Поэтому выражение действия разрыва отношений осуществляется в большинстве случаев при участии словообразовательных аффиксов с четким значением удаления, отделения, лишения чего-либо. И в языках типа германских, славянских, в которых суффиксы не имеют четких значений, связанных с локальными, а через них — с посессивными и атрибутивными значениями, такими показателями являются приставки [39].

В тех языках, где наряду с суффиксальным (или суффиксальным и безаффиксальным) развито приставочное образование ОГ (в нашем случае это — славянские, балтийские, немецкий, в меньшей степени — другие германские языки, а также пиро), ОГ со специализированными префиксами преобладают именно в группах ОГ с отрицательным значением — см. примеры в группах (6а), (6б), (6в). Следует отметить, что и сами отрицательные ОГ отмечены преимущественно в языках, в которых имеется приставочное образование ОГ,— исключение составляет тип посессивных ОГ, все группы отрицательных ОГ этого типа представлены в некоторых агглютинативных языках суффиксального типа [см. выше группы (2б), (6б)].

Сказанное в пункте 5 позволяет сформулировать следующие импликации:

1) Если в языке имеются группы ОГ с отрицательным значением, то можно предположить с большой степенью вероятности, что ОГ этих групп образуются с помощью специализированных аффиксов;

2) если в языке наряду с суффиксальным (и/или безаффиксальным) развито приставочное образование ОГ, то можно предположить, что отрицательные ОГ образуются при помощи приставок, имеющих специализированное значение;

3) если в языке развито приставочное образование ОГ, то в нем выше вероятность наличия отрицательных ОГ, чем в языке, в котором приставочное образование ОГ отсутствует.

6. Наборы значений ОГ трех рассматриваемых типов в отдельных языках позволяют сгруппировать, с одной стороны, генетически родственные языки. Так, выше указывалось, что (квази)локативные и (квази)атрибутивные ОГ с отрицательным значением отмечены преимущественно в индоевропейских языках. С другой стороны, одинаковое значение оказывается присущим неродственным языкам. При этом данное значение может объединять: а) языки, относящиеся к одному ареалу или близким ареалам, например, посессивные ОГ группы (2б) отмечены в ненецком, нивхском, юкагирском языках; б) языки, относящиеся к разным ареалам, ср. посессивные ОГ группы (1б), представленные, с одной стороны, в языках северо-восточной Азии (алеутском, эвенском, чукотском, юкагирском, эскимосском), с другой стороны, в языках других ареалов (классическом арабском, индонезийском).

7. В данном исследовании подтвердился ряд положений, выдвинутых в теории «морфологической естественности» (см., например, [40]), в частности, следующие: отрицательные категории типологически менее продуктивны, чем положительные; отрицательные категории (как и все небазисные) оформляются морфологически сложнее, чем положительные; динамичные глаголы продуктивнее, чем статичные.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Волоцкая З. М.* Опыт описания деривативных значений (на материале русского и польского языков): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1972.
2. *Севортян Э. В.* Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. (Опыт сравнительного описания). М., 1962.
3. *Marchand H.* Die Ableitung desubstantivischer Verben mit Nullmorphem im Englischen, Französischen und Deutschen.— Die neueren Sprachen, 1964, № 3.
4. *Гинзбург Е. Л.* Существительное в маске глагола.— В кн.: Теоретические аспекты деривации. Пермь, 1982.
5. *Кубрякова Е. С.* Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981, с. 122.
6. *Lonngren L.* On the semantics of Russian verbs derived from nouns.— In: The Slavic verb. Copenhagen, 1981.
7. *Алиева Н. Ф., Аракин В. Д., Оглоблин А. К., Сирк Ю. Х.* Грамматика индонезийского языка. М., 1972.
8. *Меновщиков Г. А.* Язык сиреникских эскимосов. М.— Л., 1964.
9. *Bell A.* Language samples.— In: Universals of human language. V. I. Method and theory. Ed. by Greenberg J. H. Standford, 1978.
10. *Lyons I.* A note on possessive, existential and locative sentences.— Foundations of language, 1967, v. 4, № 4.
11. *Головко Е. В.* Отыменные глаголы в алеутском языке.— В кн.: Лингвистические исследования. 1983. Синтаксический анализ предложения. М., 1983.
12. *Меновщиков Г. А.* Грамматика языка азиатских эскимосов. Ч. II. Л., 1967.

13. *Константинова О. А.* Эвенкийский язык. Фонетика. Морфология. М.— Л., 1964.
14. *Скорик П. Я.* Грамматика чукотского языка. Ч. II. Глагол, наречие, служебные слова. Л., 1977.
15. *Middendorf E. W.* Das Runa Simi oder die Keshua-Sprache, wie sie gegenwärtig in der Provinz von Cusco gesprochen wird. Leipzig, 1890.
16. *Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А.* Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология. М., 1961.
17. Грамматика хакасского языка. Под ред. Баскакова Н. А. М., 1975.
18. *Харитонов Л. Н.* Типы глагольной основы в якутском языке. М.— Л., 1954.
19. *Цинциус В. И.* Очерк грамматики эвенского (ламутского) языка. Ч. I. Л., 1947.
20. *Middendorf E. W.* Die Aimara-Sprache. Leipzig, 1891.
21. *Рачков Г. Е.* Введение в морфологию современного тагальского языка. Л., 1981.
22. *Терещенко Н. М.* Очерк грамматики ненецкого (юрако-самоедского) языка. Л., 1947.
23. *Скорик П. Я.* Грамматика чукотского языка. Ч. I. Фонетика и морфология именных частей речи. М.— Л., 1961.
24. *Fleisch H.* Les verbes dénominatifs en Arabe classique. Ire forme et formes dérivées.— In: La signification du bas moyen âge dans l'histoire et la culture du monde musulman: Actes du 8-e Congres de l'union européenne des arabisants et islamisants. Aix-en-Provence, Septembre 1976. Aix-en-Provence, 1978, p. 70—72.
25. *Отаина Г. А.* Качественные глаголы в нивхском языке. М., 1978.
26. *Терещенко Н. М.* Материалы и исследования по языку ненцев. М.— Л., 1956.
27. *Крейнович Е. А.* Юкагирский язык. М.— Л., 1958.
28. *Габараев Н. Я.* Морфологическая структура слова и словообразование в современном осетинском языке. Тбилиси, 1977.
29. *Кононов А. Н.* Грамматика современного турецкого литературного языка. М.— Л. 1956, с. 258.
30. *Калиущенко В. Д.* Опыт типологии отсубстантивных глаголов (на материале языков разных семей).— Съпоставително езикознание, 1984, № 2.
31. *Matteson E.* The Piro (Arawakan) language. Berkeley — Los Angeles, 1965.
32. *Бубрих Д. В.* Грамматика литературного коми языка. Л., 1949.
33. *Улуханов И. С.* Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания. М., 1977.
34. *Пашковский А. А.* Слово в японском языке. М., 1980, с. 114.
35. *Аврорин В. А.* Грамматика нанайского языка. Т. 2. М.— Л., 1961.
36. *Недялков В. П.* Смысловые ряды немецких глаголов с компонентами *aus-*, *heraus-*, *hinaus-*: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1961, с. 14.
37. *Суник О. П.* Глагол в тунгусо-маньчжурских языках. М.— Л., 1962, с. 110.
38. *Майтинская К. Е.* Венгерский язык. Ч. II. Грамматическое словообразование. М., 1959, с. 122.
39. *Крушевский Н. В.* Очерк науки о языке. Казань, 1883, с. 83.
40. *Mayerthaler W.* Ikonismus in der Morphologie.— Zeitschrift f. r Semiotik, 1980, Bd. 2. Hf. 1/2, S. 29—30.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1987

КРЕЙДЛИН Г. Е., ПОЛИВАНОВА А. К.

О ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ СЛУЖЕБНЫХ СЛОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

К числу служебных обычно относят слова, не попавшие в разряд бесспорных существительных, глаголов, прилагательных, числительных, местоимений и наречий. Не имея «самостоятельного» номинативного значения, не имея словоизменения, они составляют некую аморфную массу как бы не подлежащих систематическому описанию лексических единиц. Действительно, поведение каждого отдельного слова из числа «служебных» почти что уникально, а выявление principium divisionis даже для таких общеизвестных групп, как «союз», «предлог», «частица», наталкивается на серьезные трудности: недопустимо велико число лексических единиц, просто выпадающих из классификации. Уже одно это свидетельствует о том, что содержательное межлексемное сопоставление служебных слов невозможно без выявления и фиксации большого числа разнородных параметров, и предполагает в качестве предварительного этапа подробное лексикографическое описание сопоставляемых единиц. Подчеркнем, что утверждение необходимости сплошного лексикографического обследования этой области отнюдь не означает утверждения отсутствия системности в ее организации.

В настоящей статье представлены первые результаты предпринятой авторами работы по составлению словаря служебных слов русского языка [1]. Статья состоит из трех параграфов: в § 1 — обсуждаются самые общие принципы, положенные в основу составления словаря; в § 2 — приводится краткое описание схемы словарной статьи, в § 3 — даются образцы статей.

§ 1. О семантико-синтаксических особенностях служебных слов

Задача создаваемого словаря — описать поведение служебных слов в тексте. Каждая отдельная статья строится с таким расчетом, чтобы читатель мог, во-первых, оценить произвольное речевое произведение, содержащее данное служебное слово, как правильное относительно данного слова (т. е. предусмотренное и не запрещенное словарем), или неправильное (т. е. как запрещенное словарем), или, наконец, как потенциальное (т. е. не предусмотренное, но и не запрещенное); во-вторых, определить возможный спектр осмыслений речевого произведения, содержащего данное служебное слово, при условии, что ему известны возможные осмысления остаточной части или остаточных частей анализируемого речевого произведения. Оказалось, что найденный способ решения поставленной задачи

[1] Хотя основная цель составления словаря — получение данных, необходимых для решения ряда чисто исследовательских задач, оформление словаря допускает его практическое использование читателями разных категорий — от школьников до профессиональных лингвистов.

снимает актуальность известного вопроса о том, имеют ли служебные слова лексические (или номинативные) значения. В рамках настоящей статьи этот вопрос не может быть не только обсужден, но даже и поставлен с надлежащей строгостью, т. к. прежде всего необходимо было бы уточнить само понятие лексического значения.

Если принять, что самостоятельным словам отвечают семантемы, в норме незамкнутые семантемы (т. е. выражения, состоящие из семантических констант и переменных), замыкаемые в речевом употреблении, то служебным словам отвечают образования иного рода — это операторы, операндами которых являются замкнутые семантемы или связки таких семантем (т. е. это сущности, не имеющие фиксированных образов в модели). Результат применения оператора к своим операндам (в данном случае, служебных слов к обрабатываемым семантемам или связкам семантем, в частности, «предложениям») — это сущность иногда того же сорта, что и операнды (или один из операндов), а иногда — сущность другого сорта [2]. Ср., с одной стороны, *Этот стол Петя сделал сам* и *Этот стол, включая ножки, Петя сделал сам* или *пирожок* и *пирожок с вареньем*, с другой стороны: *Петя пришел* и *Тем не менее, Петя пришел* или *Вопрос остался нерешенным* и *Тем самым, вопрос остался нерешенным* [3].

В указанном аспекте служебные слова сближаются с семантически наполненными грамматическими категориями типа глагольного вида в русском языке или артикля современных европейских языков, функция которых сводится к указанию об определенном способе преобразования интерпретации лексем — носителей этих грамматических противопоставлений [4].

Отметим, что грамматические категории операторного рода формируют, как и всякие другие грамматические категории, оппозиции, а слова-семантемы в норме не организуются в оппозиции; тогда как служебные слова, будучи операторными, по своему существу не организуются в оппозиции, так же как и слова-семантемы [5]. Вопрос о том, следует ли смысловое содержание служебных слов называть тем не менее значением или его следует называть как-то иначе — это уже вопрос терминологический и потому скорее всего несущественный.

Служебные слова предъявляют очень жесткие требования к контексту, назначение которых в целом — обеспечить применимость тех логико-семантических операций, которые заключены в данном служебном слове. Однако оказывается, что эти требования, даже в тех случаях, когда их удается сформулировать в явном виде, носят подчас непривычный для классической лексической семантики характер: их нельзя квалифицировать ни как собственно синтаксические, ни как поверхностно- или глу-

---

[2] Под семантическими константами понимаются смысловые атомы, термы и т. п., т. е. единицы, получающие фиксированные объектные образы в модели. Отметим также, что под сортами сущностей понимаются типы объектов в том смысле, как это принято в многосортных логиках.

[3] Заметим, что среди служебных слов есть такие, которые требуют односортности своих операндов (таковы, например, простейшие сочинительные союзы), но есть и такие, операнды которых непременно разносортные (например, *включая*, *даже*, *только*). Это деление — едва ли не самое важное, определяющее всю систему служебных слов.

[4] Лингвистическое осмысление особенностей обсуждаемого типа смысловых механизмов естественных языков впервые предложил Р. О. Якобсон в своей известной статье о «шифтерах» [1].

[5] В этой связи хочется подчеркнуть, что из двух крайне упрощающих позиций (игнорирующих факт обсуждаемого различия в статусе лексических единиц) практически более эффективной представляется позиция, рассматривающая «все слова вообще как операторы», а не «все слова вообще как константные семантемы». В самом деле, любое слово — это скорее определенная инструкция к выработке интерпретации, чем просто имя определенного фрагмента модели действительности.

бинно-семантические. Содержательно эти требования сводятся к возможности в ы я в и т ь и о с м ы с л и т ь какие-то определенные компоненты контекста каким-то определенным образом. Так, например, неправильность предложения* *Хорошо тому, у кого есть дети, включая дочь* следует, на наш взгляд, из того, что остаточная часть этого предложения *Хорошо тому, у кого есть дети...* не позволяет с достаточной определенностью осмыслить то «целое», в которое входит элемент «дочь», между тем как интерпретация речевого произведения с оборотом *включая X* требует интерпретации целого множества *M* и его части (или элемента) *X*, включение которого в это целое и утверждается данным оборотом. Ср.: *Хорошо тому, у кого есть все учебные пособия, включая карты*. Множество *M*, названное здесь «все учебные пособия», то ли включает «карты», то ли нет. Необходимо также, чтобы *X*, включение которого в *M* утверждается, лежало бы на периферии множества *M*, а не в его центре, т. е. чтобы соответствующее множество *M* (т. е. *M* без *X*) достаточно естественно осмыслялось как уже целое. Поэтому из двух предложений *У него есть все английские авторы, включая Шекспира* и *У него есть все английские авторы, включая Остин* первое более естественно с прагматической точки зрения (см. статью ***включая*** в § 3).

Лексикографическая практика последних десятилетий, отправляясь от пионерских работ Московской семантической школы, утвердила тезис, согласно которому каркас данного слова составляет его толкование и ограничения на заполнение мест. Как известно, информация, содержащаяся в этих двух зонах, допускает известное перераспределение, а принципиальных соображений, определяющих границы между ними, сформулировано в явном виде не было. Тем не менее, сообразуясь с интуицией и укоренившейся традицией, лексикограф-практик способен оценить с той или иной степенью уверенности, относятся ли данные сведения к компетенции «толкования» или к компетенции «ограничений». В этом смысле можно считать общепризнанным утверждение, в соответствии с которым, если речь идет о служебных словах, то основная масса информации сосредоточена в ограничениях на заполнение мест (ср. [2]). Единообразная лексикографическая обработка достаточно представительного корпуса служебных слов русского языка позволяет дать следующее теоретическое осмысление этого наблюдаемого явления.

Предмет лексической семантики — полнозначные слова (или, во всяком случае, в первую очередь — полнозначные слова). Задачи этой лингвистической дисциплины удается сформулировать, опираясь на понятие синонимических преобразований, без привлечения представлений об интерпретации (т. е. без привлечения теоретико-модельных приемов исследования). Напомним в этой связи, что одно из наиболее фундаментальных исследований последних лет в области лексической семантики — монография Ю. Д. Апресяна [3] имеет подзаголовок «Синонимические средства языка», т. е. задача описания семантики лексических единиц решается в данной монографии единственно через посредство синонимических и квазисинонимических преобразований. Служебные слова, на наш взгляд, естественно рассматривать в рамках той дисциплины, которую можно было бы назвать интерпретационной семантикой, дисциплины, задачи которой не могут быть сформулированы без привлечения теоретико-модельных приемов исследования [6].

[6] Вопрос о том, можно ли тем не менее построить адекватное описание служебных слов в рамках понятийного аппарата классической лексической семантики, никоим образом не может получить a priori отрицательного ответа. Здесь мы сталкиваемся

Проблемы интерпретации языковых выражений успешно разрабатываются в прикладной лингвистике, имеющей дело с резким сужением как разнообразия языковых форм, так и разнообразия предметной области (см., например, из отечественных авторов работу [5]). В теоретической лингвистике, имеющей дело с неограниченным разнообразием естественно-языковых форм и неограниченным разнообразием действительного мира, описываемого этими формами, соответствующая проблематика почти совсем не разрабатывается [7]. Соответственно, адекватный понятийный аппарат еще не создан, адекватный инструмент описания не сформировался. Оглядываясь назад, можно заметить, что разработка понятийного аппарата современной семантики сопровождалась постепенным проникновением в лингвистический обиход отдельных понятий и символики, взятых из математической логики. Этому сопутствовало непрерывное накопление новых лингвистических данных, однако прямое заимствование аппарата математической логики отнюдь не всегда оказывалось удачным. Тем более не может быть и речи о прямом заимствовании в случае интерпретационной семантики. Разработка аппарата интерпретационной семантики в применении к естественному языку — задача весьма сложная в силу следующих двух обстоятельств: во-первых, теоретико-модельное исследование фактов естественного языка сопряжено с целым рядом серьезных теоретических проблем, не получивших ясной разработки и в самой логике, во-вторых,— и это главное — в самой лингвистике отсутствует необходимый фонд надежных эмпирических исследований. Таким образом, создается как бы замкнутый круг: для повышения надежности конкретных исследований необходимо создание аппарата, которое тормозится отсутствием экспериментальных данных. В сложившейся ситуации мы считаем наиболее целесообразным, и, может быть, единственно возможным некоторый компромисс: не спешить с доведением разрабатываемого понятийного аппарата до необходимого уровня формальной строгости, но, оставляя известную меру произвольности и приближенности, собрать вместе данные, представляя их в форме, максимально свободной от специфики какого бы то ни было конкретного формализма. Эту методическую установку отражает и реально используемый в словаре метаязык. В ряде случаев мы сознательно прибегаем к приему изложения на примерах, и не пытаясь показать ценность приводимого примера в явном виде: попытка это сделать эксплицитно была бы в таких случаях не только неоправданно громоздкой, но, быть может, и вовсе ошибочной. Мы избегам также формальных построений и там, где, казалось бы, содержательных неясностей уже нет. Отдельные фрагменты, допускающие вполне точное, формальное описание, служат своеобразными островками, пунктами «примерок» той теории, которая, окажись она адекватной для достаточно широкого массива данных, заслуживала бы уже попытки формализации. В качестве иллюстрации рассмотрим один такой фрагмент.

Понятия центра ($M_{центр}$) и периферии ($M_{периф}$) некоторого множества M, которое задается данной именной группой α в данном речевом произведении, могут быть описаны так.

с достаточно нетривиальными теоретическими проблемами, связанными с соотношением между синтаксисом и семантикой в том понимании этих слов, которое они имеют в математической логике. Заметим, что синтаксису при этом отвечает лексическая семантика, а семантике — интерпретационная семантика (см. об этом подробнее в [4]).

[7] Едва ли не единственное исключение составляет так называемая проблема референционного статуса именных групп (см., например, работы [6—9]).

Пусть $M = \{m_1, m_2, \ldots, m_n, \ldots\}$ — множество объектов, идентифицируемых во множестве миров $W^{A_1}, W^{A_2} \ldots, W^{A_i}, \ldots$, варьируемых по мнениям носителей A_i, т. е. таких, для которых истинно:

$$(V_{i,j,k,l})\ [A_i/(m_k = m_l) \rightleftarrows A_j/(m_k = m_l)],$$

где выражение вида $A_1 / (P)$ читается как «P истинно в мире W^{A_i}».

Введем вспомогательную форму от переменных m и α: $E\ (m, \alpha)$ — читаем: «m есть α» или «m входит в категорию объектов из M, именуемых языковым выражением α». Тогда форма $A_i/(E(m,\alpha))$ обращается в истинное утверждение при тех m, α и A_i, при которых $E\ (m, \alpha)$ — истинно в мире W^{A_i}, в остальных случаях (при других m, α или A_i) — она ложна или неопределенна. Теперь мы можем определить понятие центра (и, соответственно, периферии) множества M: $M_{центр}$ и $M_{периф}$. $M_{центр}$ — центр множества $M \rightleftarrows (V_i)\ (V\ m \in M_{центр})\ [A_i/E\ (m, \alpha)]$. $M_{периф}$ — периферия множества $M \rightleftarrows M_{периф} = M \setminus M_{центр}$ (т. е. существует такое $\bar{i}$ и такое $\bar{m}$, которое обращает форму $A_i/E\ (m, \alpha)$ в ложное или неопределенное высказывание]. Представленная здесь в символическом виде [8] дефиниция центра и периферии может иметь следующее прочтение (быть может, после нескольких упрощающих перифразирований):

«некоторый объект m_i входит в периферию множества M (т. е. в $M_{периф}$), описываемого языковым выражением α, если найдутся компетентные носители языка, сомневающиеся в том, что m_i обязательно входит в M (или отрицающие это)».

Или еще проще:

«центр множества M — $M_{центр}$ — составляют такие объекты, которые обязательно входят в M с точки зрения всех носителей языка, а периферию — объекты, по поводу которых могут возникать сомнения» [9].

§ 2. Схема словарной статьи

Несмотря на то, что служебные слова чрезвычайно разнообразны и даже уникальны по своему семантическому и грамматическому поведению, их лексикографическое описание удается известным образом стандартизовать. Такую стандартизацию обеспечивает единая для всех служебных слов схема словарной статьи. Эта схема достаточно свободна и определяет лишь границы между разными типами приписываемой информации. Заранее исчислить все возможные способы заполнения всех намеченных зон и отдельных пунктов зон для данной группы лексики практически невозможно. Напротив, данные полученные в результате систематической лексикографической обработки всего корпуса служебных слов, можно будет положить в основу достаточно строгой и одновременно содержательной их классификации.

В предлагаемом описании схемы словарной статьи все технические, не принципиальные детали, связанные с оформлением, опущены.

Зона 1. Имя вокабулы и примыкающие сведения. К примыкающим сведениям мы относим, во-первых, информацию о семантико-грамматическом разряде слова; во-вторых, сведения о

---

[8] Легко видеть, что приведенная запись не есть формальное выражение в точном смысле слова: ведь отсутствует соответствующий формальный язык. Она дает разве что приближенное представление о некотором возможном здесь формализме.

[9] Ср. замечание Ю. И. Манина [10] об эвристической ценности «арго» и соотношении выражений формального языка науки и их естественно-языковых прочтений.

наличии фонетико-морфологических вариантов; в-третьих, простейшие сведения о пунктуации.

В связи с разрядами необходимо сделать следующие два важных замечания: о принципах выделения и приписывания разрядов и о границах самого понятия служебного слова. Эти замечания неизбежно сталкивают нас с проблемами, фундаментальными для теории служебных слов. Сколько-нибудь серьезное решение рассматриваемых вопросов требует введения обоснованной системы классификационных признаков, учитывающих, с одной стороны, поведение служебных слов в тексте, а с другой — системы оппозиций, имеющих место как внутри самих служебных слов, так и между служебными и полнозначными словами. Необходимо подчеркнуть, что здесь, как и в других случаях, например, в фонологии, система признаков такого рода призвана не только задавать классификацию, но и формировать самую предметную область этой классификации. Соответственно, ответ на вопрос, принадлежит ли данное слово к числу служебных, требует обращения к той же системе признаков, которая обеспечивает и ответ на вопрос, к какому разряду принадлежит некоторое слово, уже квалифицированное как служебное. Не имея возможности в рамках данной статьи развивать более подробно затронутую здесь лингвистическую проблематику, укажем лишь технические решения, принятые пока, в условном порядке, при работе над словарем.

К служебным словам отнесены все слова, не имеющие форм словоизменения. Таким образом, здесь принят непривычно широкий взгляд на объем этого понятия. Проигрывая в совпадении с интуитивным представлением о классе служебных слов (главным образом, за счет регулярных наречий типа *по-хорошему*, *своеобразно*, *быстро*), мы, однако, получаем несомненный выигрыш в четкости границ [10].

Информация о семантико-грамматическом разряде слова дается в системе помет, зафиксированной в Грамматическом словаре А. А. Зализняка [11].

Зона 2. Толкование. Особенности логико-семантической структуры служебных слов требуют выработки некоторой специфической формы лексикографического описания их «значений». При разработке этой формы мы стремились найти практически приемлемый компромисс между двумя крайностями. Первая — заменить описание операционного механизма, общего для всех употреблений данного слова, естественноязыковыми примерами, из которых читатель сам должен извлекать представление о грамматико-семантической функции описываемого слова (к этому способу сводится, как правило, описание служебных слов в традиционных толковых словарях). Вторая — использовать для описания этого операционного механизма какой-нибудь специально разработанный для этих целей формализм. Дополнительное распределение достоинств и недостатков каждого из крайних способов очевидно. Принятый способ описания может быть определен как известное преобразование выражений (формул) специального метаязыка. А именно: 1) переменные в формулах заменены простейшими естественно-языковыми выражениями (рядом в скобках указывается символ, обозначающий соответствующую переменную); 2) предикаты, кванторы, связки и прочие содержательные элементы формализма заменены выражениями русского языка, представляющими их прочтения. В этом смысле фрагмент толкования «родственники входят

---

[10] В данной статье не обсуждаются технические приемы практической компрессии словника.

в число гостей» отвечает выражению $X \in M$ (см. статью ***включая***); фрагмент толкования «какая-то группа людей опоздала на доклад» соответствует выражению (ЭК) {К $\subseteq$ {люди} & ($\forall k \in$ К) [Р (k)]} [11].

Вопрос о теоретическом статусе используемых в этой зоне выражений отсылает нас к глубоким логико-лингвистическим проблемам, прекрасный разбор которых, в доступной для лингвиста форме, находим, например, в книге Ю. И. Манина [12]. Практически используемый язык оправдал себя как удобный для составителей и приемлемый для читателей, при этом по богатству и точности своих средств он отвечает тому уровню подробности лингвистической разработки, который принят авторами в качестве рабочего объема приписываемых сведений.

Заметим, что в общем случае разбиение вокабулы на подвокабулы, т. е. отдельные словарные статьи, целиком зависит от принятого в данном случае языка описания. В самом деле, ведь два употребления входят в одну словарную статью тогда и только тогда, когда тождественны лексикографические характеристики, приписываемые данным словарем. В настоящем словаре, однако, мы сочли целесообразным в ряде случаев расщеплять толкования и тогда, когда расщепленные единицы легко сводятся одна к другой, т. е. представляют поверхностные варианты одной и той же лексикографической единицы по отношению к используемому языку толкований. Такие подтолкования отделяются цифрами в кадратиках: [1], [2] и т. д. Так же, как и в обычных толковых словарях, деление на подзначения требует тактичного компромисса между теоретической строгостью и практическим удобством. Соответственно и квадратики — это выработанный практикой рабочий компромисс, по отношению к которому соблюдение требования лексикографической сопоставимости не входило в задачу составителей.

Зона 3. Валентная структура. Представление о валентной структуре слов в настоящее время не достигло еще желательной ясности и четкости, что, в частности, проявляется в терминологической небрежности: валентности, переменные, места, связи и даже актанты слова нередко фигурируют в лингвистических работах как синонимы; в лучшем случае разные авторы проводят различение соответствующих понятий по-своему. Нет необходимой ясности и в различении типов связи, не разработан также и язык для ограничений на заполнение тех или иных мест (= требований к операндам). Однако задача окончательной разработки соответствующего фрагмента лексикографической теории в самой своей постановке должна быть признана преждевременной по объективным причинам: к сегодняшнему дню в лингвистической практике еще не накоплен эмпирический материал, достаточный для обобщения. Соответственно, здесь мы ограничиваемся стремлением к одной лишь содержательной понятности.

В зоне 3 указываются обязательные смысловые связи (семантические и синтаксические валентности) и ограничения на способы их насыщения. Кратких пояснений заслуживают следующие вопросы: 1) о направлении связи (ср. активные и пассивные синтаксические валентности); 2) об обя-

---

[11] Приведенную формулу не следует понимать как конкретное выражение определенного формализма. Статус подобных выражений, рассматриваемых авторами в рабочем порядке, иной: являясь полуфабрикатами, полученными при переходе «от арго к их формальным прообразам», они служат важными эвристическими ориентирами. Понятно, что как таковые они и не должны включаться в окончательный текст словаря.

зательности/факультативности валентностей; 3) об интерпретации мест и 4) о типе информации, фигурирующей в «ограничениях на заполнение мест».

1) О направлении связи. Вопрос о направлении синтаксических связей, как известно, достаточно сложный и для многих служебных слов, в традиционной грамматике вовсе не рассматривается. Так, школьная и даже академическая грамматики нередко обходят многие трудные вопросы синтаксиса словосочетаний с помощью следующих двух бессодержательных, на наш взгляд, приемов: а) исключения ряда «трудных» слов из числа так называемых членов предложения. Так, слова *однако*, *кроме*, *опять* просто не считаются членами предложения и, соответственно, не являются узлами синтаксического графа (т. е. не «выпускают из себя» и «не принимают в себя» стрелочек синтаксических связей или б) признания словосочетания единым членом предложения (таковы, например, сочетания *большинство ученых*, *три медведя*, *корзина грибов* и т. п.). Для нас оказывается несущественным различие между синтаксически подчиненными и синтаксически подчиняющими словами: ограничительные требования, являющиеся словарной характеристикой данного служебного слова C_0, могут относиться как к его хозяину, так и к его слуге. Это свойство служебных слов — высокая избирательность по отношению не только к слугам, но и к хозяевам и даже к словам, непосредственно синтаксически не связанным с данным словом,— прямое следствие их роли в кодировке смысла высказывания: не сочетаться с теми или иными смысловыми фрагментами, не замещать переменные в тех или иных смысловых формах, т. е. замыкать незамкнутые семантемы, а формировать смысловые выражения из других готовых смысловых выражений. Как уже говорилось, с точки зрения служебного слова связанные с ним компоненты высказывания независимо от их синтаксического статуса, вплоть до синтаксически не связанных, являются его операндами и как таковые должны удовлетворять требованиям, обеспечивающим выполнимость самой операции. Так, операндами слова *включая* в предложении *Этот стол, включая ножки*, *Петя сделал сам* оказываются «этот стол», «ножки» и утверждение о деятельности Пети (см. словарную статью ***включая***). Очевидно, что связи между служебным словом и его операндами в общем случае не обязаны совпадать ни с какими другими типами связи.

2) Об обязательности. В вопросе об обязательности насыщения тех или иных валентностей, как известно, необходимо различать поверхностную и глубинную обязательность. Очевидно, что на глубинном уровне все операнды данного слова C_0 должны быть явно представлены. Однако процедура обнаружения операндов C_0 по его поверхностному контексту бывает часто весьма нетривиальна, в силу чего вопрос, считать ли данное слово α в окружении C_0 представителем какого-то C_0-операнда или нет, часто оказывается не имеющим однозначного и простого решения. Практически в неясных случаях мы принимаем какие-то условные рабочие соглашения, исходя из того, что в общем случае вовсе не всегда все операнды данного C_0 должны быть явно представлены в тексте и, более того, отсутствие языковых выражений, отвечающих операндам данного C_0 — это нормальный случай.

Следует заметить, что задача обнаружения и приписывания операндов данному служебному слову C_0, решаемая исследователем — конструктором словаря — на несколько порядков проще задачи разработки алгоритма, обеспечивающего поиск их языковых аналогов в произвольном речевом произведении. Последняя является весьма непростой и для полно-

значных слов. В случае же служебных — она ставит исследователя перед самыми сложными проблемами референции. Сведения, которые тем не менее обычно приводятся, по своему статусу не являются ни в коей мере фрагментами алгоритма анализа, но являются сведениями, обеспечивающими синтез. Как хорошо известно, такие сведения на практике способны удовлетворять потребность пользователя, осуществляющего реально анализ: человек — пользователь словаря обращается эксплицитно к информации, данной ему в словаре, и имплицитно — к сведениям, известным ему как носителю естественного языка. Соответственно, статус приводимых сведений — не обеспечение эффективной процедуры анализа, обнаруживающего актанты данного C_0, но лишь фиксация наблюдаемых актантов и их важнейших свойств.

3) Интерпретация мест. Известная проблема отождествления стрелок зависимостей уходит далеко в глубины пока еще не разработанных проблем синтаксиса и семантики. Попытки исходить из интерпретированных стрелок (ср. хотя бы семантические падежи Ч. Филлмора) показывают наглядно замысел соответствующей более мощной теории, но не обеспечены пока эмпирическими применениями.

Наблюдение поведения операторных служебных слов с очевидностью показывает, что все возможные их операнды сводятся к резко ограниченному числу типовых представителей. Другими словами, конкретные операнды данного C_0 допускают интерпретацию в терминах какой-то обобщенной номенклатуры, обеспечивающей межлексемную сопоставимость. Так, в приводимых примерах представлены операнды следующих типов: **часть/элемент — целое / класс**; **объект — ассоциированное множество объектов**; **утверждение** (сокращенно **утвержд**) и **сообщение** (сокращенно **сообщ**). Очевидно, что до тех пор, пока не будет обработан достаточно представительный корпус служебных слов, обеспечивающий вычерчивание полного логического пространства возможных типов операндов, до тех пор вопрос о самостоятельности vs. тождестве двух данных видов операндов не может получить обоснованного решения. Не располагая в настоящее время достаточным объемом материала, мы все же решились фиксировать в предварительном порядке тип операнда, предполагая, что список обобщенных операндов будет в дальнейшем уточняться по мере накопления новых данных. Соответственно, пока мы не можем с необходимой четкостью определить, почему одни типы операндов у нас различаются, а другие — отождествляются. Так, например, возникшее в рабочем порядке противопоставление «утверждения» и «сообщения», быть может, избыточно, однако пока целесообразнее, само собой разумеется, сохранить большее число противопоставлений.

4) Ограничения на заполнение мест. О статусе этих ограничений как требований к операндам уже говорилось в начале настоящего параграфа. Заметим дополнительно, что, во-первых, ограничения формулируются как в самой таблице, так и в дополнительных комментариях. Во-вторых, в силу уже отмечавшихся обстоятельств авторы позволяют себе намеренно максимальную вольность в форме изложения фиксируемых ограничений: если удается сформулировать требования на языке членов предложений, то такой язык мы считаем уместным так же, как и язык описаний логико-референтного статуса каких-либо компонентов наблюдаемых актантов. В конце концов наша задача — всего лишь представить эмпирические сведения в удобной для обозрения форме.

Зона 4. (условное название «Проверка»). Для ряда служебных слов удается сформулировать текст, позволяющий прове-

рить семантическую и/или синтаксическую допустимость их употребления в том или ином контексте.

Зона 5. Правила употребления. Здесь приводятся важнейшие правила, обеспечивающие как правильное понимание предложений с данным словом, так и правильное построение наиболее характерных для данного слова конструкций. В частности, обязательно сообщаются сведения о месте данного слова в предложении, о его сочетаемости с отрицанием и вопросом, а также о сочетаемости с другими служебными словами. Каждое правило иллюстрируется положительными и отрицательными примерами.

Зона 6. Парадигматические связи. Эта зона вводится условным названием «Ср.». В ней указываются — выборочно — служебные слова и словосочетания, системно связанные с данным (в частности, неточные синонимы и антонимы).

Зона 7. Иллюстрации (дается без названия).

Зона 8. Отделяется символом «ромб» (◊). Здесь приводятся словосочетания, по функциям или значению приближающиеся к отдельным служебным словам и содержащие описываемое в данной статье слово (например, *а между тем*, *хотя и*, *до того как*, *постольку поскольку*, *если и только если*, *даже если* и т. п.). Общий объем словаря удается сократить за счет использования отсылок к другим статьям, во избежание дублирования одной и той же информации. Так, фактически одна разработка обслуживает такие статьи, как ***ввиду*** и ***в силу***, ***исключая*** и ***кроме***.

§ 3. Образцы словарных статей

ВКЛЮЧАЯ, предл. (омоним., деепр.) [1] *Этот стол* (*Y*), *включая ножки* (*X*), *Петя сделал сам* (*P*) ≈ «Этот стол Петя сделал сам; ножки — часть стола; Петя сам сделал ножки; если бы ножки сделал не Петя, считалось бы истинным высказывание „*Этот стол Петя сделал сам*“, но в данном случае и ножки Петя сделал сам». [2] *Вскоре уехали* (*P*) *все гости* (*Y*), *включая родственников* (*X*) ≈ «Вскоре уехали все гости; родственники входят в число гостей; родственники уехали; если бы родственники не уехали, считалось бы истинным высказывание „*Вскоре уехали все гости*“, но в данном случае родственники тоже уехали».

Обязательные смысловые связи. 1. часть/элемент «кто/что включается». 2. целое/класс «частью чего является». 3. утвержд «что утверждается».

1 (= *X*) часть/элемент [кто/что включается]	2 (= *Y*) целое/класс [частью чего является]	3 (= *P*) утвержд [что утверждается]
$N^1_{вин}$	N^2	ПРЕДЛ[12]

Все валентности должны быть заполнены. N^2 — синтаксически подчинено сказуемому ПРЕДЛ-а; может быть подлежащим, дополнением,

[12] *N* — символ субстантивных классов слов, обозначение *вин* под строкой — винительный падеж, верхний индекс при *N* указывает, что N^1 и N^2 в предложении — разные слова; символы *X*, Y, *P* обозначают фрагменты предложения, заполняющие первую, вторую и третью валентности соответственно, ПРЕДЛ — символ предложения.

обстоятельством. Первой смысловой валентности в предложении соответствуют не только N^1, но и все слова, синтаксически зависящие от него; аналогично для N^2. Нежелательно: наличие в предложении нескольких кандидатов на роль N^2: * *Он говорил о всех своих пациентах со своими друзьями, включая Андрея*, однако можно: *о всех своих пациентках*. Нежелательно: N^2 в косвенных падежах: ?*Он отказал всем студентам, включая Максима* (лучше: *в том числе Максиму*); ?*Он доволен детьми, включая Петю* (лучше: *в том числе Петей*).

Правила употребления. Нормальный порядок слов: Y + + *включая* + X; P — либо левее Y, либо правее X. Нежелательно: Y далеко от X. Ср.: **Этот стол Петя сделал сам, включая ножки*; * *Включая Петю, все ребята пели* (надо: *Все ребята, включая Петю, пели* или: *Пели все ребята, включая Петю*). Мена порядка может менять смысл: *Наши гости знали всех ребят* (Y), *включая Петю* (X) ~ *Наши гости* (Y), *включая Петю* (X), *знали всех ребят*. Оборот *включая X* выделяется запятыми. В разговорной речи употребление оборота несколько ограничено. *Включая* нельзя употребить, если (*i*) часть предложения, оставшаяся после вычитания оборота *включая X*, не позволяет осмыслить с достаточной определенностью целое или класс; последний должен при этом интерпретироваться как полное множество («все такие...»). Необходимо также, чтобы (*ii*) часть или элемент осмыслялись бы как периферия целого или класса, а не как обязательная составляющая последнего. Ср.: **Хорошо тому, у кого есть дети, включая дочь* — утверждается не наличие полного множества («все дети»), а только наличие хотя бы одного элемента («непустота множества детей»). Также **Хорошо тому, у кого много детей, включая дочерей* (здесь *много детей* — не полное множество); однако можно: *Хорошо бы пригласить много / побольше детей, включая Усиевичей* (здесь много детей — полное множество: «все приглашенные, причем их много»). Ср.: *Угости мороженым всех детей, включая Степу*. Слушающий должен понять, что Степа по каким-то причинам мог бы и не входить в множество детей, которых предполагается угощать мороженым (или Степа — подросток, «уже не дитя», или Степа только что съел мороженое, тогда как другие еще нет и т. п.[13]). Также: *Он купил детям для школы все, включая мешочки для завтраков* (без них можно обойтись), *включая форму* (форму могут выдать в школе), ?*включая тетрадки* (без тетрадок обойтись нельзя, в школе их не выдают и т. п.). *Включая* нельзя употребить, если из осуществления **утвержд** для целого тривиально следует осуществленность того же **утвержд** для части. Ср.: **Он продал свой дом, включая крышу*, но *Он продал свой дом, включая участок* (участок мог бы и не продавать вместе с домом); Также: *Он покрасил свой дом, включая крышу*.

Отриц. Неверно, что (Y, *включая X*, P)=?[14]. Возможно отрицание в пределах **утвержд**: *Он не любил никого из своих товарищей, включая Петю*. Ср.: *в том числе, даже, за исключением, и, исключая, и следовательно, кроме, вплоть до*.

Во всех романах М. Булгакова, включая «Белую гвардию», публицистическая мысль автора спрятана в глубинах образа.

---

[13] Этот пример показывает, что слово *включая* дает слушающему инструкцию искать мотивировку, которая позволила бы осмыслить X(=Степа) как периферию Y(=дети).

[14] Здесь знак ? означает, что отрицание выражения после «Неверно, что» не имеет однозначного осмысления.

ДАЖЕ, част., усилит.-выделит. [1] *Даже Пѐтя опоздал на доклад* [15] = «Петя опоздал на доклад (*P*), какая-то группа людей (*M*) опоздала на доклад; Петя (*X*) выделен из этой группы как человек, для которого опоздание на доклад менее вероятно, чем для остальных». [2] *Петя даже танцевàл* = «Петя танцевал; Петя делал еще что-то [напр., произносил тосты, пел...]; танцевать для Пети менее вероятно, чем другие действия, которые он мог бы совершить [произносить тосты, петь...]».

Обязательные смысловые связи. 1. **объект** «выделяемый объект» (*X*). 2. **класс** «ассоциированное множество объектов» (*M*) 3. **утвержд** «что утверждается об объекте» (*P*). Ср.: *Фашисты даже пытали Костю*; здесь **объект** — действие *пытать*, **класс** — множество действий, ассоциированных с *пытать* по признаку «насильственные действия» [= требования, угрозы,...], **утвержд** — пытку производили фашисты над Костей. **Объект** может быть выражен в предложении как словом, так и целым словосочетанием вплоть до предложения; выделяемое слово или главное слово выделяемого словосочетания могут быть существительными, прилагательными, глаголами или наречиями. Ср.: *даже красивые* (*X*) *женщины...*, *даже очень* (*X*) *плохой пирог....*, *даже хороший учитель математики* (*X*). Класс может быть явно указан за пределами простого предложения. Ср.: *Даже Петя* (*X*) *опоздал на доклад, не говоря уже обо всех остальных* (*M*).

Проверка. Предложения с *даже* должны допускать продолжения, проясняющие класс *M*; *Даже Петя не пошел в школу* [тем более Миша / а уже Миша и подавно]. Ср.: **Даже в полдженный час нам давали ужин* [?тем более в другое время].

Правила употребления. Обычно *даже* ставится непосредственно перед выделяемым словом или словосочетанием. Однако: 1) нельзя разрывать существительное с согласованным с ним определением: **слабым даже просветом*; **этот даже словарь* (надо: *даже слабым просветом*; *даже этот словарь*); 2) при сочетании выделяемого слова с полузнаменательным глаголом *даже* предпочтительней ставить перед глаголом: ?*Он был даже в армии* (лучше: *Он даже был в армии*); ?*Дочка стала даже послушной* (лучше: *Дочка даже стала послушной*); 3) при X = все предложения без *даже* слово *даже* может помещаться либо в абсолютном начале предложения, либо вклиниваться внутрь предложения, занимая в нем «не свое место» [16]; в разговорной речи возможно *даже* после выделяемого слова: *Пообѐдать даже — и то некогда*!

Даже нельзя употреблять: А. Если нарушены требования к объекту и классу, а именно — (*i*) не должна быть задана единственность объекта: **Даже Миша — мой отец* (для объекта «отец» задана единственность), ср. *Даже Миша — мой друг*; **Это была даже та девушка, с которой я вчера познакомился / приняла участие в празднике*; (*ii*) класс должен осмысляться как определенный для говорящего и слушающего: **Даже кто-то хочет позвонить в Москву*, ср.: *Кто-то хочет позвонить даже в Москву*; (*iii*) должен легко устанавливаться признак, объединяющий элементы ассоциируемого множества: **Миша спал, а Петя даже разговаривал по*

---

[15] В Словаре в ряде случаев используется или сообщается информация о фразовом ударении. Здесь фразовое ударение фиксировано во входе толкования; оно отмечается знаком ⟍ над ударным слогом слова — носителя фразового ударения.

[16] Такое употребление с точки зрения порядка слов называется смещенным (ср. смещенное отрицание) [13].

телефону, ср.: *Миша отдыхал, а Петя даже спал*. Б. Если *X* отвечает слову, входящему в состав фразеологического оборота: **не видно даже ни зги*, **каков бы даже ни был*, **он производил даже впечатление интеллигентного человека*, но: *Завод производил даже холодильники*; *Завод даже производил холодильники*. В. Если слово (*X*) входит в сочетание с союзом *или*: **Даже Миша или Саша узнают это раньше других*. Ср. также: ?*Даже учителя математики знают таблицу умножения* (для учителей математики не естественно не знать таблицу умножения); ?*У меня несчастья каждый день, а я смеюсь, даже улыбаюсь* (если кто-то смеется, то он улыбается, но можно улыбаться и при этом не смеяться), правильно: *У меня несчастья каждый день, а я улыбаюсь, даже смеюсь*.

Отриц. Неверно, что (*Даже Петя опоздал*) = ?. Возможные выражения этого смысла: *Уж Петя-то не опоздал*; *Петя-то, конечно, не опоздал*. Однако при *даже* допустимо утвержд, содержащее отрицание: *Даже Петя не опоздал*.

Вопросит. Вопрос (*Даже Петя опозадал*) = *Даже Петя опоздал*?; *Что / Как / и / Петя опоздал*?; *Неужели / неужто* (*разг.*) *Петя опоздал*?

В одном простом предложении не может быть двух *даже*: **Даже Петя даже опоздал*.... *Даже* плохо сочетается с другими усилит.-выделит. словами, а именно с теми, которые противоречат его содержанию: **даже только*..., **даже единственный*..., но возможно: *Даже и думать не смей об этом!*

Ср. *и* (част.), *именно*, *неужели*, *-таки*, *только*, *-то*. *Но куклы даже в эти годы Татьяна в руки не брала* (Пушкин). *Так я был поражен этим случаем, что даже ум во мне помутился* (Достоевский). *Ты так резко с ним говорил, что, по-моему, Володя даже слегка обиделся*.

◊ *даже и, даже если*.

Примечание. Ниже показано, как меняется осмысление предложения со словом *даже* в зависимости от постановки *даже* перед одним или другим словом предложения: (a_1) *Даже Петя опоздал на доклад* [тем более Миша]; (a_2) *Даже Петя опоздал на доклад* [тем более никто не успел позавтракать]; (б) *Петя опоздал даже на доклад* [тем более на открытие собрания]; (в) *Петя даже опоздал на доклад* [тем более не успел к нему подготовиться]; (г) *Петя даже опоздал на доклад* [тем более не успел позавтракать].

1 (= *X*) **объект** [выделяемый объект]	2 (= *M*) **класс** [ассоциируемое множество]	3 (= *P*) **утвержд** [что утверждается об *X*]
(a_1) Петя	множество людей, которые могли бы опоздать	*X* опоздал на доклад
(a_2) Петя опоздал на доклад	множество других отступлений от нормального порядка, не связанных с Петей	*X* имело место
(б) доклад	то, куда мог опоздать Петя	на *X* опоздал Петя
(в) опоздание	множество других действий, связанных с докладом	Петя на доклад *X*

Образец подстатьи

A_2 (*A* несоответствия) [1] *Близится весна, а мороз все сильнее* ≈ «Близится весна (P_1) и поэтому, вообще говоря, следует, что мороз не должен становиться сильнее [= должен становиться слабее]; мороз все сильнее (P_2) [2] *Она ушла в кино, а уроки не сделаны* = [1] *Уроки не сделаны, а она*

ушла в кино. [3] *Близится весна, а дети не снимают шуб* ≈ «Близится весна (P_1) и поэтому, вообще говоря, следует, что становится теплее (R); дети не снимают шуб (P_2) и поэтому, вообще говоря, следует, что не становится теплее [неверно, что R]».

Пояснение к [3]. Несоответствие здесь — в противоречии следствий — R и неверно, что R — ввиду чего либо «весна пришла, но еще холодно, и потому дети не снимают шуб», либо «весна пришла, стало тепло, но дети по какой-то причине не снимают шуб». Предложения типа [3] можно представить как результат объединения двух альтернативных суждений, построенных по типу [1]: То ли «близится весна, а теплее не стало», то ли «стало теплее, а дети не снимают шуб».

Обязательные смысловые связи. 1. **сообщ** «что имеет место» (P_1). 2. **сообщ** «что имеет место» (P_2). Обе валентности должны быть заполнены предложениями (произвольного синтаксического типа, в том числе неполными). Ср.: *Мальчик* (P_1), *а философ* (P_2).

Проверка. A_2 в варианте [1] допускает замену на союз *хотя* (*хоть*), который ставится перед первым предложением: *Хотя близится весна, мороз все сильнее.* Также для [2], предварительно поменяв порядок предложений. Для [3] проверка с *хотя* невозможна.

Правила употребления. A_2 ставится только между первым и вторым предложениями. Ср.: **А мороз все сильнее, весна близится.* A_2 нельзя употреблять, если между сочиненными компонентами нет несоответствия. Поэтому, если факт соответствия не следует из знания действительности, а употреблено A_2, то функцию указания не такое соответствие исполняет само A_2. Ср.: *Чемодан полон, а вещи еще остались* = =«Чемодан полон, говорящий считает, что из этого следует, что вещи некуда [= не существует места, куда] положить; вещи еще остались; говорящий считает, что из этого следует, что их надо куда-то [= должно существовать место, куда] положить».

Ср. *и*, (*и*) *следовательно*, *но*, (*и*) *поэтому*, *хотя*.

Больным велено габер-суп давать, а у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос. Свежо предание, а верится с трудом. ⟨Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен?⟩ *Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмуришься* (Пушкин).

◇ *а между тем, а ведь, а в то же время, а тем не менее, а все-таки.*

Образцы отсылочных статей

ВО см. В **НАПРОТИВ**$_2$ см. Наоборот
БЛИЗ см. Вблизи **ВСЯК** (прост) см. Всякий

ЛИТЕРАТУРА

1. *Якобсон Р. О.* Шифтеры, глагольные категории и русский глагол.— В кн.: Принципы типологического анализа языков различных стран. М., 1972.
2. *Крейдлин Г. Е.* Служебные слова в русском языке (семантические и синтаксические аспекты их изучения): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1979.
3. *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. М. 1974.

4. *Поливанова А. К.* О семантическом анализе глаголов *верить, думать, знать.*— В кн.: Семиотические аспекты формализации интеллектуальной деятельности: Тезисы докладов и сообщений школы-семинара «Кутаиси-85». М., 1985.
5. *Борщев В. Б., Хомяков М. В.* Клубные системы (формальный аппарат для описания сложных систем).— НТИ, сер. 2, 1976, № 8.
6. *Арутюнова Н. Д.* Лингвистические проблемы референции.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. Логика и лингвистика (Проблемы референции.) М., 1982.
7. *Булыгина Т. В.* К построению типологии предикатов в русском языке.— В кн.: Семантические типы предикатов. М., 1982.
8. *Крейдлин Г. К., Рахилина Е. В.* Денотативный статус отглагольных имен.— НТИ, сер. 2, 1981, № 12.
9. *Падучева Е. В.* Высказывание и его соотнесение с действительностью. М., 1975.
10. *Манин Ю. И.* Доказуемое и недоказуемое. М., 1979.
11. *Зализняк А. А.* Грамматический словарь русского языка. М., 1977.
12. *Манин Ю. И.* О функционировании естественного языка в научных текстах.— В кн.: Структура текста-81: Тезисы симпозиума. М., 1981.
13. *Богуславский И. Н.* О понятии смещенного отрицания.— В кн.: Институт русского языка АН СССР. Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. Вып. 107. М., 1978.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1987

МОЛЧАНОВА Е. К.

АНАФОРА И ПРИТЯЖАТЕЛЬНОСТЬ

(На материале таджикской разговорной речи)

В баснях И. А. Крылова нередко личные притяжательные местоимения *мой* и *наш* употребляются непритяжательно. Например:

Запачканный Голи́к попал в большую честь —
Уж он полов не будет в кухнях месть:
Ему поручены господские кафтаны
. . . . . .
Вот развозился *мой* Голи́к:
По платью барскому без устали колотит
И на кафтанах он как будто рожь молотит...

(«Голик»)

Или:

Невеста-девушка смышляла жениха...
Вот *наша* девушка уж стала девой зрелой

(«Разборчивая невеста»)

В приведенных образцах (курсив везде наш — *М. Е.*) личное притяжательное местоимение со всей очевидностью отражает не объективную посессивную связь, но ситуационную (голи́к, в действительности, не «мой», девушка — не «наша»). Речь, следовательно, идет о референциальном статусе личных притяжательных местоимений, или о типе соотнесенности с внеязыковыми объектами. Напомним, как определяют термины «референция», «референциальный статус» авторы обобщающих отечественных работ по этой проблематике Н. Д. Арутюнова и Е. В. Падучева. «Референция — это отношение актуализованного, включенного в речь имени или именного выражения (именной группы) к объектам действительности» [1, с. 6]; референция — это «соотнесение высказывания и его частей с действительностью — с объектами, событиями, ситуациями, положениями вещей в реальном мире или ... в универсуме речи. Референция — это соотнесенность с индивидуальными, единичными предметами и ситуациями» [2, с. 1], см. также [3, с. 3, 8]. «Тип соотнесенности именной группы с внеязыковыми объектами мы называем ее денотативным (или референциальным) статусом» [2, с. 12]; см. также [3, с. 83].

Вернемся к нашей невесте и к нашему Голику. В толковом словаре Д. Н. Ушакова в статье *мой* дается как оттенок значения: «тот, который в данный момент является предметом обсуждения (с точки зрения говорящего)» [4, II, с. 244]. См. сходные формулировки (по поводу *мой* и *наш*) в академической грамматике 1952 г. и в словаре под ред. А. П. Евгеньевой [5, с. 393; 6, II, с. 417]. Констатируя по существу анафорическую функцию личных местоимений, им не отказывают окончательно в посессивном, или притяжательном, значении. Высказывалось также мне-

ние (О. Н. Селиверстова, устно, см. также [7]) о сфере посессивности говорящего или говорящего и его собеседника [1].

Можно заметить, что приведенные нами вначале литературные образцы отличаются непринужденностью и стилистической (иронической) окрашенностью. Почти нейтральный стиль наблюдается в лермонтовской «Тамани»: *Я поднял глаза; на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье с распущенными косами, настоящая* ***русалка****. ... она пристально всматривалась в даль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то* ***запевала*** *снова песню.* Далее приводится текст песни и эпизод разговора девушки со старухой. И затем: *И вот вижу, бежит опять вприпрыжку* ***моя ундина****...*, через несколько фраз: ***Моей певунье*** *казалось не более 18 лет* (ундина — в средневековых поверьях — дух воды в образе женщины).

По мнению некоторых русистов, литературные образцы такого рода представляют собою специальный прием авторской речи, имитацию беседы с читателем; цель приема — создание более интимной атмосферы; считают, что эти образцы следует отграничивать от собственно разговорной речи.

В русской разговорной речи также встречаются подобные употребления *мой, наш*. Допустим, говорящий передает свою беседу с незнакомым стариком: *...Я себе говорю, говорю, а* ***мой*** *старичок, оказывается, спит давно* (или: *а моего старичка и след простыл*, или: *вдруг мой старичок...*). Местоимение *наш* употребят, если речь идет более чем от одного лица (*вдруг* ***наш*** *старичок...*). Экспрессия ощутима и здесь (помимо местоимения, она передается еще уменьшительным суффиксом существительного).

У русского личного притяжательного местоимения 2-го л. ед. ч. *твой* в словаре Д. Н. Ушакова отмечен оттенок значения: «Угодный, близкий тебе» с пометой «разг.» [4, IV, с. 662]. Приводимый пример (*Оба вы хороши с твоим Сергеем*!) не документирован и дан без контекста. См. аналогично *ваш* [4, I, с. 229; 6, I, с. 139]. В словаре А. П. Евгеньевой дается как оттенок значения *твой*: «Разг. Имеющий какое-л. отношение к тебе, занимающий, интересующий тебя» [6, IV, с. 344].

Условие такого (на наш взгляд, анафорического) употребления — речевая ситуация, которой предшествует упоминание соответствующего объекта, либо общность знания (или восприятия) собеседников об этом объекте. Едва ли скажут: *Оба вы хороши с твоим Сергеем*!, если Сергея не знают или он не находится в общем поле зрения, или о нем предварительно не упоминалось [2]. Другое условие — определенная эмоциональная окраска речи — фамильярная, пренебрежительная, неодобрительная или раздражительная: *Надоели вы мне с Вашим Иваном Ивановичем* (цит. по [11]). Или, например, в таком диалоге: — *С Вами хочет поговорить какой-то мальчик.— Некогда мне говорить с твоим / Вашим мальчиком*! Или: — *Ну, веди(те) сюда твоего* (*Вашего*) / *своего мальчика*. Здесь *твой* /

---

[1] Е. М. Вольф говорит в сходных случаях (на иберо-романском материале) о контекстном значении посессива [8, с. 94 и сл.]. В связи с нестандартным, «неканоническим» употреблением личных местоимений см. также статью Т. В. Цивьян [9] о некоторых «фоновых» аспектах посессивности в балканских языках. В статье приводятся фольклорные материалы с местоимениями 1-го лица, в том числе с клитическими (косвенного падежа — Dat./Gen.) местоименными показателями посессивности, передающими, по мнению автора, «интенциональное владение». См. там же о комплиментарном значении притяжательных местоимений в обращениях (типа *дерево, деревце мое*).

[2] См. употребление *твой* а также *свой*) с так называемыми именами ситуации: — *Ну, как, окончился твой телефон*? [10], т. е. известные говорящему хлопоты собеседника об установке телефона.

Ваш — «тот, о ком ты/Вы говорил(и) и тем самым связанный с тобой/с Вами». Анафоричность личного местоимения подтверждается возможностью одновременного использования местоимения указательного: — *Ну, где там этот Ваш мальчик*? (см. также [11]).

Можно допустить аналогичную конструкцию с притяжательным местоимением 3-го л. ед. (или мн.) ч.: — *Не уходите, Миша говорил, что к нам зайдет слесарь.— Что-то (этот) его слесарь не торопится...* Эмоциональная окраска (иронический или несколько пренебрежительный оттенок) присутствует и здесь. Таким образом, в русской разговорной речи анафорическое употребление лично-притяжательных местоимений, как кажется, обусловлено стилистически.

Аналог (хотя и неадекватный) рассмотренных русских образцов [3] часто встречается в современной таджикской разговорной речи (в том числе, диалектной). Имеется в виду анафорическое употребление таджикского лично-притяжательного энклитического местоимения 3-го л. ед. ч. *-аш* (далее — ЭМ *-аш*) [4]. Приведем в качестве иллюстрации начало телефонного разговора (звонок в редакцию, к Ходже Насреддину [5]: (1) — *Ман... Суннатулло Мирзоев аз Совети қишлоқи Рӯдакӣ гап мезанам,— худро шиносонд соҳиби овоз.— Келини Моҳтоббибӣ бача кард.— **Моҳтоббибияш кӣ**? — ҳайрон шуд Хоҷа* (ТС-84, 1 янв.) «Говорит Суннатулло Мирзоев из сельсовета Рудаки,— представился говорящий. Невестка Мохтоббиби родила ребенка.— А кто такая эта (букв. «его/ее») Мохтоббиби?— удивился Ходжа».

В *Моҳтоббибияш* ЭМ *-яш* (вариант *-аш*) используется не как местоимение повтора (замена упомянутого прежде имени), но как ссылка на предтекст, в данном случае — на само предшествующее упоминание имени собственного в речи собеседника: *Моҳтоббибияш* — это «Мохтоббиби, о которой шла речь выше» = «эта (самая) Мохтоббиби».

Именно анафорические употребления ЭМ *-аш* являются предметом настоящей статьи. Материалом послужили: 1) литературные произведения (проза) современных таджикских писателей, включающие разговорную речь [6]; 2) записи диалектной речи [12—15]; 3) сведения, полученные от таджиков-информантов [7].

---

[3] О расхождениях см. ниже.

[4] Сходные употребления имеют место и в других иранских языках и диалектах, особенно в разговорной речи. Специально этот вопрос не изучался.

[5] Ходжа Насреддин (Афандӣ) и Мулла Мушфикӣ — постоянные персонажи юмористических рассказов и анекдотов, в частности, публикуемых на специальной странице современной таджикской газеты «Литература и искусство». В этом жанре широко используется разговорная и даже диалектная речь.

[6] В статье приняты следующие сокращения источников: журнал «Садои Шарқ» — СШ; газеты — «Маданияти Точикистон» — МТ, она же, переименованная с 1984 г. в «Адабиёт ва санъат» — АС; «Точикистони Совети» — ТС. Через дефис указан год издания, далее — номер или число, фамилия автора и название произведения. Наиболее часто цитируемые произведения (даются в виде аббревиатур и без ссылки на журнал): Муҳаммадиев Ф. Варта.— СШ-83, № 9 — МВ; Баҳорӣ А. Шоҳидон.— СШ-84, № 2 — БШ; Баҳорӣ А. Аз соҳили Варзоб то халичи Бискай. — СШ-83, № 6 — БА, Одинаев Ҷ. Ихтилофи оилавӣ. — СШ-82, № 3 — ОИ; Эгамов Д. Агар ишқ ҳамин аст...— АС-84, 4.X. — ЭА. Отдельные издания: Амонов Р. Навбаҳори чашмасор. Душанбе, 1976 — АН; Муҳаммадиев Ф. Дар он дунёе. — В кн.: Фазлиддин Муҳаммадиев. Асарҳои мунтахаб. Ҷ. 2. Душанбе, 1980 — МД.

[7] Автор выражает горячую признательность старшим научным сотрудникам Института языкознания АН СССР А. А. Керимовой (Алимовой), носителю таджикского языка, за постоянные консультации и предоставленный ею фактический материал и О. Н. Селиверстовой, сделавшей ряд ценных замечаний по некоторым фрагментам статьи, а также научному сотруднику Института русского языка АН СССР Е. В. Красильниковой, любезно указавшей нам на работы П. Адамца.

Выше указывалось на принадлежность рассматриваемых таджикских моделей с ЭМ *-аш* разговорной речи, поэтому вполне естественно, что в грамматических описаниях таджикского литературного языка эти модели не упоминаются.

В таджикском языке личные местоимения представлены двумя разновидностями:

Тонические			Энклитические [8]
Ед. ч.	1-е л.	*ман*	*-ам*
	2-е л.	*ту*	*-ат*
	3-е л.	*ӯ, вай*	*-аш*
Мн. ч.	1-е л.	*мо*	*-амон*
	2-е л.	*шумо*	*-атон*
	3-е л.	*онҳо*	*-ашон*

Основной функцией ЭМ *-аш*, как и прочих ЭМ, в литературном языке считается выражение принадлежности или отношения к лицу: «его, ее» (различение по роду отсутствует) — в позиции после существительного (*бародар-аш* «его/ее брат») или после атрибутивного сочетания (*бародари калон-аш* «его/ее старший брат»). При этом ЭМ *-аш* является местоимением повтора, т. е. замещает ранее упоминавшееся существительное, личное (в большинстве случаев) или неличное [17], или тоническое личное местоимение 3-го лица. Например: (2) *Модаркалонам... чашмонашро бо нӯги остинаш пок карда, муддате ба сукут рафт* (АН) «Бабушка... отерла глаза краем рукава, некоторое время помолчала» (*остин-аш* «ее рукав»); (3) — *Эҳ, агар ангуштариро медодию ҳилаашро мефаҳмондӣ...* (БШ) «— Эх, если бы ты дал перстень и объяснил его секрет...» (*ҳила-аш-ро* «его секрет» = *ҳилаи ангуштари-ро*).

Указание на анафорическое употребление ЭМ *-аш* встречается в некоторых работах по таджикской диалектологии. У В. С. Расторгуевой [12]: ЭМ 3-го л. ед. ч. *-аш* «часто используется с целью подчеркнуть, что речь идет именно о том предмете, который упоминался раньше, в предшествующем предложении или в словах собеседника»: (4) — *хонаи кӣ шиштен? — хонаи Сафар. — Сафараш кӣ?* «— В чьем доме она живет? — В доме Сафара.— Кто этот Сафар?»; (5) — *масхара накун! — масхараш-а?* — «Не насмехайся! — Разве это насмешка?» — и др. (все примеры из варзобского говора). (См. также [13, 14]; обобщение по южным говорам [15], о чем ниже.)

Совместно с А. А. Керимовой мы проанализировали референтные возможности ЭМ 3-го л. ед. ч. *-аш* (в отличие от ЭМ 1-го и 2-го лица), позволяющие использовать его (ЭМ *-аш*) в функции, более свойственной указательным местоимениям, нежели личным. В таджикской разговорной речи выявляются следующие особенности приименного употребления ЭМ *-аш*, обусловленные коммуникативной ситуацией [9].

[8] Или местоименные суффиксы [16, с. 551] Таджикские ЭМ восходят к древнеиранским ЭМ, в частности, тадж. *-аш* — к древнеперсидскому ЭМ род.-дат. падежа *-šaiy*. Последнее, указательное по происхождению, фактически использовалось как личное (3-е л. ед. ч.).

[9] Приводимая рубрикация не является жесткой. Конкретный материал иногда трудно поддается классификации. Ср. сходные трудности — промежуточные употребления — при анализе русского демонстратива [18, с. 90] и балканских посессивов [9, с. 85].

I. Таджикские вокативные (эвфемистические) термины родства свидетельствуют, что референтом (или денотатом) ЭМ *-аш* может быть лицо, не упомянутое ранее и даже не находящееся в данный момент в поле зрения собеседников, но хорошо известное им. Ср. обращение жены к мужу: *дадош* «отец» (букв. «его/ее отец»), мужа к жене: *очаш* «мать» (букв. «его/ее мать»), жены к брату мужа: *амакаш* «дядя» (букв. «его/ее дядя») и т. п.— с говорными фонетическими и лексическими разновидностями. В этих терминах родства ЭМ *-аш* служит ссылкой на старшего ребенка в семье (поскольку обычай не позволял супругам обращаться друг к другу по имени) [10].

II. В выражениях типа *нархаш 20 тин* «цена (букв. «цена его/ее») 20 коп.» (на обложке книги); *давомаш дар саҳ. 5* «продолжение (букв. «продолжение его/ее») на стр. 5», *аввалаш дар саҳ. 3* «начало на стр. 3» и т. п. (в периодике) — ЭМ *-аш* служит указанием на объект (книгу, публикацию), не названный, но находящийся непосредственно в поле видимости читателя.

III. При именах с лексическим значением времени ЭМ *-аш* служит указанием на неназванный (но подразумеваемый) конкретный временнóй ориентир, точку отсчета: бухарск. *шабаш бет* «приходите (сегодня) вечером», т. е. вечером (*шаб*) текущего дня; *пагеш* (разг. *пагоҳаш*) «на следующий день» (*пага*, *пагоҳ* «завтра») после текущего.

IV. ЭМ *-аш* может быть предназначено для референции к конкретной ситуации, наблюдаемой или хорошо известной участникам речевого акта. Например, в реплике: (6) — *Хосияташ бад* «плохая примета» (СШ-83 № 6. Самадов А. Пиёлаи шикаста) — в связи с тем, что за столом, где принимают гостя, разбилась пиала с чаем (*хосият-аш* букв. «особенность-его»); (7) — *Э, ҳамин чангаш/пӣлаш*! «Ой, да там пыль!» (букв. «эта самая пыль-его») — говорится в ответ на предложение вернуться в комнату, где убирали обломки обвалившегося потолка.

Имеется ряд устойчивых сочетаний с ЭМ *-аш*, применяемых к конкретному случаю: *бало ба пасаш* «шут с ним» (букв. «беда ему вслед»); *хоқ бар сараш* «пропади оно пропадом» (букв. «прах на его голову»); *он тарафаш* «все остальное» (букв. «та сторона-его») и т. п. Первые два могут употребляться и по отношению к конкретному лицу.

V. Референтом ЭМ *-аш* может быть комплексный объект или комплексная ситуация (известная собеседникам), частью которой является денотат имени: (8) бухарск. *ҳозир мӯд шудас*: *ангуштарин*, *ҳалқеш*, *ана бо* (< *боз*) *инҷеш* «теперь стало модно (носить) перстень, серьги (букв. «серьги-его») и еще вот здесь» (букв. «вот здесь-его» — говорящая показывает на грудь, имея в виду брошь).

VI. Можно, по-видимому, говорить и о таком употреблении ЭМ *-аш*, которое называют отсылкой к информированности адресата, обращением к совместному опыту говорящего и адресата, напоминанием [19, с. 493; 20, с. 76—78]. П. Адамец пишет об этой коммуникативной категории в связи с чешским указательным местоимением *ten* «этот»: *Kdy už konečně půjdeme do toho kina*? «Когда же, наконец, мы пойдем в это кино?» Здесь говорится не о каком-то определенном кино, а о том, что мы уже давно собираемся пойти в кино. «...речь идет о факте в целом, несмотря на то, что местоимения относятся непосредственно к существительным (напоми-

[10] Случаи нейтрализации *-аш* по лицу в лексикализованных ласкательных обращениях. Например, в Канибадаме мать — к сыну: *бачаяки очаш* букв. «сыночек его матери», *бачаҷонаш*, *бачаякаш* букв. «ее сыночек»; в Бухаре: *бачеш* букв. «ее сынок» и др.

нание о предметах как бы напоминает о фактах и ситуациях в целом)» [20, с. 77]. К. Тагал называет это явление неким анафорическим определением всего высказывания [19, с. 497, примеч. 12]. Характерной чертой «напоминающего» местоимения *ten* является его употребление с именами собственными, а также то, что оно может сопровождать все существительные в предложении: *Jak to, že ta babička nepřinesla ten kabát pro toho Martina?* букв. «Неужели эта бабушка не принесла то пальто для этого Мартина?» П. Адамец подчеркивает типичность и высокую частотность подобных предложений для чешской разговорной речи и видит в них одно из характерных отличий чешской разговорной речи от русской. В русском нечто подобное может выражаться частицей *-то*: *В Москву-то мы не поехали.*

Покажем таджикские образцы с ЭМ *-аш*, в том числе и при имени собственном. Диалог актера Рамиза, ушедшего из театра, и его приятеля, пытающегося устроить его на киностудию: (9) — *Ман гапзанон кардам, Ромиз...— Мон ... лозим не...* ***Театраш*** *чӣ шуд, ки* ***кинояш*** *шавад. Хубаш кори деҳқонӣ* (СШ-83, № 11. Сорбон, Актер) «— Я поговорил, Рамиз... — Оставь... не надо... Не вышло в театре, не получится и в кино. Уж лучше крестьянская работа». Реплика собеседнику: (10) — *Ана ин Исматаш* «А вот и Исмат». В (9) ЭМ *-аш* — указание на известную обоим собеседникам и явно обсуждавшуюся ими ранее жизненную ситуацию, а именно, несложившуюся актерскую карьеру Рамиза; в (10) ЭМ *-аш* — отсылка к некой предыстории (опять-таки общем достоянии собеседников), в связи с которой выступает на сцену и Исмат (ранее он мог не упоминаться).

Если в п. I—VI употребление ЭМ *-аш* тесно связано с коммуникативной ситуацией и общим фондом знаний коммуникантов, то в п. VII—X (см. ниже) оно (ЭМ-*аш*) по большей части коррелирует с анте- и постцедентами в тексте.

VII. В оборотах типа: а) *эбаш-катӣ* «к месту» (*эб* «подходящий, достойный», *-катӣ* — послелог совместности); б) *вахту соаташ-катӣ* «ко времени, в свое время» (разг. *вахт*, лит. *вақт* «время», *соат* «час») [11]; в) *дар мавридаш* «при подходящем случае»; — все, т. е. а), б), в) — в предикативной позиции и часто носят характер сентенций; г) *мавридаш ояд* «если представится случай» (*маврид* «случай, обстоятельство; момент, время») — в названных и подобных им оборотах ЭМ *-аш* имеет в виду обстоятельство, случай, акцию, чья уместность, своевременность обсуждается. При этом ЭМ *-аш* может быть анафорическим или катафорическим. В первом случае ему по большей части предшествует субстантивный антецедент, во втором — следует предикативный постцедент. Примеры: (11) — *Э бас, худ ба худ амр дод Саидбек, шиква ҳам эбаш-катӣ* (МВ) «Хватит,— приказал себе Саидбек,— хватит жаловаться», т. е. «жалоба тоже (должна быть) к месту»; (12) разг. *Ҳар кор вахту соаташ-катӣ* «Всякому делу свое время»; (13) *Ягон мавридаш ояд гап мезанам* [21] «Когда представится удобный момент, я скажу».

VIII. В оборотах с *кам-аш* «минимум» (*кам* «малый, *-о*») ЭМ *-аш*, употребляясь катафорически, служит отсылкой к тем объектам или событиям, минимальный уровень которых (по количеству или по значимости) оговаривается. Постцедент может быть субстантивным или предикативным: (14) *Ҳар як сокини Ҳуррамӣ ҳатто муаллимону дигар хидматчиен*

---

[11] Ср. русск. *свой* «подходящий, годный для данных обстоятельств, данного случая»: *Всякому овощу свое время* [4, IV, с. 102].

ҳам, камаш як ё ду гов ва даҳ-понздаҳ сар бузу гӯсфанд доранд (ОИ) «Каждый житель (деревни) Хуррами, даже учителя и другие служащие, имеет, самое меньшее, 1—2 коровы и 10—15 голов коз и овец».

IX. Референтом ЭМ *-аш* может быть класс, род объектов, некоторое множество однотипных объектов, иногда — понятие. Наиболее характерны модели типа: прилагательное [12] + *-аш*; указательное местоимение *ин* «этот» + *-аш*; *ин хел* «такой» + *-аш* — обычно с субстантивным антецедентом. Приведем примеры. (15) Сцена в сельпо: — *Ягон чиз харидан мехоҷед? — Кордчаи алмос даркор, барои ришгирӣ...— Лекин аз он кордакҳои шумо мекофтагӣ нест. Медонам, ки ба шумо, муаллим, эронӣ ё* ***полякиаш*** *даркор* (БШ) «— Хотите что-нибудь купить? — (Мне) нужны лезвия для бритья...— Но тех лезвий, что Вы ищете, нет. Я знаю, что Вам, уважаемый, нужны иранские или польские». В сатирическом рассказе «Угощение» хозяйка дома подходит к креслу, где сложены принесенные ей подарки: (16) — *Инаш, ба фикрам, тӯҳфаи Хосият. Ку, бинам, чӣ бошад* (АС-83, 19. IV. Солеҳов Ш. Зиёфат) «Вот (букв. «этот-его»), по-моему, подарок Хосият. Посмотрю-ка, что там такое». В (15) ЭМ *-аш* — ссылка на лезвия, в (16) — на совокупность подарков. Таким образом, ЭМ *-аш* выполняет идентифицирующую функцию, свойственную определенному артиклю, причисляя данный объект или данную разновидность к упомянутому ранее или непосредственно наблюдаемому классу, роду или совокупности объектов [13].

Думается, что именно на почве идентификации зиждется субстантивирующая роль ЭМ *-аш* в подобных моделях, роль, отмечаемая, например, Р. Гаффаровым [22].

X. И, наконец, референция к предшествующему тексту, высказыванию, в частности, к упоминанию данного имени (с которым связано ЭМ *-аш*) в предшествующем тексте, см. пример (1). В настоящей статье мы хотели бы подробнее остановиться на образцах именно такого рода. В них наиболее ярко проявляется параллелизм таджикского ЭМ *-аш* с русскими указательными местоимениями (см. [23, с. 123] о текстообразующей функции русского местоимения *этот*, [19, с. 492, 497, примеч. 11; 20, с. 76], где в этом плане сопоставляются чешский и русский языки, а также [24] об указательных местоимениях в русских поэтических текстах XIX—XX вв.).

В примере (1) представлена модель в о п р о с и т е л ь н о г о п р е д л о ж е н и я. Его содержание — попытка адресата идентифицировать объект, названный говорящим. Функция ЭМ *-аш* в такой модели — чисто анафорическая («намек назад»). Приведем полностью юмореску Б. Гани «Хамелеон», построенную на разговорной речи. (17) *Муфаттиш Исмоилтагои хамсояи моро даъват кард.— Шумо Ятим Низомовро мешиносед? — Мешиносам.— Хонааш дар кучост, медонед? — Медонам. Наход одам хонаи хешашро надонад.— Хӯш, хешу ақрабояшро медонед? — Чӣ хел немедонистам? — Ана ҳамин хеши шумо,— гуфт муфаттиш,— дирӯз дар сари як чиноят дастгир шудааст, медонед? — Ҳамту-я,— мад кашид Исмоил-таго ва илова кард: — О, истед, ки рафиқ муфаттиш. Ин* ***Ятим Низомоваш*** *кадом, вай дар кучо кор мекунад? — Чашмони муфаттиши чавон калон кушода шуданд* (АС-84, 5.VII. Ғанӣ Б. Бӯқала-

---

[12] В том числе в сравнительной степени.

[13] Ср. выраженную партитивность — с исходно-отложительным предлогом у субстантивного антецедента и с ЭМ 3-го л. мн. ч. *-(а)шон*: куляб.-гиссар. *ай писар-бачаҳо бисйор-шон калхос-да кор мекънад* [15, с. 62] «многие из ребят (букв. «из ребят многие их») работают в колхозе».

мун) «Следователь пригласил нашего соседа дядю Исмаила.— Вы знаете Ятима Низамова? — Знаю.— И знаете, где его дом? — Знаю. Кто не знает дома своего родственника? — Хорошо. А его близких знаете? — Еще бы не знать! — А то, что этот самый Ваш родственник,— сказал следователь,— вчера захвачен на месте преступления, это Вы знаете? — Вот так та-ак,— протянул дядя Исмаил и добавил: — Погодите, товарищ следователь. Какой это Ятим Низамов (букв. «этот Ятим Низамов-его который»?), где он работает? — Молодой следователь широко раскрыл глаза».

В предпоследней фразе ЭМ *-аш* идентифицирует имя собственное *Ятим Низомов* по отношению к тексту, отсылая к его (имени) предшествующему упоминанию. По сути дела, здесь можно было бы говорить об использовании ЭМ *-аш* для передачи текстовой определенности, т. е. о близости еще к одной функции определенного артикля. Это подтверждается одновременным факультативным использованием анафорического местоимения *ин* (*ин Ятим Низомовaш*).

Вспомним снова русские обороты с лично-притяжательным местоимением, где *мой*, *наш*, *Ваш* выполняют аналогичную (отчасти) функцию. Нам кажется допустимой замена последних на *тот*, *этот*: вм. *мой старичок — этот старичок*.

Различие русских и таджикских моделей — в выборе притяжательных местоимений (по признаку лица: в русском употребительны местоимения 1-го и 2-го лица ед. и мн. числа, в таджикском — ЭМ 3-го лица ед. числа), а также в стилистической (эмоциональной) окрашенности моделей (в таджикском — скорее нейтральной).

Более существенное отличие заключается в том, что в таджикской разговорной речи часто антецедент приименного анафорического ЭМ *-аш* — не субстантивный, а предикативный: содержание предшествующего высказывания в целом или его части (в других терминах — пропозициональный компонент [2, с 28; 3, с. 10, 159, 164]). Русские в подобных случаях употребят не лично-притяжательные местоимения, а указательные [14]. *Инспектор ходил по классу, ничего не говоря, а* **это** *был дурной знак* (цит. по [18, с. 87]); *Продам мешок огурцов, на* **эти деньги** *курицу куплю* (цит. по [2, с. 29]). Нельзя сказать * *на его деньги*. Ср. в таджикской разговорной речи, в рассказе о том, как человек приехал на новое место работы, в колхоз: (18) — *Барои Шумо хонаи истиқоматии муносиб нест,— гуфт раис дар идора.— Ҳоло дар хонаи ягон кас, хоҳед дар хонаи ман, зиндагӣ кардан гиред, баъдтар* ***и.ючашрэ*** *меебем* (АС-84, 5.VI. Худойбахш Н. Гилаи айёр) «— Нет для Вас подходящего жилья,— сказал председатель в правлении.— Поживите пока у кого-нибудь, если хотите, у меня, а потом мы найдем выход из положения» (букв. «выход-его»).

Дж. Мурватов, анализируя материал южных таджикских говоров [15, с. 63], пишет: «Энклитическое местоимение 3-го л. ед. ч., присоединяясь к именным частям речи, показывает их связь с мыслью, высказанной ранее (19) — *намеой зардолу бъчинӣ? гуфтъм, ҷога-ш-а надоръм* [15] «— Ты не пойдешь собирать абрикосы? — Я ответил(а): — У меня нет для этого посуды»; (20) — *аловӣ надоръм, хъдо бъгира беалови-ш-а* «— У меня нет дров, шут бы побрал это дело» (букв. «бездровие-его»).

Заметим, что приводимые Дж. Мурватовым образцы — в нашей ну-

---

[14] То же — в чешском [20, с. 75], в иберо-романских языках [8, с. 60, 115 сл.].

[15] Там же дается литературный эквивалент диалектной фразе: *Намеой зардолу чинем? — Ман ҷавоб додам, барои ин ҷогаҳ надорам.* При этом диалектному ЭМ *-аш* соответствует литературное указательное местоимение *ин* «это»: южн. *ҷога-ш-а* букв. «посуду-его», лит. *барои ин ҷогаҳ* букв. «для этого посуду».

мерации (19) и (20) — различаются между собою по характеру производимой в них кореферентной замены. В (19) только ЭМ *-ш-* кореферентно предшествующему высказыванию (т. е. *ҷога-ш* «посуда-его» — это посуда для упоминавшегося собирания абрикосов), тогда как в (20) вся именная группа (*беалови-ш*) кореферентна высказыванию (*аловй надоръм*); т. е. содержание предшествующего высказывания резюмировано в имени, а ЭМ *-аш* выполняет артиклеобразную функцию, как и в образцах типа *Сафар-аш*, *Ятим Низомов-аш*.

Ниже приводятся некоторые типы контекстов с анафорическим ЭМ *-аш*.

ЭМ *-аш* регулярно появляется в неначальных фразах [16] в таком типе контекста, когда говорящий намерен уточнить, поправить, дополнить, пояснить сказанное, предложить альтернативу и т. п. В этом случае непервая фраза начинается с прилагательного субъективной оценки (типа *саҳеҳ*, *дуруст*, *рост*, *аниқ* «правильный, точный», *муҳимм* «важный», *аҷиб* «удивительный», *хуб*, *нагз* «хороший», *мӯл* «обильный») в сопровождении ЭМ *-аш* (*аҷибаш ин ки...* «удивительно то, что...»); то же прилагательное в сравнительной степени + *-аш* [*беҳтараш* «(уж) лучше», *аниқтараш* «точнее»]. ЭМ *-аш* здесь — ссылка на предтекст. Примеры. Из «Анекдотов» («Латифаҳо»): (21) *Пассажир аз поезд монд.— Рейси дигар соати чанд ба роҳ медарояд? — пурсид ӯ аз шӯъбаи маълумотдиҳӣ.— **Беҳтараш** шумо адресатонро монда равед, мо мактуб менависем — ҷавоб доданд ба ӯ* (АС-84, 13.XII. Подгот. Зиёдуллоев М.) «Пассажир отстал от поезда.— В котором часу следующий рейс? — спросил он в столе справок.— Вы лучше (букв. „лучше-его") оставьте свой адрес, мы (Вам) напишем,— сказали ему в ответ»; (22) *Ҳа, ду сол аст, ки Наҳанг бо хулқ... ва тарзи зиндагии юрмонҳо ошност. **Аниқтараш** вайро бо юрмонҳо хӯҷаин шинос карда буд* (АС-84, 25.X. Ҳакимов Ғ. Бӯи шир) «Да, вот уже два года, как Нахангг (щенок) познакомился с повадками сусликов. Точнее (букв. „точнее-его"), с сусликами его познакомил хозяин»; (23) из личного письма:... *маро бубахшед, ки китобчаҳои худро бароятон дертар мефиристам. **Росташ**, фикр мекардам, ки ин навъ дастурҳоро шумоён намехонед, зеро вақт надоретон* «Извините меня за то, что посылаю вам (двоим) свои брошюры с опозданием. По правде сказать, я думал, что вы не читаете такого рода учебные пособия за неимением времени»; (24) *Фотимахон баъди вафоти Гулафзо ба хонаи Ҳайдар тамоман кӯчида омад. Онҳо акнун якҷоя зиндагӣ мекарданд, аммо никоҳи худро дар ЗАГС ҳанӯз ба расмият надароварда буданд. **Дурусташ**, ин корро Ҳайдар ба ақиб мепартофт...* (БШ) «Фатимахон после смерти Гульафзо совсем переселилась в дом Хайдара. Они теперь жили вместе, однако еще не зарегистрировали свой брак официально в загсе. Вернее, дело затягивал Хайдар...».

Подобные приведенным прилагательные субъективной оценки могут встречаться в тексте без ЭМ *-аш*. Ср., например, ниже, два образца из одного источника — путевых заметок по Франции — в (25) *аҷибаш*, в (26) *аҷиб* «удивительно»: (25)... *Моро дар хуҷраҳои се-чор касаи танг ҷо доданд. Катҳои хоб, монанди купэи вагон, болои ҳам меистоданд. Рафиқон маро иззат карда ба кати поён хобонданд. **Аҷибаш** ин, ки дар хобгоҳ ҳаммому хоҷатхона барои занону мардон умумӣ буд* (БШ) «Нас поместили в тесных трех-четырехместных комнатах. Спальные места, как в вагонном купе, помещались друг над другом. Товарищи оказали мне уважение, по-

[16] Или не в начале фразы — как конкретизация какого-либо слова общего или неопределенного значения.

местив на нижнее место. Удивительно, что в общежитии были общие для женщин и мужчин баня и туалет»: (26) *Дар рӯи ҳавлӣ ду мошини сабукрави «Супер» ва «Ситроен» меистод. Аҷиб, ки ду чархи қафои «Ситроен» ба ишкамаш гӯтида ба назар наменамуд...* (БШ) «Во дворе стояли две легковые машины, „Супер“ и „Ситроен“. Удивительно, что два задних колеса „Ситроена“, втянутые в его брюхо, не были видны...».

В (26) *аҷиб* не поясняет предшествующий текст, а вводит мысль, достаточно автономную, тогда как в (25) *аҷибаш* обеспечивает более тесную связь двух фраз.

В приведенных образцах *аҷибаш*, *росташ* и др. преимущественно выступают в качестве вводного слова. Используются и другие модели, например: *аҷибаш ин/он ки...* «удивительно то, что...», *аҷибаш боз ин буд ки...* «удивительным было еще то, что...». В таких моделях связь с предшествующим текстом обеспечивается анафорическим ЭМ *-аш*, а связь с последующим текстом — катафорическим указательным местоимением *ин/он*.

Аналогичным образом, ЭМ *-аш* используется в непервой фразе текста, если эта фраза является выводом, умозаключением на основе предшествующего текста или предположением по поводу вышеизложенного. Мы имеем в виду обороты с вводно-модальными словами типа *аслаш* «в сущности, по сути дела» (лит. *асли кор*, *дар асл* — *асл* «суть, существо»); (*аз*) *афташ* (ср. лит. *аз афти кор*) «очевидно, по-видимому, наверно» (*афт* «лицо, внешность, вид»); бухар. *ачоқаш* «наверно» (*ачоқ* < *аз чоқ*, где *чоқ* «предположение»). Примеры: (27) ...*ба худ мегуфт: — Хуррам маро дӯст медошт, дили ман ҳам аз байни ҷавонони деҳа ба вай моил буд,..., аммо чӣ кунам, ки тақдир нарафта будааст...* ***Аслаш***, *дугонаҳоям сабаб шуданд* (АС-84, 16.II. Фирӯз Б. Ташнагӣ) «...она говорила себе: — Хуррам любил меня и я отличала его среди юношей деревни,..., но что делать, если не судьба.... В сущности, причиной были мои подруги»; (28) *Дар боло гунҷишкон чириқ- чириқ мекунанд. Аз* ***афташ***, *дар шохаҳои дӯлона нишастаанд* (МВ) «Вверху (над головой человека, висящего над пропастью.— *М. Е.*) чирикают воробьи. Наверно, они сидят на ветках боярышника»; (29) бухар. *ин кас наомадан имрӯз.* ***Аноқаш***, *шавҳарашон омдаген* «Она сегодня не пришла. Наверно, приехал ее муж».

Наконец, ЭМ *-аш* в *майлаш* «ладно, идет» — при испрашивании (говорящим) или изъявлении (адресатом или говорящим) согласия, одобрения, подтверждения. В таком значении имя *майл* («желание, склонность») без ЭМ не употребляется. Примеры. Девочка обращается к матери: (30) — *Оча, рӯзи бозор Қалъаи Ҳисор, равам,* ***майлаш***? (ЭА) «Мама, я поеду в базарный день в Гиссарскую крепость, хорошо?». Из «Анекдотов»: (31) — *Модарҷон, ба ман ягон афсона нақл кунед! — илтимос намуд Лола из модараш.—* ***Майлаш*** *гӯш кун. Буд набуд духтараке буд....* (АС-84, 13.XII. Подгот. Зиёдуллоев М.) «Мамочка, расскажи мне сказку! — просит Лола.— Ладно, слушай, Жила-была одна девочка...». Сцена на экзаменах (между преподавателем и студентом): (32) ....*муаллим хавотир шуда гуфт: — Ҳа, саволҳо нопинос-мӣ?* ***Майлаш***, *дигар билет гир* (БШ) «...преподаватель сказал озабоченно: — Так, не знаешь вопросов? Ладно, бери другой билет». Дети уговаривают мать ехать с ними за город отдыхать. Мать соглашается, думая: (33) *Бо рафтани ман димоқашон чоқ мешуда бошад,* ***майлаш***, *меравам* (АС-84, 18.X. Муҳаммадиев Ф. Эй санам!) «Если у них от того, что я поеду, будет хорошее настроение, так и быть, поеду».

В (30) и (31) ЭМ *-аш* в *майлаш* — ссылка на предтекст, в (32) и (33)

можно, как кажется, говорить о катафоре *-аш*: согласен на замену билета; согласна на то, чтобы поехать [17].

Высказывалось мнение об идиоматичности *майлаш* [16, с. 552]. По-видимому, поводом для этого послужила неочевидная референтная отнесенность ЭМ *-аш* Ср. иную отнесенность (к собеседнику/-ам), т. е. собственно притяжательное значение у ЭМ 2-го л. *-ат* (ед. ч.), *-атон* (мн. ч.) в сочетаниях *майлат*, *майлатон* «ладно» букв. «воля твоя, Ваша/ваша» [18]. Эти сочетания встречаются в разговорной речи при изъявлении согласия в ответных репликах. Примеры: (34) — *Шодмон, хӯрок хӯрем-чӣ, то сар шудани кино хеле вақт ҳаст.— Пас ба духтар рӯй овард.— Чӣ гуфтӣ, Мадина?... — **Майлат**, агар зиёфат аз ҳисоби Шодмон шавад,— хандида гуфт ӯ* (СШ-84, № 1. Мирзоев К. Шабе дар Кабудҷар) «— Шодмон, что если мы поеди́м — до начала кино еще много времени.— Затем он повернулся к девушке.— Что скажешь, Мадина?...— Согласна (букв. «воля твоя»), если угощение будет за счет Шодмона,— засмеялась она»; (35) — *Мебахшӣ, ҷиян. Ман аз ту як чизро пурсиданӣ.— **Майлатон**, амак, пурсидан гиред* (ОИ)» — Извини, племянник, я хотел у тебя спросить одну вещь.— Пожалуйста (букв. «воля Ваша»), дядя, спрашивайте».

Встречается также форма *майлашон* (ЭМ *-ашон* 3-го л. мн. ч.) с референцей к субъекту: «пусть их» (букв. «воля их»).

Во всех этих случаях допустима замена *майл-ат*, *майл-атон*, *майлашон* на *майлаш* как форму, нейтрализованную по признаку лица; с точки зрения речевого этикета *майлаш* воспринимается как вариант сравнительно менее вежливый.

См. сходное с *майлаш* по смыслу и форме употребление *ихтиёраш* «пускай, пусть» (*ихтиёр* «воля, выбор»), например, в следующей ситуации. В самолете международного рейса пассажирам разносят завтрак, включающий малую дозу коньяка. Мусульманские паломники (хаджи́) отказываются от вина, а сопровождающий их врач думает: (36) *Хеле хуб. 17 хоҷӣ нанӯшад, **ихтиёраш**. 18-умаш менӯшад. Шояд ки хоби гурезон пас ояд* (МД) «Очень хорошо. 17 хаджи пусть не пьют, а 18-й выпьет. Может быть, хоть удастся заснуть».

Возможно (при обращении к собеседнику/-ам) употребление *ихтиёр* с ЭМ *-атон* (2-е л. мн. ч.): *ихтиёратон* «как хотите, воля ваша/Ваша» (ср. выше *майлатон*).

Поэтому можно говорить скорее о лексикализации, чем об идиоматизации *майлаш*.

В обзорной статье, посвященной проблемам референции, Н. Д. Арутюнова пишет (в связи с разграничением теории значения и теории референции): «Теорию референции интересует „возвращение“ языка к действительности, ее беспокоит вопрос о том, как значимые единицы языка прилагаются к миру, благодаря чему они могут понятным для адресата образом идентифицировать предметы» [1, с. 11].

---

[17] Приблизительным эквивалентом тадж. *майлаш* в русском, кроме *ладно, хорошо, идет*, можно считать выражение *так и быть* (в ответной реплике), содержащее так называемую проформу *так* (местоименную замену пред- или посттекста).

[18] Ср. сходную картину в узбекском языке: с одной стороны, *майли* (с афф. принадл. 3-го л. *-и*) «ладно, хорошо» — при ссылке на пред- (или пост-) текст, с другой стороны, *майлинг* (с афф. принадл. 2-го л. ед. ч.) «как хочешь, воля твоя», *майлингиз* (с афф. принадл. 2-го л. мн. ч.) «как хотите, воля ваша/Ваша». Аналогично в узб. *чама-си* и *чама-м-да* «вероятно» (*чама* «предположение», *-си* — афф. принадл. 3-го л., *-м* — афф. принадл. 1-го л. ед. ч., *-да* — афф. местного падежа). Ср.: *Чамаси биз ютсак керак* «Вероятно, мы победим» и *Чамамда биз ютсак керак* «Вероятно (я полагаю), мы победим» (узбекские примеры любезно сообщены А. Б. Джураевым).

Конкретный материал таджикской разговорной речи свидетельствует, в частности, что в определенных типах контекстов (и конситуаций) приименное лично-притяжательное энклитическое местоимение *-аш* употребляется не-лично и не-притяжательно. Принадлежность или отнесенность к лицу трансформировалась здесь в отнесенность к предшествующему или, реже, последующему тексту (частный случай — к предшествующему упоминанию имени, которому ЭМ *-аш* суффигируется).

Используясь анафорически (реже катафорически), ЭМ *-аш* сужает, ограничивает область референции имени (которому суффигируется) и, таким образом, служит его «уточнителем» [1, с. 18], актуализатором. См. употребление ЭМ *-аш* в связи с очень конкретными обстоятельствами: (37) ...***Росташро*** *гӯй*: *ман ба ту маъҳул*? (ЭА) «Скажи правду (*рост*): я нравлюсь тебе?»

Как любое анафорическое (или катафорическое) местоимение, ЭМ *-аш* служит указанием на пред- или постинформацию и тем самым связывает части текста между собою. Наиболее отчетливо это проявляется в таджикской разговорной речи там, где антецедентом ЭМ *-аш* является предшествующее высказывание в целом. Например, в (21)—(25) ЭМ *-аш* обеспечивает межфразовую связь пояснительного типа и может считаться формальным средством ее выражения.

Начав статью сопоставлением ЭМ *-аш* с русскими личными притяжательными местоимениями, мы заканчиваем ее сопоставлением с русскими указательными местоимениями.

Е. В. Падучева проводит разграничение между русским субстантивным местоимением *это* и частицей *это*. Основные критерии разграничения: 1) наличие у местоимения *это* антецедента либо обозначение им внеязыкового объекта или ситуации; 2) статус самостоятельного члена предложения у местоимения — и отсутствие таких признаков у частицы *это*. У местоимения *это* Е. В. Падучева различает самостоятельные и служебные синтаксические функции, относя к служебным те употребления *это*, «где анафорическая связь, в которую вступает *это*, входит в число средств структурной организации предложения» [18, с. 84].

Руководствуясь этими критериями, присмотримся к таджикскому ЭМ *-аш*. С одной стороны (и это отразилось в его номенклатуре: «местоименная энклитика», «местоименный суффикс»), оно не является отдельным членом предложения, примыкая в рассматриваемых нами случаях к имени (существительному, прилагательному, местоимению), и, следовательно, не принимает на себя ударения, что, по Падучевой, является «внешним различием», хотя и неустойчивым, между местоимением и частицей [19]. С другой стороны, ЭМ *-аш* имеет антецедент, субстантивный или предикативный, хотя это и не во всех случаях одинаково очевидно.

Что касается синтаксических функций, то, как было показано выше, можно говорить об ЭМ *-аш* как средстве структурной организации сверхфразового единства.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Арутюнова Н. Д.* Лингвистические проблемы референции.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. М., 1982.
2. *Падучева Е. В.* Референциальные аспекты высказывания (семантика и синтаксис местоименных слов): Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1982.

[19] Безударность ЭМ *-аш* в таджикской разговорной, особенно диалектной, речи не абсолютна. Этот вопрос исследован явно недостаточно.

3. *Падучева Е. В.* Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985.
4. Толковый словарь русского языка. Под ред. Ушакова Д. Н. Т. I. М., 1935; Т. II. М., 1938; Т. IV. М., 1940.
5. Грамматика русского языка. Под ред. Виноградова В. В. Т. I. М., 1952.
6. Словарь русского языка. 2-е изд. Под ред. Евгеньевой А. П. Т. I. М., 1981; Т. II. М., 1982; Т. IV. М., 1984.
7. *Селиверстова О. Н.* Экзистенциальность и посессивность в языке и речи: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1982, с. 26.
8. *Вольф Е. М.* Грамматика и семантика местоимений (На материале иберо-романских языков). М., 1974.
9. *Цивьян Т. В.* Об одном аспекте посессивности и способах его выражения в балканских языках.— В кн.: Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984.
10. *Капанадзе Л. А.* Номинация.— В кн.: Русская разговорная речь. М., 1973, с. 437.
11. *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. 13-е изд. Под ред. Шведовой Н. Ю. М., 1981, с. 703, 63, 351.
12. *Расторгуева В. С.* Очерки по таджикской диалектологии. Вып. 5. М., 1963, с. 30.
13. *Богорад Ю. И.* Рогские говоры таджикского языка.— Тр. Ин-та языкознания АН СССР, 1956, т. VI, с. 147.
14. *Керимова А. А.* Говор таджиков Бухары. М., 1959, с. 27.
15. *Мурватов Ҷ. Ҷонишин.*— В кн.: Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ. Морфология. Ҷ. 2. Душанбе, 1979.
16. *Неменова Р. Л.* Краткий очерк грамматики таджикского языка.— В кн.: Краткий таджикско-русский словарь. Сост. Калонтаров Я. И. М., 1955.
17. *Сиёев Б. Ҷонишин.*— В кн.: Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷ. 1. Муҳаррирони масъул: Рустамов Ш., Ғаффоров Р. Душанбе, 1985, с. 162.
18. *Падучева Е. В.* Значение и синтаксические функции слова *это*. — В кн: Проблемы структурной лингвистики. 1980. М., 1982.
19. *Адамец П.* К вопросу о выражении референциальной соотнесенности в чешском и русском языках.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985.
20. *Адамец П.* Различия в выражении анафорических отношений между русским и чешским языками.— Русский язык за рубежом, 1984, № 5.
21. Краткий таджикско-русский словарь. Сост. Калонтаров Я. И. М., 1955, с. 208.
22. *Ғаффоров Р.* Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ. Ҷ. 3. Душанбе, 1979, с. 38—39.
23. *Ревзин И. И.* Некоторые средства выражения противопоставления по определенности в современном русском языке.— В кн.: Проблемы грамматического моделирования. М., 1973.
24. *Ковтунова И. И.* Поэтический синтаксис. Гл. III. Местоименная поэтика. М.,1986.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1987

ЦКИТИШВИЛИ Т. К.

ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ ГРУЗИНСКОГО ЯЗЫКА

Грузинский — единственный древнеписьменный язык в семье иберийско-кавказских. Документально засвидетельствованная история грузинского письменного языка берет начало в первой половине V в. н. э. Среди дошедших до нас самых ранних письменных памятников можно назвать: надписи в Палестинском грузинском монастыре (30-е годы V в.), в Болнисском Сиони (492 г.), в Укангорской церкви (V—VI вв.), в Атенском Сиони (VII в.) и др. Образцами древнейшей письменности являются и так называемые ханмэтные и hаэмэтные палимпсесты (содержащие в основном фрагменты библейских книг), Синайский Многоглав 864 г. (первая датированная рукопись), Четвероглавы: Адишский (897 г.), Опизский (913 г.), Джручский (936 г.), Ошкская библия (978 г.) и многие другие памятники IX—X вв. Палеография древнегрузинских надписей и других образцов письма [1, с. 235—236; 2—5], данные историографии [6—8], а также,— что особенно важно,— разработанность языка памятников V—X вв. позволяют высказать предположение о существовании более глубоких историко-культурных традиций грузинского письма.

За долгий период своего существования грузинский язык послужил основой самой разнообразной литературы: библейской, духовной, теологической, философской, исторической, юридической. Особое место занимают памятники художественной литературы (как оригинальные, так и переводные), отличающиеся высокой эстетической ценностью, начиная с первого текста — «Мученичество св. Шушаники» (475—484 гг.), кончая поэтическими и прозаическими текстами XVIII — нач. XIX вв. В целом рукописи отражают всю духовную жизнь грузинского народа V—XIX вв.

Довольно рано проявляется и интерес к изучению грузинского языка. Грузинские историки и писатели X—XI вв. (Иоанн Зосимий, Иоанн, Евфимий и Георгий Мтацмидели, Леонтий Мровели, Ефрем Мцире, Арсений Икалтоели, Иоанн Петрици и др.) в своих сочинениях высказывали немало ценных соображений по истории грузинского языка и письменности. Особое внимание придавалось единству и чистоте литературного языка. По их общему мнению, для литературного творчества необходимо глубокое познание родного языка. А поскольку большую часть памятников того времени составляли переводные тексты, то требовалось совершенное знание и других языков.

Вследствие такого бережного отношения к родному языку и возникла необходимость в толковании и комментировании отдельных слов и выражений. Именно в этих изысканиях берет свое начало грузинская лексикографическая традиция.

В более ранних памятниках такие толкования давались в самом тексте; в этом отношении особенно характерны библейские книги. Например, в одной рукописи X в. толкуется греческое слово *ilikṭrion*: *da vixile*, *vitarca xilvaj ilikṭrionisaj*, *romel arn okroj da vecxli da rvali ertad šednobili* (Иезек

1, 27) «И видел я как бы *ilikṭrion*, что означает сплав из золота, серебра и меди»; в тексте сохранившегося в рукописи X в. («Толкование откровения Иоанна») встречаются такие объяснения: *ebraelebr ameni gamoitargmanebis*: *iqavn* (7b) «Еврейское слово *ameni* переводится „да будет“»; *da emosa γrubeli da irise*, *romel ars mšyldi cisaj berzulebr* (10, 1) «И были на нем облака и *irise*, что по-гречески значит: радуга».

Со временем заметки лексикографического характера (так называемые схолио) стали появляться на полях древних рукописей. В них для лучшего понимания текста разъясняются трудные слова и термины иноязычного происхождения, а также неологизмы. Например, редко употребляемое в древнегрузинском слово *ḳasṭabuli* толкуется так: *ḳasṭabuli saçqeo ars*, *vinca kartveli iqo*, *icode* (Sin. 36, 196 v) «*ḳasṭabuli* — это мера, кто грузин, тот пусть знает»; *miron itargmanebis surneleba* (A 1101, 181 r) «*miron* переводится как благоухание»; *mocikuli çarvlinebūlad gamoitagrmanebis* [Jer. 9, 157 r] «*mocikuli* толкуется как посланник» и т. д. Знаменательно, что нередко разъясняются также фразеологизмы и идиомы: *qovelsa šina šezmnil*, *ese igi ars*, *çurtil da gansçavlul ars* (A 390, 33 v) «Во всем искусен, т. е. опытен и всезнающ». Многочисленные примеры такого рода приведены в книге З. А. Сарджвеладзе [9].

Собранные вместе и расположенные в алфавитном порядке, эти глоссы составили бы словарь среднего формата.

Истинным основоположником грузинской лексикографии является выдающийся писатель, философ и ученый XI столетия Ефрем Мцире, которому принадлежит бо́льшая часть из традиционных толкований и комментариев слов. С исключительным языковедческим чутьем и умением исследует Ефрем Мцире значения лексем, снабжает их лингвистическими комментариями. Совершенствование и нормализация грузинского литературного языка, обогащение его лексики были постоянной заботой этого замечательного ученого [1, с. 114—145; 10, с. 117—122]. Суждения Ефрема Мцире по вопросам лексикографии весьма интересны и основаны на глубоких познаниях в этой области. Он был хорошо знаком с традициями греческой лексикографии, правильно понимал и определял сущность и значение словаря. «Вместе с этим надо знать, — пишет он, — что у греков есть такая традиция: они прилагают к книгам пояснения труднопонимаемых слов, расположенных в алфавитном порядке, что облегчает усвоение малопонятного текста, и это называют словарем. Они прилагаются к древним церковным книгам. Подобно грекам, я решил снабдить словарем и мои переводы» [10, с. 96—97].

Завершением лексикографических работ Ефрема Мцире явились его словари, которыми он снабдил два своих перевода с греческого текста: «Толкование псалтыря» и «Труды Псевдо-Дионисия Ареопагита» (он же Петр Ибер). Тем самым были по существу заложены основы грузинской лексикографии. С точки зрения теории лексикографии особенно важны принципы отбора им словарных единиц (для имени существительного — форма неоформленного падежа, т. е. именительного без окончания, для глаголов — масдар, который функционально равнозначен инфинитиву). Масдар приводит он и в тех случаях, когда в тексте его нет, хотя даны соответствующие личные формы, например, в Псалтыри встречаются формы — *icinodian* «смеялись», *ecinin* «смешно ему» и т. д., словарной единицей каковых является масдар *sicili* «смеяться, смех», не засвидетельствованный в тексте, но подобранный самим Ефремом Мцире [10, с. 119].

Из ранних лексикографических работ следует отметить также «Грузинско-арабско-персидский словарь», составленный известным политическим деятелем Парсаданом Горгиджанидзе (1626—1696). Словарь отличает-

ся большой точностью найденных лексических соответствий и лаконичностью толкований.

Подлинная история грузинской лексикографии начинается с конца XVII в., когда было создано первое законченное произведение лексикографического искусства — Толковый словарь грузинского языка, основанный не только на текстах, представляющих грузинскую письменность на протяжении двенадцати веков (V—XVII вв.), но и на материале живой речи. Автором этого словаря является крупнейший грузинский писатель и мыслитель Сулхан-Саба Орбелиани, который работал над ним на протяжении тридцати лет. Охват лексики древнегрузинского языка произведен с большой полнотой — 25 тыс. слов. По сведениям С.-С. Орбелиани, грузины и ранее имели словарь, но «из-за роковых обстоятельств и народных бедствий он на сей день утерян... За неимением словаря,— пишет автор далее,— грузинский язык сильно пострадал и обеднел» [11]. Не раз высказывалось мнение, что словарь С.-С. Орбелиани являлся образцом для того времени и не уступал первому французскому академическому словарю. Благодаря богатству представленного в нем лексического и иллюстративного материала, а также исключительной точности толкований он сыграл большую роль в дальнейшем развитии грузинской лексикографии. Именно на него опираются последующие толковые и переводные словари таких известных авторов, как Нико Чубинашвили, Давид Чубинашвили, Иоанн Багратиони, Давид Багратиони и др.

Особенных успехов грузинская лексикография добилась за последние сорок лет. Достаточно назвать восьмитомный толковый словарь современного грузинского языка под общей редакцией А. С. Чикобава. В 70-е годы был опубликован документированный словарь древнегрузинского языка, отражающий лексику V—XI вв., составленный И. В. Абуладзе. Однако до самого последнего времени мы не располагали историческим словарем грузинского языка.

В 1963 г. было принято решение начать обширные работы по изучению и установлению академического текста шедевра средневековья — поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (XII в.) — в контексте древнегрузинской литературы. Была создана картотека цитат, извлеченных из самых разных по жанрам источников V—XIX вв. Идея картотеки принадлежит известному советскому востоковеду акад. Г. В. Церетели; к работе над ней были привлечены широкие круги специалистов. Росписью литературы ежегодно занималось 100—150 человек.

Крупнейшим хранилищем памятников древнегрузинской письменности и одним из ведущих центров их изучения является Институт рукописей им. акад. К. С. Кекелидзе. В настоящее время его фонд насчитывает свыше 10 тыс. грузинских рукописных книг, из них 720 рукописей, выполненных на пергаменте. Около четырех тыс. пергаментных листов, либо в виде вложений в манускрипты, либо в виде дошедших до нас разрозненных фрагментов являются палимпсестами V—X вв. В Институте имеется и собрание рукописей (четыре тыс.) на других языках. Здесь же хранятся 45 тыс. грузинских исторических и юридических документов, относящихся к XI—XIX вв. и около 60 тыс. других архивных единиц. Кроме того, имеются большие коллекции фильмокопий и фотокопий почти всех древнегрузинских манускриптов и исторических документов, находящихся в советских и зарубежных книгохранилищах. Опубликовано 30 томов каталога с описаниями рукописей. Вся эта разнообразная литература является базой вышеуказанной картотеки. Следует отметить, что сплошь расписаны особо важные древние памятники классического

периода: полный текст древнейшей редакции Библии (все книги Ветхого и Нового завета), оригинальные агиографические памятники (в шести томах), «Житие царицы Тамары», поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», «Тамариани», «Висрамиани», «Амирандареджаниани» и некот. др.

Наличие таких источников и столь обширной картотеки (она непрерывно пополняется и на сегодняшний день насчитывает свыше 5 млн. карточек) позволило принять решение об издании монументального исторического словаря грузинского языка в десяти томах, отражающего историю грузинской лексики начиная с самого возникновения письменности, с. V в. до первой четверти XIX столетия. По своей целенаправленности это подлинный тезаурус, где история литературного языка прослеживается с обязательной соответствующей документацией в хронологически непрерывной последовательности.

Мы полностью разделяем мнение, высказанное недавно в лексикографии, что «для каждой письменности важно найти свой оптимальный вариант исторического словаря или системы словарей, учитывающих особенности ее развития, состояния источниковедческой базы, характер картотечных накоплений» [12].

Исходным положением подготовки словаря-тезауруса послужила следующая существенная особенность грузинского литературного языка: хотя на протяжении 1500 лет грузинский язык, естественно, претерпел ряд изменений в своей грамматической и лексико-семантической структуре, магистральная линия его развития оставалась неизменной. В этом аспекте грузинской язык консервативен — современному читателю тексты V в. в основном понятны по содержанию, с помощью же словаря он может легко понять смысл каждого предложения. Отметим, что создание такого словаря подготовлено самим развитием грузинской лексикографии, которая в достаточном количестве располагает словарями отдельных периодов языка: документированным словарем V—XI вв. И. В. Абуладзе, симфониями, т. е. словарями с учетом всех встречающихся слов в Четвероглаве (Новом завете) [13], в поэме «Витязь в тигровой шкуре» [14], палимпсестах [15]. Подготовлены к изданию симфония-словарь к грузинским оригинальным агиографическим сочинениям (V—XVIII вв.) и словарь лексемных основ грузинского языка (V—XI вв.). Большинство опубликованных древнегрузинских памятников снабжено обширными словарями. Таким образом, заложен фундамент для составления исторического словаря. Следует подчеркнуть чисто практический характер нашей картотеки: ею постоянно пользуются историки, этнографы, филологи, языковеды и представители других наук, по мнению которых издание ее ценнейших материалов крайне необходимо, тем более что существующие в других институтах картотеки древнегрузинской лексики не содержат полной информации о словах.

В связи с подготовкой словаря к публикации возникла необходимость конкретизировать и уточнить проблему содержания хронологических границ исторического словаря, что, в свою очередь, непосредственно связано с объемом и сроками его издания.

В европейской лексикографии, особенно XIX в., границы исторического словаря были размыты; в словари этого типа включались и диалектная лексика, и этимологии слов. Все это надолго растягивало сроки его издания. Как известно, немецкий словарь, основанный братьями Я. и В. Гримм, печатался более ста лет (1852—1960). Издание знаменитого Оксфордского словаря продолжалось 46 лет (1882—1928). Нидерландский

словарь публикуется с 1863 г., а работа над ним все еще не завершена [16, с. 268—272; 17; 18, с. 12, 13].

Принимая во внимание удручающе долгие сроки издания, некоторые лексикографы суживают программу исторических словарей и сводят их задачу лишь к изучению лексики литературного языка. Такое соображение впервые было высказано Л. В. Щербой: «Исторический словарь отражает историю лексики письменного языка, дает историю всех слов, причем фиксирует не только возникновение новых слов и новых значений, но и их отмирание, а также и их видоизменение» [19]. Мы считаем, что указанную функцию исторический словарь будет выполнять тем успешнее, чем шире хронологический охват лексики.

Учитывая опыт современной лексикографии в области составления исторических словарей, мы исходим из следующих соображений: исторический словарь должен в полном смысле этого слова отражать историю письменного языка, дать историю лексики, биографию всех слов в ее непрерывной последовательности от древнейших истоков слова, от начала письменности до ее современного состояния. В этом плане кажется совершенно справедливым положение О. Н. Трубачева о том, что «насыщение исторического словаря сравнением с диалектными и иноязычными данными, а также сведениями по этимологии способно лишь взорвать изнутри исторический словарь как таковой, а потому нежелательно. При всей относительности письменной фиксации, ее кодифицирование и адекватная интерпретация в филологических словарях документальной истории (исторических словарях) — дело огромной не только научной, но и общекультурной важности. История слова невозможна без исторического словаря, так же, как невозможна без него этимология» [20]. Ф. де Толленаре также по существу придерживается мнения, согласно которому этимология слов не является целью исторического словаря. К этимологиям должны обращаться лишь в том случае, когда это необходимо для установления значений [21, с. 99]. Такое понимание подразумевает четкое разграничение исторического и этимологического словарей. Вместе с тем восстановление и внесение в словарь потенциально возможных, но не подтвержденных источниками слов, как справедливо полагают, не должно входить в функции исторического словаря [22]. Словарь должен избегать гипотетичности и заполнения «пустых клеток». Конечно, мы не касаемся вопроса парадигматической реконструкции, к которому историческая лексикография вынуждена обращаться на каждом шагу, например, в случаях, когда на основании личных форм глагола в тексте дается заглавная форма инфинитива в словарной статье. Мы разделяем мнение тех исследователей, которые не считают разработку этимологий слов задачей исторической лексикографии. Иногда историк-лексикограф прибегает к этимологическому анализу или опирается на существующие этимологические разыскания, но это, по нашему убеждению, является только средством для выявления направления семантического развития слова. Ф. де Толленаре справедливо указывает, что историк-лексикограф должен заниматься лишь «внутренней этимологией» [21, с. 99—101].

Словарь ставит своей задачей быть тезаурусом и охватить все лексические единицы (кроме собственных имен), зафиксированные в источниках: термины различных терминологических систем, многие специальные слова иноязычного происхождения, употребляемые учеными и писателями. Существует, однако, одно исключение — за бортом словаря осталась иноязычная терминология книг по медицине, которая по существу не освоена литературным языком.

Слова в словаре располагаются в алфавитном порядке. Имена (существительные, прилагательные, числительные, местоимения) даются в форме им. падежа, глаголы — в форме масдара.

Наибольшую трудность в грузинской лексикографии представляет вопрос отбора словарной единицы, обобщающей совокупность глагольных словоформ; это обусловлено своеобразием грузинского глагола. Как известно, он является структурным ядром грузинского языка. По богатству формальных и изобразительных средств имя существительное значительно уступает глаголу, экспрессивное значение последнего велико — категории залога, версии, контакта вносят в глагольные формы как формальные, так и нередко — семантические различия.

В практике грузинской лексикографии применяются два принципа: 1) в качестве словарной единицы берется масдар, этот принцип внедрил акад. А. Г. Шанидзе; 2) словарной единицей глагола является 3-е лицо наст. времени. Так, по мнению А. С. Чикобава, богатство грузинского глагола отражается в том случае, если в качестве заглавной единицы глагола принимается личная форма (3-е лицо наст. времени) [23]. Оба принципа имеют, как известно, свои преимущества и недостатки.

Масдар не всегда засвидетельствован в текстах, его нередко приходится реконструировать как словарную единицу на основании личных форм глагола, в то же время некоторая часть глагольных форм вообще не имеет масдара. Формы 3-го лица наст. времени единого глагола различаются по залогу, контакту, версии и располагаются в разных местах алфавита. Возьмем, например, глагол *çera* «писать», для которого имеем разные формы: *çers* «пишет», *içers* «пишет для себя», *uçers* «пишет для другого», *açers* «пишет на чем-то». Налицо еще одно препятствие для составителей исторического словаря: в древнегрузинском очень редко засвидетельствованы формы настоящего времени, так что на каждом шагу мы были бы вынуждены допускать парадигматическую реконструкцию личных форм глаголов. На основе этих соображений для исторического словаря было признано целесообразным принять в качестве заглавной формы глагола масдар. В таком случае в словарной статье группируются все личные формы, которые наиболее полно отражают историю видоизменения глагола, в то время как личные формы рассеивают единые глагольные лексемы. (Кроме того, опора на последние неэкономична, так как они вызывают тавтологию пояснений.) Поэтому условно можно допустить объединение различных форм глагола одного и того же корня под одним масдаром.

Основным критерием выделения заглавного слова является семантическое тождество: все фонетические и орфографические варианты словарных единиц при наличии семантической идентичности даны вместе в единой словарной статье, например, *alaleba*, *alleba*, *alneba* «справедливо присвоить, отдать», хотя иногда приходится проводить и этимологические разыскания для уточнения фонетических соответствий одной семемы.

Явные заимствования, не требующие этимологических выкладок, сопровождаются их иноязычными соответствиями, например, груз. *aspiṭi*/*aspidi* «змея», ср. греч. ἀσπίς, ἀσπίδος.

Отдельно выделены прямые, переносные и фигуральные значения слов, даны и истолкованы фразеологизмы, идиомы. Показ лексики в широких хронологических рамках оказался особенно полезным в аспекте пояснения фразеологических и идиоматических единиц. Отчетливо выявились устойчивые обороты, для изучения которых исторический словарь предоставляет существенный материал,— выясняется, являются ли они собственно грузинскими, или созданы под влиянием других языков (кальки),

или же, наконец, являются универсалиями. В словарной статье мы стараемся как можно полнее отразить устойчивые словосочетания, в которых значение лексемы имеет сколько-нибудь особый оттенок (учитывалась классификация речений Х. Касареса [16, с. 182—257]). Так, в словарной статье *ambavi* «весть» выделено свыше 25 разных фразеологических единиц, большая часть которых сохранилась и в современном языке, а часть вышла из употребления (ср., например, *gamomγebeli ambisa* «мудромыслящий»; *davarda ambavi//ganepina ambavi* «распространился слух»).

Наиболее уязвимой стороной словаря является его объем, а также объем отдельной словарной статьи, который возрастает из-за обилия иллюстративного материала.

Иллюстративный материал, или документация, является основным источником характеристики словарной единицы и имеет существенное значение для понимания истории слова. Справедливо отмечает К. С. Горбачевич, что «примеры (цитаты и речения) составляют ту необходимую, органическую часть словарной статьи, без которой, по известным словам Вольтера, словарь становится скелетом» [24]. Для иллюстрации процесса семантического и грамматического видоизменения слов этот материал дается в непрерывной последовательности на каждом хронологическом уровне. Поэтому объем документации определяется биографией каждой отдельной лексемы: распространенность слова, частота его употребления; живет ли оно на всем протяжении истории языка или только на каком-либо отрезке времени; следует или слово за языком от его истоков, или возникает в последующие периоды, или наоборот, если лексическая единица перестает существовать, то с какого периода начинается сужение его семантики, употребления и затем исчезновение? На все эти вопросы должен ответить исторический словарь. И он успешно выполнит эту задачу лишь при наличии в нем соответствующей документации. Особую осторожность следует соблюдать в семантизации распространенных полисемантичных слов, которые сопутствуют языку на всем протяжении его истории, поскольку в этом случае возникает опасность накопления излишнего материала в пределах единого значения или же, напротив, утери значения при отборе материала. К малоупотребительным словам даны все примеры, даже если они и однотипны. По выработанному нами принципу, документация к разъясняемому слову, к его значению дается большей частью в вертикальном, а не в горизонтальном разрезе для показа материала в непрерывной последовательности, однако из хронологического пласта (периода) исключается материал, не отражающий полноты значения или разнообразия грамматических форм. В начало словарной статьи вынесен числовой указатель частоты встречаемости слова. Большую экономию места дает указание на порядковые номера расположенных в алфавитном порядке заглавий текстов (например, вм. Жит. Ант. 25, I указание на его порядковый номер 7, 25, I).

Значения слова даны в хронологической последовательности их фиксации, так что биография слова отчетливо видна на всем протяжении его существования [1]. Составлена пространная хронобиблиография (указа-

---

[1] Х. Касарес выделяет несколько критериев расположения значений: эмпирический, генетический, логический и исторический, которые имеют свои преимущества и неудобства. В испанской исторической лексикографии придерживались принципа, согласно которому в каждой статье сначала помещаются общепринятые и распространенные значения, затем следуют устаревшие, разговорные и переносные значения и т. д. Х. Касарес совершенно справедливо критикует подобное распределение значений [16, с. 80].

тель источников), где при каждом наименовании указаны: дата создания текста или перевода, дата и литер рукописи или рукописей, легших в основу изданного текста, например, Мученичество св. Шушаники: Шуш. 475—484/X; А 95.

Следует подчеркнуть, что инструкция по составлению словаря используется нами творчески: каждая отдельная лексема требует индивидуального подхода, конкретный лексический материал определяет и построение словарной статьи.

Работа по подготовке словаря к публикации постепенно налаживается. Первый том уже находится в печати, параллельно идет подготовка трех следующих томов; соответственно созданы три рабочих группы. В каждую из них входят пять основных штатных работников и шесть работающих по договору. Руководитель группы является составителем тома. Члены группы дублируют отобранный в картотеке руководителем материал. Затем следует наиболее сложный этап — выделение значений и их толкование. Подготовленный материал составитель тома возвращает членам группы, которые раскладывают иллюстративный материал в хронологическом порядке. И наконец, следует сверка машинописного текста с источниками. Через год будет завершена подготовка второго, третьего, четвертого томов и начнется подготовка следующих трех книг. Издание всех десяти томов намечено закончить в 1991 г. Каждый том содержит 80 печатных листов.

Преимущество словарей подобного типа уже налицо: выявлено, в частности, большое число новых значений слова. Кроме того, выявлены весьма интересные фразеологизмы. Так, для слова *adgili* «место», которое имеет 11 значений, обнаружено около 30 фразеологизмов, например: *txemisa adgili* «лобное место, Голгофа», *adgili siṭqysgebisaj* «возможность ответа» и др. Чрезвычайно полезен словарь и для раскрытия этимологии слов; он дает возможность выявить целый ряд иноязычных слов, встречающихся и в других языках.

Например, с целью выявления общих заимствований мы сверили лексический материал первых томов грузинского и русского исторических словарей на букву А. Налицо около ста общеупотребляемых слов, источниками которых являются в основном греческий и восточные (арабский, персидский, турецкий и др.) языки. Это прежде всего слова, относящиеся к области религии, культуры, науки, экономики, торговли и т. д.

На данном этапе мы приводим просто перечень общих слов (примеры из Словаря русского языка XI—XVII вв. [25] и Исторического словаря грузинского языка V — нач. XIX вв., находящегося в печати): др.-русск. *адамасъ//адамантъ//адаманитъ//адамитъ//адамидъ* «алмаз» — груз. *adama//adamasi//adamanṭi//andamanṭi//andamanṭine* 1. «алмаз; магнит»; 2. «неодолимый, непобедимый; крепкий, как сталь», ср. греч. ἀδ'αμας ἀδ'αμάντος; русск. *аеръ//аиръ* «небо; воздух; покров сосудов» — *груз. aeri// airi//haeri* «воздух; элемент», ср. греч. ἀήρ, ἀέρος; русск. *акафистъ// акафисто* «церковное песнопение во славу Христа, богоматери и святых» — груз. *aḳaṭisṭi//akatisṭo'//aḳatisṭi*, ср. греч. ἀκάθιστος; русск. *алабастръ// алавастръ//оловастръ* «алебастр; сосуд для хранения ароматных веществ» — груз. *alabasṭri//albasṭri*, ср. греч. ἀλάβαστρος; русск. *алкионъ//алконосъ//алконость* «зимородок, морская птица» — груз. *alḳyoni//alḳuni//aḷ— ḳuni*, ср. греч. ἀλκυών, όνος. Примечательно, что в эти языки одинаково проникла и греческая фразема, в которую входит это слово: русск. *алкионитские дни* «зимородковые дни» (14 тихих зимних дней, когда зимородки, по поверью древних греков, вьют гнезда и откладывают яйца) —

груз. *alkyoniani dγeebi*, ср. греч. ἀλκυόνειοι ἡμέραι; русск. *аметистъ*// *аматистъ* «аметист (драгоценный камень)» — груз. *ametysto*//*ameṭisto*, ср. греч. ἀμέθυστος; русск. *амвонъ* «возвышение в церкви перед алтарем» — груз. *ambioni*, ср. греч. ἄμβων; русск. *анкира* // *анкура*//*агкура* «якорь» — груз. *anḳyra*, ср. греч. ἄγκρα//ἀγκύρη русск. *антипатъ* // *анфилипъ* «правитель, наместник» — груз. *anṭipaṭosi* / *anṭipaṭrosi* // *anṭipaṭo* // *anṭypaṭosi* // *anṭypaṭi*, ср. греч. ἀνθυρατος; русск. *антраксъ* // *анфраксъ* «драгоценный камень (рубин)» — груз. *antraḳi*, ср. греч. ἄνθραξ; русск. *аспидъ* «ядовитая змея» — груз. *aspiṭi* // *aspidi*, ср. греч. ἀσπίς, ἀσπίδος; русск. *абабъ* /// *обабъ* «грубое сукно; одежда из грубого сукна» — груз. *aba*, ср. араб. *ʿabā* ; русск. *абаса* // *обаса* «персидская серебряная монета» — груз. *abazi*, ср. перс. *abbāsī*; русск. *абдалъ* «дервиш» — груз. *abdali* «божий раб, святой», ср. араб. *ʿabdallāh*; русск. *авва* «отец» (о настоятеле монастыря, монахе-старце) — груз. *amba* // *anba* // *aba*, ср. евр. *abba*; русск. *аламъ* «украшение, металлическая бляха или кусок ткани, шитой жемчугом, пристегиваемое к верхнему платью» — груз. *alami* «знак на одежде или на флажке, флажок», ср. араб. *ʿalam*; русск. *алача* «шелковая или бумажная полосатая ткань» — груз. *alažа* «пестрый», ср. турецк. *alaca*; русск. *алачуга* //*олачуга* «жилище у кочевников, палатка из войлочной ткани» — груз. alačuxi // *alačuqi*, ср. турецк. *alacık*; русск. *аммалъ* «носильщик, грузчик, слуга» (в странах мусульманского Востока) — груз. *amali*, ср. араб. *ḫammāl*; русск. *аманатъ*//*оманатъ* «заложник» — груз. *amanati* «посылка», ср. араб. *ʿamānat*; русск. *аракчин* // *аракчен* «шапочка, тюбетейка» — груз. *araxčin*, ср. турецк. *arakçin*; русск. *аршинъ* «мера длины» — груз. *aršini*, ср. турецк. *arşin*; русск. *маймун* // *маймуна* «обезьяна» [18, с. 17] — груз. *maimuni*, ср. турецк. *maymun*.

Выявлен также ряд общеупотребительных древнерусских и древнегрузинских слов. Слова, вошедшие в грузинский через русский, являясь поздними заимствованиями, относятся к концу XVII в. и к периоду установления особенно прочных взаимосвязей русского и грузинского народов (ср.: *apeṭiṭi*, *arsenali*, *arṭiḳuli*, *arṭeli*, *bunṭi* и др.). Из грузинского в русский перешло слово *азнауръ* «дворянин», от которого произведено прилагательное *азнаурский* «дворянский», засвидетельствованные в документах XVII в.

Представляется, что изучение такого рода материала будет способствовать уточнению некоторых общих принципов и закономерностей в области лексических заимствований.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Джавахишвили И. А* Грузинская палеография. Тбилиси, 1949 (на груз. яз.).
2. *Церетели Г. В.* Древнейшие грузинские надписи из Палестины. Тбилиси, 1960, с. 73 (на груз. яз.).
3. *Патаридзе Р. М.* Грузинское письмо «Асомтаврули». Тбилиси, 1982, с. 56—70 (на груз. яз.).
4. *Мачавариани Е. М.* Графические основы грузинского алфавита. Тбилиси, 1982, с. 56—70 (на груз. яз.).
5. *Алексидзе З., Абрамишвили Г.* Открытие в Арагвинском ущелье.— Комунисти, 1985, 19 мая (на груз. яз.).
6. История Грузии. Под ред. Каухчишвили С. Г. Т. I. Тбилиси, 1955, с. 26 (на груз. яз.).
7. Хронологическая история, составленная Отцом Мхитаром Вардапетом Аириванским. СПб., 1869, с. 384.
8. *Вахушти.* История Грузии Тбилиси, 1970, с. 309 (на груз. яз.).
9. *Сарджвеладзе З. А.* Введение в историю грузинского литературного языка. Тбилиси, 1984, с. 201—231 (на груз. яз.).

10. *Шанидзе М. А.* Введение Ефрема Мцире к Толкованию Псалтыря.— Тр. кафедры древнегрузинского языка Тбилисского Ун-та, 1968, XI (на груз. яз.).
11. *Орбелиани С.-С.* Письменное завещание: Словарь Грузинского языка. Т. I. Тбилиси, 1959, с. 25 (на груз. яз.).
12. *Глонти А. А.* Вопросы грузинской лексикографии. Тбилиси, 1983, с. 9—10 (на груз. яз.).
13. *Имнайшвили И. В.* Симфония-словарь к грузинскому Четвероглаву. Под ред. Шанидзе А. Г. Тбилиси, 1948—1949 (на груз. яз.).
14. Симфония-словарь к поэме Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре», составленная под руководством А. Шанидзе с его же предисловием и исследованием. Тбилиси, 1959 (на груз. яз.).
15. Ханмэтные тексты. Ч. I. Подготовка текста, исследование и симфония Каджая Л. Р. Тбилиси, 1984 (на груз. яз.).
16. *Касарес Х.* Введение в современную лексикографию. М., 1958.
17. *Bahr J.* Le dictionnaire allemand.— In: Tavola rotonda sui grandi lessici storici (Firenze, 3—5 maggio, 1971). Firenze, 1973, p. 25—26.
18. *Богатова Г. А.* История слова как объект русской исторической лексикографии. М., 1984.
19. *Щерба Л. В.* Опыт общей теории лексикографии.— ИАН ОЛЯ, 1940, № 3, с. 117.
20. *Трубачев О. Н.* Историческая и этимологическая лексикография.— В кн.: Теория и практика русской исторической лексикографии. М., 1984, с. 35.
21. *Tollenaere F.* L'etymologie dans le dictionnaire historique.— In: Tavola rotonda sui grandi lessici storici (Firenze, 3—5 maggio, 1971). Firenze, 1973.
22. *Сорокин Ю. С.* Что такое исторический словарь? — В кн.: Проблемы исторической лексикографии. Л., 1977, с. 6.
23. *Чикобава А. С.* Предисловие.— В кн.: Толковый словарь грузинского языка. Т. I. Тбилиси, 1950, с. 011 (на груз. яз.).
24. *Горбачевич К. С.* Словарь и цитата.— ВЯ, 1978, № 5, с. 14.
25. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. I. М., 1974.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1987

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

СКРЕБНЕВ Ю. М.

ИССЛЕДОВАНИЕ РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
(Обзор трудов Института русского языка АН СССР)

Обращение многих советских лингвистов к языку повседневного неофициального устного общения сформировало новое направление в современном языкознании. Социальная значимость исследования разговорного языка обусловлена не только малоизученностью материала, но и его общественной ролью, не менее важной, чем роль таких традиционных лингвистических объектов, как язык литературного произведения, язык писателя, язык жанра.

Владение разговорным языком — это совокупность умений и навыков, не организованных в виде упорядоченного знания. Система, реализуемая в речи по преимуществу интуитивно, нуждается, таким образом, в описании. Однако до середины XX в. живой язык повседневности систематически не изучался. Лингвисты занимались книжно-литературными текстами и анализировали записи звучащей диалектной речи (или речи носителей бесписьменных языков), не замечая при этом, что обыденная устная речь образованных жителей города весьма существенно (не менее, чем диалектная) отличается от речи книжной. Языковая система, порождающая конструкции *Универмаг сойдете*?//, *Он сказал придет что*//*Какой каблук эти туфли красные*?//, слова *цеплялка*, *царапалка*, *открывалка* или произносительные варианты *смари щас буит* (смотри, сейчас будет...), *ки:т бумаги ки:т книги*) какие-то бумаги, какие-то книги), чрезвычайно далека от стандартов, рекомендуемых нормативными описаниями русского языка, и должна изучаться особо. Регистрация и анализ подобных форм имеют серьезное познавательное и существенное прикладное значение — для выявления границ книжно-литературных норм: завтрашний день языка создается сегодня в речевом обиходе. Именно поэтому отрасль языкознания, изучающая систему неофициального устного языкового общения, может быть без преувеличения названа передним краем фронта современных лингвистических исследований.

Ведущая роль в комплексном изучении разговорной речи принадлежит группе сотрудников Сектора современного русского языка ИРЯ АН СССР, возглавляемой Е. А. Земской. Изданное этим коллективом фундаментальное исследование в четырех книгах «Русская разговорная речь» (1973—1983 гг.) не имеет себе равных по масштабам в советской и мировой коллоквиалистике. Чтобы оценить итоги многолетней работы (в группу входят Л. А. Капанадзе, Е. В. Красильникова, Е. Н. Ширяев, М. Я. Гловинская, М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова), следовало бы детально проанализировать и сопоставить содержание всех четырех книг. В настоя-

щем обзоре осуществимо лишь рассмотрение наиболее существенных положений, их краткая оценка и характеристика эволюции общей концепции разговорной речи (РР) за пятнадцать лет работы коллектива.

Поскольку отдельные книги этой серии сдавались в печать и выходили в свет по мере завершения очередного этапа исследования, распределение материала по выпускам носит отчасти концентрический характер: некоторые проблемы рассматриваются неоднократно, с учетом новых данных и новых идей, о чем будет сказано при описании третьей и четвертой книг.

Первая книга — «Русская разговорная речь» (М., 1973) — вызвала многочисленные отклики в советской и зарубежной лингвистической периодике (не менее семи рецензий), поэтому здесь достаточно напомнить лишь общие результаты первого исследовательского этапа, осуществленного на противопоставлении двух тенденций РР — тенденции к «синкретизму» и тенденции к «расчлененности».

В области фонетики на первом этапе (без обращения к инструментальным акустическим исследованиям) вскрыты следующие закономерности: деформация ударных гласных под влиянием определенного консонантного окружения, градация устойчивости согласных, доминирующая роль в русской РР консонантизма (вокалическая неопределенность, вариабельность русского слова вообще и слова в РР — в особенности). С другой стороны, отмечена тенденция к уменьшению консонантной насыщенности речевого потока.

Морфологическая система РР (автор главы — Е. В. Красильникова) характеризуется меньшей расчлененностью, чем морфология КЛЯ (кодифицированного литературного языка). Преобладает полифункциональность морфологических единиц, в чем проявляется тенденция к синкретизму. Противоположную тенденцию иллюстрируют такие отсутствующие в КЛЯ формы, как звательная форма антропонимов в апеллятивной функции — *Пап*! *Тань*! В РР неупотребительны причастные и деепричастные обороты [употребляются только адъективированные причастия и одиночные деепричастия (*лежа*, *сидя*) или деепричастия с отрицанием (*не заходя*, *не сворачивая*)]. Не используются формы страдательного залога. Таким образом, «морфологический код» разговорного языка менее обширен, чем морфологическая система КЛЯ.

Синтаксису посвящена самая обширная глава книги. Ее авторы (Е. А. Земская и Е. Н. Ширяев) не ставят своей целью охватить все важнейшие синтаксические отличия РР от КЛЯ, а чрезвычайно детально рассматривают наиболее основательно изученные ими синтаксические и синтактико-морфологические явления. Показана, во-первых, широкая употребительность в русской РР конструкций с предлогами и относительными местоимениями (*от кашля*, *в серой шубе*, *чем писать*), трактуемых как субстантивные члены предложения, занимающие позицию субъекта или объекта (*От кашля где лежит*? *Купил только от кашля*). Характерная черта разговорного синтаксиса — ситуативная конкретизация нулевых значений глаголов-предикатов: предложение *Это вы сардельку*?, обычно подразумевающее «едите», ситуативно может означать *выкинули*, *кладете*, *вынимаете* (из кипящей воды) и т. д. Русской РР свойственна непроективность фразы. Сложные предложения расчленены: главная предикативная конструкция часто находится в интерпозиции по отношению к зависимой; нередко наблюдается смещение союза в интерпозицию.

Глава «Номинация» (автор Л. А. Капанадзе) трактует ономасиологические вопросы — выявляет типы обозначения понятий, предпочтительно употребляемые модели слов. Синкретизм в РР широко представлен

семантическими стяжениями с помощью аффиксальной деривации (конденсатами): слова *сгущенка*, *зеленка*, *тушенка* и множество им подобных демонстрируют активность этого способа. Продуктивен прием замены словосочетаний существительным-спецификатором при опущении определяемого: *диплом*(ная работа), *декрет*(ный отпуск). Для РР типична нереализация правой валентности глагола — *окончить*, *сдать*, *защитить*. Перечисленные явления показывают синкретизм разговорного языка; расчлененность проявляется в глагольных номинациях: *На балконе сохнет сними пожалуйста//Поставь из чего пить//*. Широко используются метонимические переносы.

В приложении дана классификация жестов — незнаковых (ритмических и эмоциональных) и жестов-знаков (указательных, изобразительных, символов).

Во второй книге — «Русская разговорная речь. Тексты» (М., 1978) — авторы опирались «на факты языка, на реально существующие явления, представленные в современной речи высокоавторитетных носителей языка» (с. 3). В качестве информантов привлекались лица разных профессий, что способствовало установлению достоверно всеобщих, а не корпоративных или идиолектных особенностей.

В книге разграничиваются нормы РР и речевой этикет (с. 11). Так, этически допустимы признаковые номинации, относящиеся к третьему лицу: *С бородкой/ему лет сорок//*. В то же время, указывается далее, этикет запрещает использование их в качестве обращений: **С куклой/подойди ко мне*. Подобного рода обращения используются, однако, в ситуации «городской транспорт»: *С ребенком/пройдите вперед//*.

Определены жанры РР: «рассказ» (диалогизированный монолог), «собственно диалог» (наиболее распространенный жанр), «разговорные миниатюры», «сопутствующие реплики», «фразы по поводу» (не адресованные собеседнику), «полилог», характеризующийся развертыванием нескольких тем. Своеобразный жанр составляют «домашние и городские стереотипы» — ситуативные клише, прикрепленные к повторяющимся ситуациям.

Языковой материал представлен в соответствии с этой жанровой номенклатурой. Естественно, что записи рассказов, диалогов и полилогов содержательно случайны: их ценность в том, что они демонстрируют специфику формы РР. Пожалуй, еще больший интерес представляют разделы, в которых изображены типизированные речевые ситуации. Характерно, что здесь составители не документируют текстов — вообще не дают сведений о коммуникантах, что вполне оправдано. Эти записи могут служить для изучающих русский язык образцами речевого поведения в определенных ситуациях (магазины, железнодорожные кассы, телефонный разговор). Особое место в работе занимает заключительный раздел «Формулы этикета». Обучающая направленность формул подчеркнута стилистической аранжировкой примеров: *Ой, извини. Извини(-те) меня, пожалуйста — Приношу Вам свои извинения*; *Не сможешь ли ты... — Прошу Вас — Не сочтите за труд...*

В третьей книге — «Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис» (М., 1981) — акцентируются иные черты РР по сравнению с теми, которые подчеркивались в первой книге (1973 г.). Продолжая считать синкретизм и расчлененность крайне важными для характеристики системы РР, Е. А. Земская выдвигает на передний план соотношение явлений производства и воспроизводства языковых единиц. Это соотношение в РР весьма своеобразно. Система РР имеет большее, чем

КЛЯ, число заполненных клеток: говорящий пренебрегает словообразовательными, морфологическими, номинационными и синтаксическими запретами книжно-литературного узуса. На первый взгляд это свойство РР представляется самоочевидным, но даже очевидность нуждается в констатации. В том, что характеристика свойства была впервые четко сформулирована,— несомненная заслуга Е. А. Земской.

Вторая из трех частей книги посвящена словообразованию — фактически новому аспекту исследования, поскольку проблемы коллоквиального словообразования лишь намечались и бегло рассматривались в первой книге.

Специфику разговорной речи составляет неузуальное, в том числе индивидуальное использование словообразовательных моделей, не только не принятое в книжном языке, но и не свойственное коллективу в речи разговорной. Тем самым словообразование переходит из сферы парадигматических ассоциаций, устанавливающих приоритет производящих форм относительно форм производных, в динамическое свойство речевой деятельности, в своего рода компонент речевого акта. Узуально разговорными являются слова *маршрутка*, *манка*, *газировка*, *точилка* (приспособление для затачивания карандашей), *открывалка* (консервный нож). Неузуальные (окказиональные) образования: *дергалка* (выключатель, который дергают за шнурок), *сосалки* (леденцы), *надевалка* (рожок для надевания обуви).

Неузуальные слова конситуативны: словообразовательный элемент имеет лишь общее значение, уточняемое конкретной обстановкой. Так, слово *макулатурщик*, теоретически могущее означать «приемщик макулатуры» или «плохой писатель» (пишущий макулатуру), в описываемой ситуации имеет в виду сдатчика макулатуры. Слово *стадионщик* не характеризует профессию или иную общественно значимую роль лица: стадионщики на улице — люди, идущие на стадион или со стадиона.

Слова, создаваемые в речевом акте, либо естественно реализуют возможности словообразовательной системы языка (заполняют пустые клетки), либо создаются с нарушением системных закономерностей словопроизводства. В образовании имен продуктивны процессы универбации (*газировка*) и усечений (*маг* вместо *магнитофон*). Характерную черту РР составляет малая употребительность прилагательных в атрибутивной функции.

В разделе «Глагол» (написанном М. В. Китайгородской) интерес представляют наблюдения над словами типа *ликовнуть*, *манипульнуть* (с. 133), над специализацией метафорических переносов — *молоть*, *городить*, *звонить* (с. 148), над семантически диффузными единицами — *жахнуть*, *турзучить*, *шваркнуть*, *мотать*, *насобачиться*. Десемантизованы в РР глаголы-диффузы *драть*, *дуть*, *шпарить*, омонимичные «полнозначным» глаголам (с. 156).

В завершающем разделе второй части указывается, что производное слово в РР сближается со словосочетанием и предложением. «Фразеологичность семантики неузуального слова (если она у него есть) заложена в контексте, конситуации, общности апперцепционной базы партнеров данного коммуникативного акта» (с. 189).

Третья часть книги (написанная Е. Н. Ширяевым) — «Синтаксис» — построена на основе учета взаимодействия коммуникационного акта с конситуацией. Выделяются два типа незамещенных позиций: синтаксические и смысловые. В первом случае валентность прямо отсылает реципиента к контексту: *Он экзамены сдал — А она?* Во втором случае сигнализируется только смысл, но не языковая форма: пять информантов, одина-

ково осведомленные в ситуации, вербально по-разному интерпретировали высказывание *Позвони в лес* (с. 190).

Указывается, что на структуру высказывания в РР влияют три фактора: 1) контекст (речевое окружение); 2) визуально-чувственная ситуация; 3) частно-апперцепционная база — индивидуальный опыт. Единство этих факторов составляет «конситуацию». Разумеется, перечисленные факторы характерны не только для разговорной речи, но и для официального устного диалогического общения, хотя установка на официальность исключает употребление экстремально компрессированных высказываний — таких, как в последнем из приведенных выше примеров.

Демонстрируется широкая употребительность в РР бессоюзных полипредикативных высказываний, почти не встречающихся в КЛЯ. *А. А рядом стояла ушла? Б. Рядом предупредила//* (контекст); *Пушистенькая какая* (о белке; визуально-чувственная ситуация); *А. Положил? Б. Вчера еще//* (положил книгу — частно-апперцепционная база). Приводятся примеры сложных импликаций: *Пошли мигает* (об автобусе, который свернет в сторону); *Покатаешь?* (к собеседнику, купившему лотерейный билет, по которому можно выиграть автомобиль).

В РР практически любой союз или союзное слово могут быть элиминированы, даже при выражении атрибутивных отношений: *Я ему показал одну икону/у Сони висит//*. Характерно, далее, отсутствие интонационных показателей на стыке (безынтонационная связь): *Он сказал не придет завтра//*; *Я в больницу зуб болит еду//*.

Одним из наиболее важных достоинств книги (в том числе ее синтаксической части) является не только описание употребительных в РР единиц, но и четкая констатация запретов — пустых клеток, имеющихся в системе РР: так, в современной РР (в отличие от речи XIX в.) неупотребителен противительный союз *да*, коррелятивная пара *либо — либо*; союз *однако* встречается лишь в речи отдельных лиц.

Именно эта тенденция третьей монографии (как и второй) к четкому противопоставлению типичного, допустимого, разрешенного в РР неупотребительному, нетерпимому, нарушающему ее правила, свидетельствует о безосновательности противопоставления языка разговорного языку книжному (КЛЯ) по признаку кодифицированности. Разговорная речь могла считать ся в известном смысле «некодифицированной» (хотя и в ней всегда существовали определенные, пусть не сформулированные, правила) до появления столь подробных (и, фактически, нормативных по направленности), ее описаний, каким является рассматриваемое исследование.

Четвертая книга — «Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест» (М., 1983) — подводящая предварительные итоги многолетней исследовательской работы, возвращает читателя к проблематике первой книги (главы, посвященные фонетике, морфологии, жесту в РР) и содержит новые аспекты, лишь бегло затронутые в предыдущих исследованиях (главы «Лексико-семантические особенности разговорной речи», «Языковая игра»).

В главе I — «Суперсегментная фонетика» (написанной Н. Н. Розановой) — показано, что оппозиция «синкретизм/расчлененность» широко представлена и в суперсегментных свойствах разговорной речи. Повседневное языковое общение демонстрирует контрастирующие тенденции. С одной стороны, богатство просодических характеристик; с другой,— размытость, невыраженность суперсегментных показателей, ослабляемых убыстренным речевым темпом (с. 6).

Разговорной речи свойственна динамическая неустойчивость не только

служебных, но и самостоятельных, полнозначных слов. Для текстов РР характерна высокая степень упорядоченности междуударных интервалов (она несколько выше,чем в текстах КЛЯ). Н. Н. Розанова оперирует данными эксперимента: сравниваются с помощью инструментального анализа магнитофонные записи непринужденной (разговорной) и официальной (лекции, выступления и т. п.) речи одних и тех же лиц. Установлено, что в устных публичных выступлениях большинство слов, независимо от степени важности передаваемой ими информации, ударно (с. 22). Весьма существенно пояснение, что тенденция к экономии (синкретизму) осуществляется не только за счет эллипсиса: нередко элиминация целых слов заменяется ослаблением или утратой ими ударности (с. 20). Интересны наблюдения над «квазисловами» — семантически «пустыми» частицами. Их употребление никогда не сопровождается паузой колебания. Будучи лексически и грамматически избыточными, они (слова типа *вот*, *значит*, *говорит*) выполняют важную роль в ритмической организации разговорной речи. Граница такта в РР расширяется. По сравнению с КЛЯ объем текста увеличивается до двух-трех и более слов.

Подвергая экспериментальной проверке распространенное мнение об аллегровом темпе разговорной речи, Н. Н. Розанова учитывает в эксперименте не абсолютный темп, а соотношение темпов официально-публичной и разговорной речи одних и тех же лиц, выступающих в качестве информантов. Априорное положение, таким образом, подтверждено. Доказано также, что количество фонетических деформаций увеличивается с возрастанием темпа.

Глава II — «Морфология» (автор Е. А. Земская) — завершает первый этап исследования, часть которого была изложена Е. В. Красильниковой в книге 1973 г. Подчеркивается, что в морфологическом аспекте разговорная речь меньше отличается от КЛЯ, чем в синтаксисе, фонетике и словообразовании. Основное отличие РР от КЛЯ заключается не в специфическом наборе единиц (хотя некоторые различия, безусловно, имеются), а в специфике функционирования ряда грамматических единиц и в количественном соотношении (т. е. употребительности) грамматических классов слов и словоформ (с. 80).

В морфологическом строе разговорной речи более заметны черты аналитизма — тенденции к выражению грамматических значений не с помощью аффиксации, а за счет контекстуальных средств — сополагающихся слов. Морфология РР более регулярна, знает меньшее число запретов, чем морфология КЛЯ. В РР иные, чем в КЛЯ, типы связи: морфология обусловлена синтаксисом. Смысловые связи превалируют над формально-грамматическими. Отношения между словами выражаются с помощью интонации и простого соположения: *Копеечка не опускайте пожалуйста доплата//Возьми в буфете сыр остаток//* (с. 82).

Аналитизму морфологии РР способствует функционирование в ней знаменательных слов, не имеющих форм словоизменения. Выделены три класса таких слов: 1) предикативы (подразделяющиеся, в свою очередь на междометно-глагольные слова — *бац*, *ля-ля*, *бу-бу-бу*; и предикативы оценки — *не ах*, *того*, *так себе*); 2) аналитические прилагательные — *спец*, *гос*, *академ*, *гидро*; 3) релятивы (или коммуникативы), выступающие как нечленимые стереотипные высказывания, иногда состоящие из двух и более лексических единиц — *В самый раз*! *Сила*! *Ничуть*! *Не скажи*! *Идет*! *Дудки*! Первые два класса — аналоги частей речи (эквиваленты глаголов, прилагательных); слова третьего класса не имеют аналогов среди изменяемых слов КЛЯ.

Отмечено расширение валентностных свойств предлогов, управляющих в РР не только субстантивными словами, но и инфинитивом (*насчет погулять*, *про помогать*) и предложной фразой (*на после сна*, *о в гости*).

В глаголе РР более регулярно, чем в КЛЯ, представлены категории переходности (*гулять собаку*, *лопнуть шарик*) и вида (*наслушиваешься*, *почерпывать*). Степени сравнения образуются не только от качественных прилагательных (*развернутее*, *творожнее*). У существительных родовые различия выражаются в коллоквиализмах типа *врачиха*, *агрономиха*: *агрономша*. Чрезвычайно характерны для РР транспозиции временных форм глагола: волитивное значение — *я пошел*, *я побежал*; облигативное — *я пропал*, *мы влипли*, императивное значение личной формы — *пойдешь*, *сделаешь*, *хорошо?*, инъюнктивно-рефутативное — *ты работай / а они кататься будут //*.

Интересны наблюдения над единственным и множественным экспрессивным (*Сосиску дают / с зеленым горошком //*; *Ты книжки читаешь, а мне обед варить //* — множественное неодобрительное). Множественное генерализующее: *Это у Вас собаки лают?* Множественное привычное, без экспрессии: *полы*, *билеты*, *экзамены*, *двери*, *праздники*, *гости* (вероятно, множественность в каждом из подобных случаев имеет некоторое реальное обоснование).

В РР более употребительны, чем в КЛЯ, частицы и местоимения; в ней меньше, чем в КЛЯ, прилагательных, наречий и существительных. Из падежных форм имени более часто используется, чем в КЛЯ, именительный падеж. Вообще, как указывается в выводах, для РР характерна высокая употребительность немаркированных членов глагольных оппозиций. Налицо тенденция к своеобразной «деморфологизации» грамматического строя разговорного языка: соположение носителей общих, недифференцированных смыслов, нестрого очерченных лексических содержаний.

В главе III — «Лексико-семантические особенности разговорной речи» (автор Л. А. Капанадзе) — содержатся существенные сведения о специфике словоупотребления, обусловленной свойствами коммуникационного акта в РР (имеется в виду его многоканальный характер). Особую информацию в РР (как, впрочем, и в некоторых устных формах КЛЯ) несут суперсегментные единицы (методика, тон) и другие коды (жестовый, мимический.) Передача значительной части смыслов невербальными кодами отражается на семантике слов. Возникает конденсация содержания: обширная информация укладывается в минимум вербальных знаков — *очень работают*, *говорила наверху*, *продолжение про лес* (с. 150). Слово в РР характеризуется «размытостью» (М. В. Панов) смысловой структуры (с 151). Общая семантическая направленность РР — тяготение к контекстным и конситуативным значениям слов. «С точки зрения жанровой дифференциации, — указывается на с. 167, — наименее ситуационны рассказы и „ситуационны“ в высшей степени — стереотипы разговорной речи, информационный диалог и речевые миниатюры» (примеры, иллюстрирующие эти жанры, даны во второй книге монографии).

Своеобразие разговорной речи придают модальные слова и оценочная лексика. Модус высказывания свертывается в частицу, вводное слово, междометие. Специфика разговорной речи заключается, главным образом, в универсальности значений слов по сравнению со специализированностью значений слов в КЛЯ. Парадигмы в РР могут образовываться из слов разных грамматических классов. Стилистически нейтральные

слова КЛЯ иногда выражают в РР высокую степень интенсивности свойства и становятся словами оценочными.

Предметом главы IV — «Языковая игра» (авторы Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова) — являются случаи, когда «свободное отношение к форме речи получает эстетическое задание, пусть даже самое скромное» (с. 172). Авторы видят свою задачу в том, чтобы показать типизированные средства и приемы «языковой игры», реализующей поэтическую функцию языка.

Действительно, обыгрывание языковой формы путем сознательного нарушения законов логики или путем выхода за пределы узуса для достижения комического или экспрессивного эффекта нередко используется в обстановке неофициального общения. Однако вопрос может быть поставлен иначе: относятся ли подобные случаи к разговорному языку, являющемуся объектом исследования? Думается, что они не могут быть отнесены даже к той речевой сфере, в которой функционирует разговорный язык.

Совершая умышленное нарушение общепринятых правил, говорящий переходит на некоторый особый речевой регистр: речь перестает быть для него средством повседневного общения и становится предметом мысли, самоцелью, объектом и материалом пародирования. Только в тех случаях, когда говорящий эксплуатирует возможности языка для экономии умственных усилий (чтобы выйти из цейтнота или заполнить лакуну идиолексикона), перед нами обычная ситуация разговорной речи. Когда же говорящий «играет» и сознает это, рассчитывая на должную реакцию, — перед нами попытка импровизатора создать произведение микрофольклора, которое может быть принято коллективом — войдет во всеобщий обиход, станет речевым штампом. В главе фактически описывается не система русской разговорной речи (разговорный язык), а речевая практика, речевое поведение лиц, обостренно воспринимающих языковую форму, обладающих чувством юмора и творческими склонностями.

Характерно, что предлагаемая на с. 176 классификация приемов языковой игры содержит перечень явлений, каждое из которых фактически не свойственно языку разговорной речи как таковому. Пункт I: «В ы б о р чужеродных для РР, необычных для нее средств выражения»; пункт II: «П о с т р о е н и е единиц своеобразных: 1) по форме, 2) по значению, 3) по форме и значению». Как видим, в первом пункте прямо упоминается «чужеродность»; второй пункт говорит о «своеобразных» единицах: их своеобразие, как свидетельствует весь иллюстративный материал главы, состоит в том, что они либо вообще не входят в коллективную языковую систему РР (индивидуальное, окказиональное словообразование, формообразование и речетворчество), либо (в случае стереотипных, анонимных, но повторяемых многими деформаций) относятся к крайней периферии разговорного языка, к его необщепринятой области.

Как бы ни решался вопрос о лингвистическом статусе языковой игры, глава содержит чрезвычайно интересный и убедительно интерпретируемый материал. Так, к разряду «балагурства» отнесены синтагматические (речевые, текстовые) явления — такие, как прием рифмовки (*хочем и хохочем*; *нейлон какой-то дуралон*), парадигматические явления — фонетические деформации слов (метатеза, протеза, нарушение законов чередования согласных, замена одних звуков другими), «веселая грамматика» (преобразование морфологических форм слова), прием речевой маски — имитация диалектных черт произношения, использование диалектной

или просторечной морфологии (*Куды польта вешать...? Четыре рубли. Не отдохнумши. Об себе*).

К «острословию» причислены несколько иные виды игры — прием стилевого контраста (включение штампов книжной речи), пародийное использование особенностей редких фонетических подсистем, словообразовательная игра (например, псевдосостановление производящей основы — *сыроега, миса, бана, этажера*). Практикуется нарушение законов сочетаемости слов — *на импортном языке; охромела на один зуб*. Непрямые номинации — метафорические, метонимические, перифрастические; прием цитации, в том числе с преднамеренными обрывами, рождающими новый смысл: *А. Ты опять мою ручку взял? — Б. Не шей ты мне матушка //*. Каламбуры, основанные на использовании паронимов — «*Дыры природы*»: *сласти-мордасти*; каламбуры, связанные с переосмыслением — *травка подорожная* (петрушка, купленная по дороге в магазин); *У него Болдинская осень // он всю осень балдеет //* и т. д.

В некоторых случаях было бы целесообразно отграничить уникальные порождения языковой игры (подобные приведенным в предыдущем абзаце) от общеизвестных, широко используемых штампов (*как повар с картошкой, самосадик я садила; специфицкий* и т. п.). Отметим также, что сравнение не следует называть «тропом» (т. е. переосмыслением, переименованием), как это делают авторы (с. 172, 203).

Заключительная, пятая, глава книги — «Жест и структура высказывания в разговорной речи» (автор — Е. В. Красильникова).

Вопреки распространенному мнению о паралингвистических средствах как функционирующих спорадически, восполняющих эллипсис и способствующих достижению однозначности, но не затрагивающих саму основу языковой системы, Е. В. Красильникова считает необходимым проверить взаимодействие системы РР с невербальными системами. Известно, что жест либо приходится на молчание, разрыв в речи, либо накладывается на течение речи. Психологами установлено, что жест, воспринимаемый как накладывающийся на слово, синхронизированный со словом, обычно немного опережает его. Более того, лишь в отдельных случаях жест и слово коррелируют по смыслу. Только иногда жест прямо соотносится с выделенными точками текста (с. 217). Жесты имеют сходство с просодическими средствами языка. Функции расчленения сообщения, выделения ремы на фоне темы и т. д. могут принимать на себя не только незнаковые (см. первую книгу) ритмические жесты, но и другие жесты — самим фактом своего появления (с. 225).

Грамматика жестов есть система без морфологии, тяготеющая к аналитическому типу (приведена ссылка на Т. М. Николаеву). На кинетический жест может накладываться звуковой жест. Жесты изображают (сигнализируют) мгновенность — протяженность действия. Императив выражается «лексически» — специальными императивными жестами (с. 227). Указательный жест выделяет лишь часть пространства, но различия между «это» и «здесь» жест не знает (с. 228). Идентификация предмета (согласно мнению Н. Ю. Арутюновой) часто носит метонимический характер. Существуют жестовые эквиваленты лексики контакта: этикетного — *привет, браво, пока*, модального — *да, нет, ладно, конечно* (с. 229). Эти жесты соотносительны с релятивами, или коммуникативами (см. выше).

Автор приходит к выводу об определенной степени «прилаженности» вербального и невербального кодов в разговорной речи. Непосредственность общения элиминирует необходимость в специализации собственно

грамматических (языковых) средств. Некоторые грамматические характеристики системы РР обусловлены давней традицией совместного употребления вербальных и невербальных средств.

Завершая обзор, остановимся на трех вопросах, получающих, по нашему мнению, не вполне последовательное решение, несмотря на правильность и своевременность их постановки авторами монографии.

Первый вопрос касается лингвистического статуса объекта. Еще в первой книге (1973 г.) указывалось, что термином «разговорная речь» обозначается не процесс, не акт речи, а «особая языковая система, которая имеет специфический набор языковых единиц и специфические законы их функционирования» (с. 25). В третьей книге (1981 г.) читатель узнает, что термин «разговорная речь» имеет в виду «русский разговорный литературный язык 60—70-х годов XX в.» (с. 5) Намерение авторов-лингвистов описывать именно языковую систему, а не процесс порождения текста (речь) представляется единственно верным. К сожалению, на протяжении всей монографии термин «разговорная речь» и аббревиатура «РР» фигурируют в нескольких значениях. Когда рассматриваются используемые в повседневном общении единицы (регистрируются и классифицируются формы реализации фонем, морфемика, лексика, модели словосочетаний и предложений), авторы выполняют обещание, т. е. описывают разговорный язык. Когда же они пишут, например, об аллегровом темпе РР (четвертая книга), имеется в виду не язык, а собственно речевой процесс, речевой акт. Наконец, постулируя в первой, второй и третьей книгах набор экстралингвистических признаков того, что обозначается все той же аббревиатурой «РР», Е. А. Земская и ее соавторы фактически имеют дело уже не с языком и не с речью, а с речевой сферой — с совокупностью условий (социальных и психологических), в которых носители языка пользуются именно разговорной, а не книжно-литературной языковой системой.

Недостаточной строгостью характеризуется также употребление термина «язык». Утверждая в третьей книге этой серии, что в качестве объекта избран «устный, неподготовленный, непринужденный литературный язык» (с. 55), авторы не учитывают того, что к языку как системе не может относиться ни один из первых трех эпитетов. Устной или письменной является не языковая система, а ее реализация; неподготовленной бывает только речь (акт); непринужденной речь (а не язык!) может быть названа только в непрофессиональном, бытовом метонимическом словоупотреблении: для языковеда очевидно, что речь (и частная языковая система, ее обслуживающая) характеризуется некоторыми собственно лингвистическими особенностями, позволяющими констатировать непринужденность психического состояния и поведения говорящего.

Второй вопрос касается выявления дифференциального признака той сферы, в которой функционирует разговорная речь. Заслуга авторов состоит в том, что они выдвинули в качестве ее важнейшего признака неофициальность. Однако два момента вызывают сомнение. Во-первых, наряду с этим признаком неоднократно упоминается также признак «неподготовленность». Этот признак является избыточным (ингерентным, а не дифференциальным). Хорошо известно, например, что участники публичных дискуссий, докладчики, лекторы отвечают на вопросы и критические выступления без предварительной подготовки, но умение импровизировать в книжно-литературной манере позволяет им давать развернутые ответы, стенограммы которых могли бы быть сданы в печать без правки и редактирования. Эти же люди совершенно иначе говорят

в бытовой обстановке, где литературно отработанная фраза звучала бы претенциозно. Во-вторых, — и это, пожалуй, более существенно, — из характеристик компонентов неофициальности Е. А. Земская считает наиболее значимым параметр «отношения»; менее важен, по ее мнению, параметр «установка» и наименьшее значение имеет параметр «обстановка». Между тем нетрудно показать, что характер отношения между коммуникантами, их соотносительные статусы сами по себе не предопределяют используемого типа речи. Дело не только в смене ролевых отношений при относительном постоянстве общей социальной иерархии, но и, главным образом, в вариативности речевых намерений при одной и той же ролевой расстановке. Так, участники служебного совещания либо принимают заданный председательствующим (руководителем) тон (официально-деловой или коллоквиальный), либо реагируют на речь руководителя в прямо противоположном стилистическом ключе (в силу привычки или демонстративно). Одни из них, таким образом, контролируют форму речи, другие — выключают контроль или имитируют неконтролируемое речевое поведение. При этом каждому известен его социальный статус, никто не намерен выходить за рамки чисто служебных отношений. Как видим, решающим оказывается не параметр социально-ролевых отношений, а параметр стилистической установки. Отметим, что сама Е. А. Земская чрезвычайно метко характеризует этот параметр не как «наличие установки на неофициальность», а именно как «отсутствие установки на официальность». Различие здесь весьма существенно: разговорно-речевую сферу характеризует именно невнимание говорящего к форме, а не сосредоточенность на соблюдении речевого этикета.

Третий вопрос касается места, занимаемого языком разговорным в системе языка общенационального. Вполне убедительно подтвердив всем материалом своего многотомного труда то, в чем уже на протяжении нескольких десятилетий никто не сомневается, — а именно, теоретическую дискретность разговорного языка как лингвистического объекта и, следовательно, безоговорочную целесообразность и перспективность его всестороннего исследования, авторы монографии неоднократно декларируют и постоянно подразумевают самостоятельность, обособленность, чуть ли не оторванность этого объекта от всего остального русского языка — от всех других его многообразных систем, сугубо условно объединенных в рамках КЛЯ. Только один раз — в главе «Номинация» первой книги, написанной Л. А. Капанадзе, — совершенно справедливо указывается, что большая часть словаря РР содержит лексемы, совпадающие с соответствующими лексемами КЛЯ, и что, таким образом, словари РР и КЛЯ пересекаются (книга первая, с. 406). Между тем совпадение многих единиц РР и других форм языка свойственно вообще всем языковым аспектам, всем ярусам частных систем — фонетическому, морфологическому, лексическому и синтаксическому. Точнее говоря, единицы не «совпадают», не воспроизводят идентичные свойства, а являются общим достоянием РР и КЛЯ.

Авторы монографии описывают фактически только то, что отличает РР от КЛЯ, — и поступают при этом вполне рационально, поскольку именно в описании специфики РР, ранее не изучавшейся, заключается их задача. Вероятно, следовало прямо заявить о том, что объектом описания является специфическая, периферийная область системы русского разговорного языка, а не вся система в целом.

Несогласие с некоторыми исходными положениями концепции отнюдь

не препятствует самой высокой оценке методики исследования и его итогов. Следует констатировать, что в монографии осуществлено развернутое описание специфической части системы русского разговорного языка — тех его форм, многие из которых прежде не регистрировались, не фигурировали в литературных произведениях, реалистически воспроизводящих живую речь, и не попадали в поле зрения лингвистов. Можно надеяться, что даже настоящий беглый обзор закономерностей, тенденций и явлений, обнаруженных авторами, позволяет судить о масштабах выполненного исследования. По научной и, в конечном счете, общественной значимости монография стоит в одном ряду с крупными лексикографическими изданиями или многотомными грамматиками национальных языков. Более того, она выгодно отличается от тех и других новизной объекта: в сменяющих друг друга словарях и грамматиках обновляется лишь трактовка материала, остающегося самим собой.

Труд Е. А. Земской, Л. А. Капанадзе, Е. В. Красильниковой, Е. Н. Ширяева, М. Я. Гловинской, М. В. Китайгородской, Н. Н. Розановой заложил фундамент дальнейшего всестороннего изучения русского разговорного языка. Исследование займет видное место в истории советского языкознания как новаторская работа, научно осмыслившая огромный фактический материал и предложившая наиболее полную из существующих интерпретаций специфики важнейшей языковой системы.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1987

РЕЦЕНЗИИ

Соотношение интернационального и национального в общественно-политической терминологии восточнославянских языков. Отв. ред. Панько Т. И.— Львов: Вища школа, 1984. 202 с.

Монографические исследования общественно-политического словаря (лексики, терминологии, фразеологии) восточнославянских языков, как монохронные, так и диахронные, построенные на материале одного языка или нескольких близкородственных,—явление для нашего языкознания почти уникальное. За исключением немногих диссертационных работ, посвященных изучению отдельных групп слов в непродолжительные хронологические периоды и на довольно ограниченном материале, и немногочисленных статей, написанных, как правило, теми же авторами, мы не располагаем другими научными разысканиями по общественно-политическому словарю. Поэтому вполне справедливо замечание ответственного редактора и автора первой части рецензируемого труда Т. И. Панько, что на современном этапе развития общественно-политической терминологии (далее — ОПТ) созрела задача перехода от исследования отдельных ее граней к созданию работ, обобщающих лексикографический материал и опыт в изучении отдельных вопросов формирования словообразовательных моделей и парадигматической организации ОПТ русского, украинского и белорусского языков. Одним из первых шагов в решении поставленной задачи и следует рассматривать названное исследование.

На наш взгляд, рецензируемая работа представляет жанр переходный от тематического сборника к монографическому исследованию. Жанровые особенности во многом обусловили и ее специфику.

Книга состоит из четырех частей, каждая из которых, за исключением первой, написана несколькими авторами.

В первой части — «Интернациональная сущность и национальная специфика общественно-политической терминологии»— Т. И. Панько совершенно справедливо называет в качестве важнейшего момента общественно-политического термина его идеологическую сущность. Предлагаемое автором определение ОПТ как «отграниченное (но открытое), взаимосвязанное противоречивым взаимодействием конкретное единство терминов — слов и словосочетаний в системе литературного языка, выражающее систему понятий общественных наук, определенных с позиций четкой идеологической концепции» (с. 21), свидетельствует о том, что проблему определения ОПТ все-таки нельзя считать решенной. Если ни у кого из исследователей не вызывает сомнения роль идеологии в содержательной сущности ОПТ, то ее лингвистическая квалификация остается во многом неопределенной, что своеобразно сказывается на наименовании ОПТ и общественно-политической лексики (ОПЛ): идеологически связанная лексика [1], социально- и идеологически-оценочная лексика [2]. Очень важно, что идеологическую сущность слов общественно-политического содержания (терминологии, лексики, фразеологии) автор отразил на уровне их дефиниции.

В рецензируемой работе отмечается, что «специфика общественно-политической терминологии проявляется прежде всего в идеологемной сущности ее компонентов» (с. 18). Что означают неоднократно употребляемые в работе слова *идеологема*, *идеологемный*, *идеологема термина*, *идеологемная полисемия* (с. 26—28), определить непросто. Если под этими употреблениями понимаются образования от термина «идеологема», используемого, в частности, лингвистом из ГДР А. Нойбертом при исследовании лексики политических текстов [3], то следовало бы дать соответствующее разъяснение.

Учитывая, что в настоящее время не существует общепринятого определения ОПТ и ОПЛ, думается, следовало хотя бы кратко остановиться на понимании ОПЛ другими авторами. Объем и жанр монографии позволяли это сделать. Заметим: в работе дается определение ОПТ, а не ОПЛ. И оно вполне соответствует реализации замысла автора первой части. Однако в монографии рассматривается ОПТ — ОПЛ и как коннотативная социально-оценочная категория (III часть, § 2), что, по-видимому, предполагало оп-

ределение понятия оценочность и ее разновидностей (социальная, идеологическая) как связующих базисных терминов.

Во второй части — «Формирование и функциональное развитие общественно-политической терминологии восточнославянских языков» — во многом интересен, но не бесспорен § 1 («Приоритет русского языка в формировании общественно-политической терминологии восточнославянских языков», написанный Т. И. Панько). В двух других параграфах рассматриваются особенности формирования и становления украинской и белорусской ОПТ.

Еще в первой части монографии отмечалось постоянное влияние ОПТ русского языка, который первым в истории славянской ОПТ выработал цельную систему терминов для обозначения марксистских понятий, на формирование ОПТ украинского и белорусского языков (с. 15). В § 1 второй части указываются источники восточнославянской ОПТ. Это прежде всего — лексика общелитературного языка общевосточнославянского происхождения, относящаяся ко времени Киевской Руси, под которую «подведены четкие дефиниции, включающие максимум необходимых признаков содержания соответствующих общественно-политических понятий» (с. 41).

Начало формирования восточнославянской терминологии марксистско-ленинской идеологической концепции Т. И. Панько относит к 60-м годам XIX в., когда в России начинается «распространение марксизма, а значит, и марксистских понятий...» (с. 38). Нам представляется, что следует более подробно остановиться на особенностях и этапах формирования и распространения марксистской терминологии в русском языке.

Начальным (точнее, ознакомительным) этапом формирования русской марксистской терминологии являются 60-е годы XIX в., когда (как принято считать) М. Бакуниным был сделан первый русский перевод «Манифеста Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса. По мнению Т. И. Панько, даже не совсем удачный перевод «Манифеста» (это касается и ОПТ) имел, «несомненно, большое значение в формировании русской терминологии марксизма» (с. 47). Данный тезис в работе недостаточно обоснован, и остается неясно, как несколько экземпляров «несовершенного» женевского перевода «Манифеста» М. Бакунина, попавших в Россию [4], с его окрашенной в цвета народнической идеологии ОПТ, могли иметь «большое значение в формировании русской терминологии марксизма»? Говоря о роли первого русского перевода «Манифеста» К. Маркса и Ф. Энгельса в формировании русской терминологии марксизма, мы должны помнить указание В. И. Ленина о том, что «русский марксизм родился в начале 80-х годов прошлого века в трудах группы эмигрантов (группа „Освобождение труда“). Но течением русской общественной мысли и составной частью рабочего движения марксизм в России стал лишь с половины 90-х годов прошлого века, когда началась „волна“ марксистской литературы в России и социал-демократического рабочего движения» [5].

Начальный (ознакомительный) этап формирования русской терминологии марксизма совпал с господством народнической идеологии в истории революционного движения России. «Нужно... различать так называемый интеллигентский уровень идеологии и массовый. Это особенно важно сделать по отношению к истории русского освободительного движения и русской революционной мысли, поскольку здесь единство теорий и убеждений долгое время поддерживалось на уровне идей узкого круга народнической интеллигенции» [6]. «Интеллигентский уровень идеологии» соответствует интеллигентскому же уровню в развитии той ОПТ, которой она пользуется. По-видимому, из этого следует исходить при оценке значения языка первых русских переводов работ К. Маркса и Ф. Энгельса, его влияния на развитие ОПТ марксизма в русском языке. И вряд ли можно согласиться с тем, что к концу XIX в. в основном сформировалась система русских терминов марксизма (с. 53). Только в трудах В. И. Ленина получили современную трактовку важнейшие термины, составившие ядро марксистско-ленинской терминологии: *крестьянство*, *мелкая буржуазия*, *народ*, *диктатура пролетариата* и многие другие. Основными источниками такой терминологии являются труды К. Маркса и Ф. Энгельса, достигшая своего расцвета русская публицистическая лексика, народно-разговорная речь. Процесс формирования, становление, освоение русским языком марксистско-ленинской ОПТ происходит в течение всего периода 1893—1923 годов, называемого ленинским [7].

Третья часть рецензируемого исследования «Особенности парадигматических отношений в общественно-политической терминологии современных восточнославянских языков» — написана несколькими авторами. Она посвящена выяснению системных отношений внутри общественно-политической лексики. Анализируя работы советских исследователей, посвященных изучению ОПЛ (И. Ф. Протченко и др.), авторы приходят к объективному выводу, что «ОПЛ образует не строго замкнутую терминологическую систему, а систему более свободных лексических единиц..., ядро [которой.— *Г. А.*] состав-

ляют термины» (с. 110—111). Системные отношения ОПТ и ОПЛ (эти понятия в данном разделе уже четко не различаются) рассматриваются на уровне семантического поля «социальных отношений», которые моделируют ситуацию отношений между людьми, группами людей, общественно-политическими институтами и т. д., лексико-семантических групп (ЛСГ) и более мелких группировок — синонимов, антонимов, гиперонимов, конверсии и др. (с. 113).

В § 2 третьей части («Коннотативное социально-оценочное значение в сфере общественно-политической терминологии») центр внимания переносится на ту часть лексики и терминологии, которая имеет выраженную социальную или социально-идеологическую коннотацию. Исследуемый материал анализируется на сигнификативном и коннотативном уровнях, выявляются некоторые системные отношения внутри лексики и терминологии, пути возникновения идеологической и социально-идеологической коннотации. Очень ценно стремление авторов выявить имеющиеся элементы системности в семантической структуре слов общественно-политического содержания и классифицировать их в терминах семантики и логики. Но это же стремление приводит и к некоторым неприемлемым выводам. В монографии утверждается, что под влиянием социально-классовой оценки «создаются условия, при которых на основе противоположности мировоззрений и идеологии происходит раздвоение семантической основы ОП оценочных слов, возникает явление энантиосемии...» (с. 163). В доказательство приводятся примеры заимствованных из русского языка слов *совет*, *большевик*, *советский*, в толковании которых английскими словарями сказывается чуждая советским людям идеология (с. 163). Но разве различная идеологически-классовая оценка, действительно вызывающая семантическое размежевание слов, приводит к энантиосемии, т. е. появлению у слов противоположного значения? Какие противоположные языковые значения у слов *большевик*, *совет*, *советский* и многих других, по-разному определяемых в словарях и публицистике враждебных идеологических направлений? И если в словарях и публицистике, ориентированных на буржуазную идеологию, приводятся прямо противоположные определения слов и терминов, имеющихся в соответствующей литературе, ориентированной на идеологию марксизма-ленинизма, то это их социально- и идеологически-классовые варианты с присущей идеологической оценочностью, а не сосуществование энантиосемичных значений внутри семантической структуры слова.

В четвертой части — «Взаимосвязь интернационального и национального в словообразовательной структуре общественно-политической терминологии» — исследуются основные способы образования ОПЛ и ОПТ. Материал этой части подтверждает вывод, что «терминологическая лексика современных восточнославянских языков образуется при помощи таких же способов словообразования, что и лексика общелитературного языка» (с. 175).

Рецензируемый труд показывает, что проблема изучения ОПТ и ОПЛ восточнославянских языков остается по-прежнему актуальной. Заслуга авторов в том, что эта работа поставлена на новый лингвосоциологический уровень. Отмеченные спорные и нерешенные вопросы нисколько не умаляют достоинств рецензируемой монографии. Вместе с тем они послужат дополнительными стимулами для дальнейших исследований.

Голованевский А. Л.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Крючкова Т. Б.* К вопросу о многозначности идеологически связанной лексики.— ВЯ, 1982, № 1.
2. *Голованевский А. Л., Кондрашов Н. А.* О принципах исследования общественно-политической лексики.— В кн.: Проблемы лексики и словообразования русского языка. М., 1982.
3. *Нойберт А.* К вопросу о предмете и основных понятиях марксистско-ленинской социолингвистики. — В кн.: Актуальные проблемы языкознания ГДР. М., 1979, с. 62—68.
4. История Коммунистической партии Советского Союза: В 6-ти т. Т. 1. М., 1964, с. 48. К
5. *Ленин В. И.* Карикатура на большевизм.— Полн. собр. соч., т. 17, с. 405.
6. *Пантин И. К.* Социалистическая мысль в России: переход от утопии к науке. М., 1973, с. 124.
7. *Денисов П. Н.* О теоретических проблемах Словаря языка В. И. Ленина.— В кн.: Проблемы лексикографического анализа языка произведений В. И. Ленина. М., 1984, с. 13.

Studia Russica. VI. Red. Péter M., Ad. Tatár B.— Budapest, 1983. 359 l.

Шестой выпуск трудов кафедры русской филологии Будапештского университета им. Л. Этвеша, как и все предыдущие выпуски (издание выходит с 1978 г.), содержит статьи, дающие представление о широте и многообразии научной деятельности кафедры. Сборник состоит из четырех разделов: I. Лингвистика, II. Литературоведение, III. Методика, IV. Критика, библиография. Авторы сборника — венгерские и советские исследователи. Статьи печатаются на русском или на венгерском языках. В последнем случае прилагается резюме на русском языке.

Лингвистический раздел открывается статьей М. И. Приваловой и Л. Г. Кондратьевой (Ленинград) «К вопросу о письме у славян». История изучения славянского письма полна драматических событий и интересных открытий. Однако многое остается непроясненным, в частности, вопрос о происхождении глаголицы и связях ее с руническим письмом. Поэтому любой позитивный результат, достоверная гипотеза вносят свой вклад в «воссоздание возможно более полной картины употребления письма славянами по всей огромной протяженности их расселения и перемещения» (с. 25). Тем более не должны быть забыты уже проведенные в славистике исследования, которые расширяют наши представления об источниках изучения славянского письма. Авторы обращают внимание специалистов на работу Я. Лечеевского «Руны и славянские рунические памятники» [1], подчеркивая, что особенно интересны разыскания Лечеевского в области славянских рун. В статье приводятся выдержки из книги Лечеевского, которые касаются русской, по его мнению, рунической надписи — известной алекановской надписи, открытой в 1897 г. Эта надпись на погребальной урне, найденной и описанной В. А. Городцовым, была прочтена Лечеевским в 1906 г. Излагая метод, с помощью которого Лечеевский прочел надпись, авторы статьи, кроме того, предлагают некоторые дополнения к его прочтению. Заслуживает внимания предложение рассмотреть методом Лечеевского не поддающиеся прочтению надписи на предметах, найденных «в Новгороде в 1956—1958 гг. при раскопках на территории усадьбы XI в. в Неревском конце....» (с. 23). Статья М. И. Приваловой и Л. Г. Кондратьевой поднимает важные вопросы, касающиеся развития письменности у славян и их связей с другими народами. Безусловно интересно предложение авторов «о создании организации типа Археографической комиссии Академии наук» (с. 24), которая объединила бы усилия ученых разных специальностей по изучению памятников письменности.

Исторической проблематике в изучении языка посвящены еще две небольшие публикации: Г. Вернке (Будапешт) «К вопросу о фонологическом анализе так называемого носового ё» и А. Золтана (Будапешт) «Об одном загадочном слове староукраинского словаря». В последней речь идет о помещенном в Словаре староукраинского языка XIV—XV вв. слове *кмат* из западнорусского перевода статуса Владислава Ягеллона [«и(ж) пенезеи на кма(т) да(т)»], которое авторы словаря считают испорченным написанием *имат* от глагола *имати*. Автор публикации на основе проведенного анализа приходит к выводу, что порча текста заключается в пропуске буквы *а* в первом слоге, т. е. *кмат* стоит на месте существительно к(*а*)*мат* «лихва, проценты» (от греч. τόκος).

Значительная часть лингвистических публикаций обсуждает проблемы сопоставительного анализа русского и венгерского языков, проблемы языковых контактов и вопросы перевода. Назовем лишь некоторые из них: А. Калман (Будапешт) «Некоторые особенности перевода русских страдательных причастий на венгерский»; И. Пете (Сегед) «Явления интерференции, связанные с категорией числа исчисляемых существительных, в русском и венгерском языках»; М. П. Фабиан-Лизанец (Ужгород) «Роль интерференции в формировании лексической семантики». Подробнее остановимся на этой статье. В ней рассматриваются закономерности осуществления языковых контактов между языками различных групп — русским, украинским, английским — на примере «исследования структуры лексико-семантического поля русского глагола „уважать" в украинском и английском языках» (с. 223). По мнению автора, изучение семантики конкретного слова является наиболее полным и продуктивным при всестороннем исследовании его эквивалентов в различных языковых системах. В работе построена схема лексико-семантического поля методом обратного перевода русского глагола *уважать* на украинский язык (затем — английский) и его эквивалентов — на исходный (русский). Полученные синонимические ряды объединялись в пары, а пары в группы вплоть до образования синонимического поля. Такая схема, базирующаяся на теории графов, помогает выявить максимальное богатство семантической системы языка, способствует раскрытию путей развития интерференции в семантических системах языков. Признавая важность и значительность поднимаемых в статье вопросов и полученных результатов исследования, следует упомянуть, что не всегда бывает легко согласиться

с интерпретацией конкретного языкового материала. Так, например, автор дополняет данную составителями семнадцатитомного Словаря современного русского литературного языка [2] характеристику глагола *чтить* (1. Испытывать и проявлять к кому-, чему-нибудь глубокое уважение; почитать. 2. Преклоняться, почитать как божество.) такими двумя оттенками значения, выделенными на основании полученной схемы: 1) чтить, жаловать — оттенок «держать в милости»; 2) чтить, почитать, уважать, считаться, уважить, посчитаться, принимать, принять, учитывать, учесть, сообразовываться, сообразоваться — «удостоить почтением и вниманием». С нашей точки зрения, приведенные здесь цепочки слов, которые выстраивает автор, не являются синонимическими рядами. При употреблении русского глагола *чтить* предполагается, что объект действия находится «выше» субъекта действия, над ним. Употребляя, к примеру, глагол *жаловать*, мы предполагаем, что объект действия «ниже» субъекта действия. Представляется, что семантическая структура глагола *чтить*, данная словарем, правильно отражает языковую действительность.

Кроме упомянутой статьи М. П. Фабиан-Лизанец, непосредственно связанной с лексикографической проблематикой, в сборнике есть работы, объектом описания которых являются словари. Так, в статье Б. Татара (Будапешт) «Лексикографическая разработка паронимов русского языка» дается краткая история словарного описания паронимов русского языка и более подробно анализируется «Словарь паронимов русского языка» Н. П. Колесникова [3]. Следует заметить, что тщательный анализ этого словаря как наиболее полного до последнего времени свода русских паронимов имеет значение и в связи с тем, что в 1984 г. вышел из печати новый словарь паронимов О. В. Вишняковой [4]. Описание, проведенное Б. Татаром, дает дополнительный материал для сопоставительного анализа этих двух словарей.

Статья А. М. Бушуя (Самарканд) «Общая фразеологическая проблематика толкового словаря» затрагивает одну из важнейших проблем современной лексикографии — проблему разработки фразеологии в общем толковом словаре. Статья оперирует большим материалом. В ней анализируются с точки зрения фразеографии такие фундаментальные лексикографические труды, как «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти томах, «Словник української мови» в 11-ти томах, «Slovník spisovného jazyka českého» в 4-х томах и многие другие. Анализ и выводы исследователя могут быть использованы в дальнейшей работе лексикографов и фразеологов. Подробный анализ подачи фразеологизмов в «Словаре современного русского литературного языка» в 17-ти томах может иметь значение и для работы над его вторым изданием, которая ведется сейчас в Словарном секторе ЛО ИЯ АН СССР.

Обширная информация содержится в сообщении А. П. Лебедевой «О работе межкафедрального словарного кабинета им. Б. А. Ларина в Ленинградском государственном университете им. А. А. Жданова».

Актуальные вопросы теории грамматики и словообразования разрабатываются в статьях: Л. Ясаи (Печ) «Проблематичные случаи образования приставочных видовых корреляций в процессе перфективации», Морозова А. И., Нагайцевой Т. Н. (Ленинград) «Вопрос о категории состояния и предикативных наречиях в лингвистической литературе» и др.

В разделе «Литературоведение» отметим статьи Р. Г. Назирова (Уфа) «Жесты милосердия в романах Достоевского» и Э. Загони (Печ) «Толстой и его творчество в восприятии Костолани».

Поднимаемые во всех статьях сборника вопросы являются актуальными для современной филологии и могут вызвать интерес широкого круга специалистов. Значение этого сборника также и в том, что он является прекрасным примером плодотворного сотрудничества ученых разных стран.

Стулова Н. Г.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Leciejewski J.* Runy i runiczne pomniki slowianskie. Lwów — Warszawa, 1906.
2. Словарь современного русского литературного языка. Т. 17. М.— Л., 1965, стлб. 1113.
3. *Колесников Н. П.* Словарь паронимов русского языка. Тбилиси, 1971.
4. [*Вишнякова О. В.*] Словарь паронимов русского языка. М., 1984.

Калакуцкая Л. П. **Склонение фамилий и личных имен в русском литературном языке.**— М.: Наука, 1984. 221 с.

В ономастике еще много белых пятен. Но открытия целых ономастических материков происходят редко. В книге Л. П. Калакуцкой такое открытие произошло. Материк под названием «Склонение фамилий и личных имен» известен давно и, казалось бы, хорошо и теоретикам, и практикам русского языка. Здесь можно сослаться на труды А. А. Реформатского, А. В. Суперанской, В. А. Никонова, Н. И. Толстого и других ученых. Специально о склонении антропонимов что-то говорят почти все грамматики, в том числе академические.

Однако весь объем проблемы, ее компоненты, различные аспекты ее сложности и важности обстоятельно осмыслены и описаны в монографии Л. П. Калакуцкой по сути впервые. Дело в том, что имен и особенно фамилий очень много и они чрезвычайно разнообразны. Поэтому описать все тонкости, все особенности их склонения, выявить действующие тут процессы, тенденции и противоречия без специального, объемного и очень трудоемкого исследования невозможно. А именно такое исследование и выполнила Л. П. Калакуцкая.

Словоизменение всех фамилий и личных имен в русском языке в общем-то укладывается в существующие типы субстантивного, адъективного и смешанного склонений, с выделением влиятельной группы несклоняемых антропонимов, относящихся, как теперь принято говорить, к нулевому склонению (хотя синтаксически и семантически оно отнюдь не нулевое). Но сколько здесь переходов от склонения к склонению, сколько формальных и функциональных отклонений!

Конечно, все это еще не дает оснований выделять «самостоятельную грамматику» или «собственную грамматику» антропонимов, «самостоятельную систему» антропонимического склонения, как это делают некоторые авторы. И даже «говорить о неподчинении антропонимии системе апеллятивного словоизменения» (с. 12), как — более осторожно — поступает Л. П. Калакуцкая, тоже, по всей видимости, нельзя, поскольку в этом случае, к примеру, становится непонятным совершенно верное ее наблюдение, что «словоизменение антропонимии постоянно подравнивается под словоизменение апеллятивной лексики» (с. 10).

Подчинение есть, но это типичное подчинение языковой периферии языковому центру, и поэтому внутри его прямо-таки запрограммированы отклонения. Но все эти отклонения, все морфологические различия вроде *любовь — любви*, но *Любовь — Любови*, *лист — листá*, но *Лист — Лйста* и т. д. (с. 12) не столь уж разительны. Внутри чисто апеллятивного словоизменения можно найти сколько угодно подобных и даже еще более ярких несовпадений. Вместе с тем, поскольку антропонимов существует потрясающе много, то и общий объем их морфологических отличий, отклонений от апеллятивных парадигм тоже весьма внушителен. И Л. П. Калакуцкая имела достаточно оснований предпослать своей книге шекспировские слова: «В этом безумии есть своя система».

«Система» антропонимического «безумия», т. е. высокой и подчас непредсказуемой морфологической вариативности, описывается в трех частях монографии, следующих за Введением (с. 3—15), в котором весьма четко и корректно сформулирована проблематика и методика исследования. В разделах своей книги Л. П. Калакуцкая стремится, в исторической перспективе «от Пушкина до наших дней», описать формы и сущность морфологического варьирования антропонимов в русском языке, определить сферу, степень и время распространения каждого типа варьирования, установить причины появления, столкновения и исчезновения вариантов.

Первая часть книги (с. 16—44) посвящена словоизменительной антропонимической норме XIX в. Автор показывает и хорошо доказывает, что «словоизменение антропонимии во времена Пушкина имело другие морфологические особенности, характеризовалось иным набором словоизменительных парадигм, чем словоизменение антропонимии в настоящее время» (с. 43). К наиболее заметным особенностям принадлежала всепобеждающая влиятельность фамилий на *-ов*, подчинявших себе склонение адъективных и некоторых других фамилий (*Долгорукий — Долгоруков*, *Хитрово — Хитров*), легко передававших свой формант фамилиям иноязычным (*Кар — Каров*). Существенной приметой XIX в. было также широкое склонение антропонимов на *-о*, *-е*. И вообще, антропонимической несклоняемости в XIX в. было гораздо меньше, чем сейчас.

Автор справедливо видит в нарастании несклоняемости личных имен и фамилий прежде всего противоречие между формой и содержанием, а именно — между морфологическим родом антропонима и реальным полом именуемого лица (с. 42). Сопутствующими причинами накопления несклоняемых форм было стремление устранить несовпадение основ именительного и косвенных падежей, приоритет

орфографического, а не орфоэпического облика антропонима и др.

Заметим, что автор подчас понимает термин «фамилия» слишком расширительно. Склонение русских фамилий на *-о* иллюстрируется примерами из «Тараса Бульбы»: «*Шила* посадить в кошевые!» и под. (с. 36—37), содержащими не русский, а украинский антропоним *Шило*, являющийся не фамилией, а прозвищем (именование главного героя *Бульба* — тоже прозвище, а не фамилия). К фамилиям причислено даже имя шекспировского *Отелло* (с. 39). В другом месте Л. П. Калакуцкая замечает, что «в антропонимии четкой границы между именем и фамилией нет», так как существуют случаи типа *Эмиль Гилельс — Александр Эмиль*, где один и тот же антропоним выступает то именем, то фамилией (с. 77). Но с тем же успехом, опираясь на омонимы типа *лев — Лев*, можно отвергать и четкость границ между собственными и нарицательными именами. Сущностная, «самовитая» граница между именем и фамилией (всегда четкая и однозначная!) — это одно, а проявления данной границы в тексте — совсем другое: нечеткости в последнем случае, может быть, конечно, сколько угодно.

Найти примеры нужного типа, да еще не в именительном падеже, автору было нелегко. Однако это не оправдывает повторений одних и тех же цитат. Ср. замечание А. С. Пушкина об ошибочности записи «книга, сочиненная *Гетем*...» (с. 33 и 35), пример «часы *Сени Киноваря* остановились» (с. 110 и 133) и др.

В архаическом склонении *Дант, Данта, Данту* нет отмеченного Я. К. Гротом транслитерационного приема, при котором «вопреки произношению придавали иностранному имени письменное его окончание именно с целью сделать его удобнее для склонения» (с. 27): *Фальконет, Дидерот*. Здесь, наоборот, отсекается произносимое, а не удерживается непроизносимое. Но цель все та же — «сделать его удобнее для склонения». Сопоставление форм типа Дидерот и Дант показывает, что противоположности сходятся, что в языке разнонаправленные процессы могут давать одинаковый результат, если этот результат нужен обществу. Сопоставление же форм Дидерот и Дидро, Дант и Данте и т. д. демонстрирует развитие антропонимов от склонения к несклонению.

Характеристика антропонимических парадигм XIX в. стала хорошим отправным пунктом для развернутого анализа словоизменения антропонимии в XX в. Данной проблеме посвящена центральная в книге ее вторая часть (с. 45—151). Она делится на три главы, материал которых группируется вокруг главных факторов морфологической динамики антропонимов (связь рода и пола, связь парадигм мужской и женской фамилий) и соотношения антропонимического словоизменения и нормы.

На основе большого числа наблюдений Л. П. Калакуцкая формулирует правило, действовавшее уже в XIX в.: «... когда морфологический род антропонима противоречит реальному полу носителя имени или фамилии, в словоизменении антропонимии это вызывает или несклонение соответствующего имени, фамилии, или вариантность в их склонении» (с. 50). Правило это действует, в частности, среди женских антропонимов на согласный (пока речь идет только о твердом согласном): *Эдит, Жук, Жорж Санд*.

А вот антропонимы на *-о, -е* подчиняются указанному правилу все — и женские, и мужские. Ведь флексия *-о, -е* принадлежит среднему роду, а в антропонимии он невозможен. Совершенно справедливо отметив, что несклоняемость фамилий на *-ко* «нормативна для всех сфер современного русского литературного языка» (с. 62), автор, к сожалению, все же допускает здесь вариантное склонение по парадигме женского рода «для сфер устного литературного языка и языка художественной литературы». Между тем такое склонение в современных текстах выглядит стилистически отмеченным и хорошо ощутимым анахронизмом.

Если для фамилий на твердый согласный картина однозначна: мужские фамилии склоняются, а женские нет, то для фамилий на *-а*, где по логике должно было бы быть все наоборот, ситуация оказалась гораздо более сложной. Кропотливое и обстоятельное изучение фамилий на *-а* засвидетельствовало здесь обильную вариантность, причем несклонение представлено среди женских фамилий (*с Эдитой Пьеха*) не реже, чем среди мужских (*Так не стало Виктора Хара*). Особенно выделяются по этому признаку грузинские и японские антропонимы на *-а* (может быть, потому, что практически все остальные антропонимы этих языков имеют финали, препятствующие их склонению в русском языке). Констатировав обилие несклоняемых форм на *-а*, Л. П. Калакуцкая тем не менее настаивает (совершенно справедливо!) на нормативности словоизменения антропонимов на *-а*, как мужских, так и женских, как славянских, так и заимствованных.

Заметим кстати, что понимание вариантности как «переходного состояния в развитии данного участка грамматической системы» (с. 50) представляется несколько суженным. Вариантность может укорениться в языке, и никуда не пере-

ходить, получив семантическую либо стилистическую нагрузку. Ср. семантическую вариантность родительного падежа в русском языке (*белизна сахара — килограмм сахару*), стилистическую вариантность дательного падежа в украинском языке (*Івану Франкові — Іванові Франку*). Некоторые приведенные примеры фиксируют элементарную безграмотность их авторов и поэтому не очень доказательны, ср.: «А для доктора Мина дети — вся жизнь» (с. 79) и др.

Наряду с соотношением рода и пола мощным фактором морфологической вариантности антропонимов является соотношение женской и мужской фамилий. Сущность соотношения заключается в том, что женская фамилия стремится полностью уподобиться мужской и утратить склонение. Л. П. Калакуцкая убедительно раскрыла действие этой тенденции в разных морфологических типах фамилий, включая даже исконные фамилии на *-ов*, *-ин* (с. 102), в целом остающиеся оплотом старого соотношения, при котором мужская и женская фамилии имеют свою форму (*Зайцев — Зайцева*) и свое склонение. Данная тенденция проникает и в женские имена. Мужских соответствий здесь, конечно, уже нет, поэтому уподобляться нечему, но зато среди многих женских имен на мягкий согласный развивается несклоняемость (*Нинель*, *Николь* и под.). Автор считает подобную несклоняемость допустимой (с. 112), а в заключительных рекомендациях — даже обязательной (с. 186).

Тенденцию к совпадению женской фамилии с мужской (с утратой склонения) Л. П. Калакуцкая квалифицирует как влияние общеевропейского (с. 98), западноевропейского (с. 99), европейского (с. 101) образца, как следствие воздействия иноязычной антропосистемы. Такой подход не представляется оптимальным. Ведь речь идет по сути о важнейшем морфологическом процессе в русской антропонимии XX в. Процесс такой значимости просто не совершался бы, если бы он не был порожден внутренними причинами, потребностями данной антропосистемы. Имеется здесь, вероятно, и воздействие «европейского образца», но лишь как третьестепенный фактор. Гораздо большую роль играет очень хорошо рассмотренная в книге общая тенденция к несклонению, чрезвычайно важен также экстралингвистический фактор социально осознанного равноправия женщин.

Автор пристально изучает также проблему нормативности фамилий, совпадающих с апеллятивными. Стремление отличить фамилию от апеллятива, наряду с несклонением и переменой ударения (ср., например, фамилию *Нóга*), может иметь различные орфографические проявления, в частности — удвоение согласных: *студеный* (апеллятив) — *Студенный* (фамилия) (с. 148). Фамилии, совпадающие с апеллятивами, представлены в речевой практике: 1) в несклоняемых формах (*Анатолию Заяц*), 2) со склонением без присущих апеллятивам чередований (*Анатолию Заяцу*), 3) с апеллятивным склонением (*Анатолию Зайцу*). Первая из этих парадигм справедливо признается недопустимой, а две последних — равно возможными (с. 133). При этом заключительные рекомендации даже отдают предпочтение второй парадигме (с. 187), хотя языковая интуиция явно предпочитает третью.

Среди фамилий на *-ов*, *-ин* имеются русские и русифицированные, выступающие в творительном падеже с флексией *-ым* (*с Ивановым*, *Фонвизиным*), и заимствованные, обладающие флексией творительного падежа *-ом* (*с Дарвином*, *Вирховом*). Разграничение идет в основном на интуитивном уровне (с. 143) и поэтому не поддается точным определениям. Видно, здесь наиболее значима оппозиция известный — неизвестный, причем известные фамилии соединяются с *-ым* или *-ом* соответственно своему происхождению, а неизвестные — соответственно своему контексту.

Однозначно подтверждая нормативность несклонения фамилий на *-ых*, *-их*, Л. П. Калакуцкая отмечает, что несклонение это «системно неоправданно» (с. 144) и приводит большую подборку фактов склонения подобных фамилий. Обстоятельно рассмотрены также фамилии, в склонении которых возможно столкновение субстантивной и адъективной парадигм.

Третья часть монографии Л. П. Калакуцкой имеет характер дополнения, хотя и весьма существенного. Она посвящена склонению польских и чешских фамилий в русском языке. Скрупулезное изучение морфологической вариативности западнославянских фамилий на *-ский*, *-цкий* (также *-ый*, *-ий*) привело автора к хорошо обоснованному выводу: «рекомендовать оформление этих фамилий по образцу склонения соответствующих русских фамилий как для мужской, так и для женской формы» (с. 166).

Менее однозначны рекомендации, касающиеся чешских и польских фамилий на *-ек*, *-ец*, *-ак*. Рассмотрев большой фактический материал, автор заключает, что фамилии эти «целесообразно склонять без выпадения гласного в косвенных падежах», а в русских фамилиях такого типа «признать одинаковую возможность склонения с сохранением беглой гласной и без нее» (с. 177). Но практика, как отмечалось, все же предпочитает выпадение гласного в русских фамилиях и допус-

кает — в каких-то морфонологических условиях — его отсутствие в западнославянских фамилиях. Знаменитый чешский хоккеист во всех ситуациях будет *Мартинцем*, а не *Мартинецем*.

Довольно сложным оказался вопрос о русском оформлении польских и чешских женских фамилий, имеющих регулярные словообразовательные отличия от соответствующих мужских фамилий. Здесь в конечном итоге рекомендуется «точное следование оригиналу и сохранение каждой конкретной формы в русской передаче» (с. 180).

В итоговом Заключении обобщены специфические особенности антропонимического словоизмерения и факторы, регламентирующие эти особенности. Повышенная вариативность словоизменения антропонимии объясняется по преимуществу стремлением к обособлению — «складывающейся, но еще не сложившейся к настоящему времени системой собственно антропонимического словоизменения» (с. 182). Но зачем антропонимии собственная словоизменительная система? Высокая морфологическая вариативность антропонимов вряд ли связана с дивергенцией собственных и нарицательных имен. Здесь впору говорить скорее о конвергенции и уж во всяком случае — о динамике единой морфологической системы существительных. Периферия (в данном случае антропонимическая) раньше отражает новое и дольше удерживает старое, поэтому повышенная вариативность здесь обязательна. На периферии собрано не только то, что присуще словоизменению центра (т. е. апеллятивов) сейчас, но и то, что было присуще ему раньше и что войдет в употребление лишь в будущем.

Книга завершается очень ценными практическими рекомендациями (с. 184—187), которые было бы целесообразно довести до сведения всех заинтересованных лиц. Отрадна прозвучавшая в конце книги идея нормативного антропонимического словаря. И хочется высказать пожелание, чтобы вслед за своей чрезвычайно важной и актуальной монографией Л. П. Калакуцкая подготовила и этот столь нужный словарь. Рассмотренная книга станет для словаря хорошей теоретической базой. Она вообще дает теоретические основы для решения множества практических проблем антропонимического словоизменения.

Карпенко Ю. А.

Гондза хэн. ***А. И. Богуда: нофу*** сидо:. **Син-сурав-нихонго-дзитэн.** Нихомпан (Новый лексикон славено-японский. Составил Гондза под руководством А. И. Богданова. Японское издание). Токё: : Наука-кабусики-кайся, 1985. 573 р.

Видный японский ученый, один из ведущих современных японских компаративистов, проф. Мураяма Ситиро давно известен как исследователь русско-японских культурных связей и пропагандист достижений отечественной науки в Японии. Им, в частности, было подготовлено японское издание трудов Е. Д. Поливанова [1].

Рецензируемый труд, выполненный С. Мураяма при участии Игэта Садаёси и Косимидзу Норико, является первым изданием рукописного русско-японского словаря, подготовленного в Петербурге в 1736—1738 гг. Рукопись словаря хранится в архиве АН СССР в Ленинграде; в 1965 г. во время пребывания С. Мураяма в СССР ему была предоставлена фотокопия словаря, на основе которой выполнено настоящее издание, представляющее собой итог двадцатилетней работы ученого.

Автором словаря был Гондза (Демьян Поморцев) — японец, в возрасте 11 лет попавший в Россию в результате кораблекрушения в 1729 г. В Петербурге, куда его отвезли, за короткое время им были составлены русско-японский словарь, японская грамматика, введение в японский разговорный язык, разговорник, а также осуществлен перевод с русского сочинения Я. А. Коменского «Видимый мир в картинках»; к сожалению, его активная деятельность была прервана ранней смертью в 1739 г. Не зная, как и другие японцы, жившие в России того времени, японской грамоты, он хорошо овладел русским языком и письмом и проявлял несомненные лингвистические способности. Значение трудов Гондзы отмечалось многими исследователями, в частности, академиком В. В. Бартольдом [2], однако введение их в научный оборот по существу начато лишь рецензируемым изданием. Безусловно, необходимо скорейшее осуществление научного изучения и публикации других трудов Гондзы, прежде всего его грамматики; советским японистам следует продолжить традицию изучения хранящихся в наших фондах материалов по японскому языку XVIII в., начатую изданием другого более позднего

словаря, осуществленным О. П. Петровой [3].

Словарь был составлен под руководством А. И. Богданова (1692—1766). Это имя хорошо известно в истории русской науки, он считается основоположником русской библиографии [4]. Будучи помощником библиотекаря Академии наук, Богданов также руководил обучением и работой доставлявшихся в Петербург японцев, что даже породило не подтвержденную фактами версию о его японском происхождении. Роль Богданова, по-видимому, не ограничивалась надзором за составлением словаря; по весьма правдоподобному предположению С. Мураяма, он был и автором русского словника.

В словаре содержится около 12 000 русских слов; почти все их них снабжены японскими переводами (многие слова переведены описательно), к некоторым словам, однако, Гондза не сумел найти перевод, японские слова записаны русскими буквами. Основой для русского словника послужил соответствующий словник в словаре «Лексикон треязычный, сиречь речения славенских, еллиногреческих и латинских сокровище» Ф. Поликарпова (1704). Однако, как указывает С. Мураяма, сличавший оба словаря, их объем далеко не совпадает. Обращает на себя внимание, в частности, увеличение числа заимствованных слов в данном словаре по сравнению со словарем Ф. Поликарпова, свидетельствующее о том, что количество их в русском языке за 30 лет возросло. С. Мураяма отмечает и тот факт, что некоторые слова русского языка фиксируются в данном словаре, по-видимому, впервые: *очаг*, *чай*, *часы*, два первых слова в других словарях зафиксированы лишь в 1762 г., *часы* — в 1771 г. Безусловно, словарь представляет собой ценный источник и по русскому языку первой половины XVIII в., его материалы заслуживают внимания и русистов.

В предисловии к изданию С. Мураяма затрагивает и вопрос об отражении авторами словаря произношения, хотя и не исследует его в полной мере. Отмечается ряд случаев (более частых, чем в словаре Ф. Поликарпова), отражающих аканье: *ахапка*, *ачагъ* и т. д. По мнению С. Мураяма, такие примеры подтверждают, что А. И. Богданов вероятнее всего родился в Москве, а не в Новгороде. Рассматривается и сложный вопрос о том, различались ли в его произношении *е* и ѣ: с одной стороны, в ряде русских слов они смешивались, с другой стороны, их различие строго соблюдалось в японской транскрипции, причем русское *е* соответствовало японским дифтонгам, а ѣ — японскому /e/, что может свидетельствовать о сохранении представления о связи ѣ с более узким гласным. В то же время некоторые русские написания говорят о том, что в составлении или по крайней мере в переписке русского словника принимал участие и Гондза (ср. нередкое смешение *л* и *р*, естественное для японца: *доблій*); однако вряд ли можно считать, как это делает С. Мураяма, ошибкой Гондзы написания *вятчина*, *кирпишникъ*: они вполне объяснимы и на русской почве.

Название словаря «Славено-японский» С. Мураяма связывает с обычной традицией эпохи его составления (ср. название словаря Ф. Поликарпова), но при немалом числе славянизмов словарь содержит значительный объем и чисто русской лексики.

Большое значение словарь имеет и для изучения японского языка XVIII в. Гондза не владел литературным языком того времени и знал лишь свой диалект провинции Сацума (ныне префектура Кагосима), что делает словарь уникальным источником по этому диалекту, который более чем на столетие предшествует другим материалам (ср. аналогичный словарь Андрея Татаринова [3], где отражен диалект другой части Японии). Вопросы диалектной истории по данным словаря Гондзы исследуются в предисловии к данному изданию и в ряде других работ С. Мураяма. Словарь дает возможность уточнить хронологию некоторых процессов, происходивших в кагосимском диалекте, а сопоставление с данными современных говоров позволило С. Мураяма уточнить место рождения Гондзы: было известно, что он происходит из провинции Сацума, языковой же материал свидетельствует о том, что он жил в ее северо-западной части, около современной границы префектур Кагосима и Кумамото. Несомненный интерес представляет и тот факт, что несмотря на полное прекращение связей Японии с внешним миром, произошедшее за столетие до появления Гондзы в России, в его диалекте сохранялись некоторые европеизмы: *мэриясу* «чулки» из португальского *meias* или испанского *medias*, *бородо* «бархат» из португальского *veludo*. Словарь очень важен в том отношении, что содержит сведения по акцентуации, почти не известной для японского языка XVIII в.

Основная часть издания состоит из четырех колонок. В первой колонке дается русский словник словаря; особо отмечаются составителем случаи, когда орфография слова расходится со словарем Ф. Поликарпова, и случаи явных описок. Во второй колонке дается выполненный С. Мураяма перевод слов на японский язык. В третьей колонке приводятся переводы Гондзы, транслитерированные японской слоговой азбукой — катаканой. Такая запись удобна для японского

читателя, однако она не может отразить все особенности написания оригинала (хотя катакана дополнена значками, указывающими на некоторые особенности, не переводимые на катакану, прежде всего редукцию гласных и ударение, если они есть в оригинале); отсутствие русской транскрипции Гондзы представляет собой единственный серьезный недостаток этого ценного издания. В четвертой колонке переводы Гондзы переводятся на литературный японский язык, эти переводы расходятся с переводами русских слов во второй колонке. К изданию приложен словарь переводов Гондзы в порядке русского алфавита, также записанных катаканой.

Рецензируемое издание вводит в научный оборот ценный источник по русскому языку и японским диалектам XVIII в., расширяет наши знания о ранних контактах между народами России и Японии. Его выход в свет — важное событие в развитии советско-японских научных связей.

Алпатов В. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Порива:нофу Е. Д.* Нихонго-кэнкю: (Изучение японского языка). Токио, 1976.
2. *Бартольд В. В.* Обзор деятельности факультета восточных языков.— В кн.: Академик В. В. Бартольд. Соч. Т. IX. М., 1977, с. 36—38.
3. «Лексикон» русско-японский Андрея Татаринова. М., 1962.
4. *Кобленц И. Н.* Андрей Иванович Богданов. М., 1958.

Мусаев К. М. **Лексикология тюркских языков.**— М.: Наука. 1984. 230 с.

Рецензируемая монография — одно из крупных исследований по тюркской лексикологии, где подводится итог многолетним поискам в области лексики отдельных тюркских языков и рассматривается ряд общих вопросов, традиционно представленных в диахронических и этимологических трудах. Это структура и семантика корня, отношение лексики древних и средневековых памятников к современным тюркским языкам, контакты тюркских языков с различными языками мира, алтайская гипотеза. Большое внимание уделено и таким нетрадиционным и слаборазработанным проблемам, как лексико-семантическая дифференциация и интеграция тюркских языков, их взаимодействие на уровне литературной и диалектальной лексики. Значительное место отводится также вопросам развития лексики тюркских языков в советскую эпоху, топонимике и антропонимике.

Многолетний опыт исследователя-лексиколога [1], а также теоретическое осмысление фактов ряда современных тюркских языков дали возможность автору не только суммировать и обобщить разрозненные, а порою и противоречивые высказывания предшественников, но и изложить собственные суждения о сложном историческом процессе развития лексики этих языков, наметить перспективу дальнейших разысканий. Примечательно и то, что к исследованию привлечен огромный фактический материал не только живых и мертвых тюркских языков, но и монгольских, тунгусо-маньчжурских, финно-угорских, самодийских, картвельских, дравидийских, семитских и индоевропейских, что представляет тюркский языковой мир во всей полноте и во всех сферах его взаимовлияний с языками сопредельных регионов.

Книга состоит из небольшого введения и 10 глав, в которых рассматривается ряд проблем и вопросов, связанных между собой общей идеей. Во введении отмечается, что еще далеки от завершения работы по сбору и систематизации лексического богатства многих тюркских языков, публикации и интерпретации лексики письменных памятников, недостаточно разработаны эффективные методы исследований. Но то, что уже сделано в трудах ряда поколений тюркологов и в собственных исследованиях К. М. Мусаева, достаточно, чтобы убедиться в реальности построения тюркской лексикологии как самостоятельной дисциплины. Это становится возможным также благодаря близости тезауруса базисной лексики и грамматического строя тюркских языков, общности тенденций их развития, чего нельзя наблюдать в индоевропейской или финно-угорской лексикологии.

Интересны мысли автора и относительно классификации тюркских языков. Из всех существующих классификаций он избрал, как нам думается, самую рациональную, в которой языковые особенности максимально коррелируют с ареальным принципом — с расселением носителей тех или иных языков на огромном пространстве тюркской ойкумены. Сравнительное исследование лексики тюркских языков привело ученого к выводу,

что «в лексическом и семантическом отношении существует обширная центральная группа, куда входят главным образом кыпчакские языки в разных ситуациях с охватом юго-западных (огузских), южных (среднеазиатских, карлукских), восточных (сибирских) тюркских языков, т. е. существует как бы группа-ядро, расположенная географически в центре тюркских языков, которая контактирует с другими тюркскими языками, расположенными по краям этой группы» (с. 32). В дальнейшем автор пытается установить более или менее строгие критерии различения упомянутых групп по лексико-семантическим признакам и провести дифференциацию языков внутри групп, что приобретает существенное значение для углубленных лексикологических и семасиологических штудий. Так, произведенное исследователем деление кыпчакских языков на северную, восточную и западную группы (с. 202) используется для разработки совершенно новой тюркологической дисциплины — сравнительного кыпчаковедения,— основоположником которой можно по праву считать автора рецензируемой книги. К. М. Мусаев справедливо отмечает, что изучение процесса лексико-семантической дифференциации и интеграции тюркских языков имеет большое значение не только для тюркологии и в целом алтаистики, но и «для финно-угроведения, славистики, иранистики и т. д., объекты исследования которых имели непосредственные контакты с тюркскими языками» (с. 32).

В разделе, посвященном этимологическим исследованиям, дается детальный анализ четырех этимологических словарей общетюркского охвата — Г. Вамбери, М. Рясянена, Дж. Клосона и Э. В. Севортяна, рассматриваются достоинства и недостатки каждого из них, отмечается их значение для дальнейшего развития этимологических поисков. Некоторые замечания представляют интерес не только для тюркской, но и для общей этимологии, например, о различении задач этимологического словаря семьи или группы родственных языков и отдельного языка (с. 110), о необходимости включения в этимологические словари незнаменательных частей речи (с. 112—113) и др. Автор рассматривает такие важные вопросы, как состав словника этимологических словарей, способы подачи дериватов, форма заглавного слова (например, у М. Рясянена — тюркская сравнительная лексика, у Дж. Клосона — древнетюркские слова, у Э. В. Севортяна — преимущественно слова юго-западной группы тюркских языков т. д.), и в свою очередь выдвигает задачу создания третьего вида этимологического словаря (кроме общетюркских и словарей отдельных тюркских языков) — регионального. Что же касается конкретных этимологий, то они щедро рассыпаны по страницам книги К. М. Мусаева, хотя среди них встречаются и спорные. Например: сближение там. *mey* «тело», тюрк. *boy* «рост», хак. *pos* «сам» и англ. *body* «тело» (с. 152); возведение к тюркскому этимону кавказских и общеславянских наименований саней (с. 154); поддержка марровской этимологии: абх. *â-laш-a*, русск. *лошадь*, чуваш. *laша* — *laja* и нем. *Ross* «конь» (с. 155) и др.

Определенное место отводит автор анализу глагольно-именной омонимии — явлению, распространенному в тюркских языках. В тюркологии укрепилось мнение, согласно которому существуют синкретичные корни двух типов — первичные, восходящие к ранней эпохе нерасчлененности частей речи, и вторичные, образовавшиеся в результате позднейших морфологических процессов — конверсии, переразложения, опрощения, осложнения, выравнивания производных форм (из новейших работ см. [2]). Исследователи, признающие наличие первичных синкретичных корней, неизбежно приходят к выводу о том, что многие тюркские корни являются самостоятельными словами и что число таких слов по мере углубления в предшествующие периоды развития языков увеличивается. Но К. М. Мусаев не поддерживает идею первичного синкретизма и потому отрицает лексическую самостоятельность тюркского корня (с. 99).

Один из разделов главы, посвященной контактам тюркских языков с другими языками мира, называется «Некоторые особенности общеалтайских синкретичных корней» (с. 142—147), но алтайский синкретизм рассматривается только в части этого раздела (с. 143—145), остальная часть трактует проблему лексики, общей для тюркских, монгольских, а также тунгусо-маньчжурских языков в целом. И здесь к фактам алтайского синкретизма автор относит тунг.-маньч. *аңа* «пасть и казах. *аңқау* «разиня»; тюрк. *аз* «мало, немного», казах. *эрең* «едва-едва», монг. *арай*, тунг. *аран* «едва» (с. 143—144). Сюда же можно было бы отнести и уйг. *аран* «еле, едва». Признается, в частности, алтайский характер синкретизма корня *бар*: **бар-* «быть», *бар* «сущее, имеющееся налицо» (с. 144), хотя автор весьма скептически относится как к мнению о наличии первичных синкретичных корней в общеалтайском, так и к идее алтайской языковой общности в целом.

Придавая большое значение древним контактам тюркских языков с другими родственными и неродственными языками, К. М. Мусаев все же с большим сомнением трактует возможность генетиче-

ских связей тюркских языков в урало-алтайских и ностратических масштабах. Именно поэтому подобного рода связи рассматриваются автором в специальной главе «Контакты тюркских языков с другими языками мира» (с. 119—162), что, естественно, снимает возможную научную полемику на эту тему. Общность тюркских и иберийско-кавказских языков в названиях зуба и руки, в формах личного местоимения 1-го лица и указательного местоимения, в звучании отрицательной частицы — все это и многое другое автор склонен объяснять только древними контактами (с. 160—161). «Также проблематичным остается генетическое родство алтайских языков с японским, несмотря на то, что еще в XIX в. было „доказано" это родство»,— пишет автор (с. 124). Новейшие изыскания в этой области, как явствует из указанной цитаты, игнорируются.

О развитии лексики тюркских языков написано немало научных трудов как в отечественной, советской, так и зарубежной тюркологии. Тем не менее в книге К. М. Мусаева мы находим целый ряд интересных сведений и свежих мыслей, подкрепленных конкретными примерами из тюркских (преимущественно из казахского) языков, в которых читатель легко обнаруживает общетюркские черты, идет ли речь о приобретении словом нового значения (ср. казах. *мүше* «часть тела; член организации, коллектива»), архаизации отдельных слов и словосочетаний в советскую эпоху (ср. казах. *кызыл әскер* «красноармеец») или о смысловой дифференциации преимущественно в заимствованных словах [ср. казах. *екімет* «власть», *үкімет* «правительство», казах. *оқиға* «событие (крупное)» и *уақиға* «происшествие»].

Весьма содержательны сведения о кальках и заимствованиях из русского языка, об экспрессивной роли русских вкраплений в тюркскую речь (с. 180), о путях становления терминологии тюркских языков. Автор выделяет три основных этапа в развитии лексики литературных тюркских языков Советского Союза (1917—1941 гг., 1941—1960 гг., после 1960 г.).

Мы уже упоминали о том, что труд К. М. Мусаева поражает обилием и разнообразием материала, привлеченного из тюркских литературных языков и диалектов, из древних памятников тюркской письменности, из языков других семей. На этом фоне особенно заметно редкое обращение к богатейшему зарубежному тюркскому языку — турецкому,— на котором говорит ныне около 40 млн. человек. Ввиду этого книга не имеет надлежащей социально-лингвистической ориентации. Она неизбежно усилилась бы, если бы развитие лексики тюркских языков Советского Союза (с. 162—181) было сопоставлено с развитием турецкого языка. Было бы весьма поучительно соотнести различные источники обогащения лексики (русский язык — в тюркских языках СССР, французский и английский — в турецком языке), рассмотреть зависимость развития лексических систем от общественного устройства: социалистического — в нашей стране, капиталистического — в Турции, дать оценку пуристическим тенденциям в официальных турецких кругах, ведающих культурой и просвещением (см. [3]) и мн. др.

Надо сказать, что монографическая работа К. М. Мусаева не лишена некоторых недостатков, неточностей и опечаток.

Так, в главе «Лексика диалектов в ее отношении к языкам» автор пишет, что диалекты, как правило, образуются в результате распада общенародного языка (с. 46). Между тем это — только один из возможных путей (причем не самый частый) возникновения диалектов. Достаточно вспомнить об объединении северных и южных диалектов при образовании современного немецкого языка, карлукских, огузских и кыпчакских диалектов в составе узбекского языка и т. д. Случаи, когда «народ, говорящий на своем диалекте в быту, пользуется литературным языком другого народа», не «редки»,— как утверждает автор (с. 49),— а довольно часты. Так, карелы пользуются финским литературным языком, носители иранских языков Памира — таджикским литературным языком, носители южнобережного диалекта крымскотатарского языка (огузского) — литературным крымскотатарским (кыпчакским) языком и т. д.

Неясно также, почему принятие европейского календаря должно повлечь за собой устранение старых названий дней недели, заимствованных из персидского языка? (с. 168); почему казах. *Үлық* «господин», *би* «судья, урядник», *ояз* «начальник уезда» и мн. др. (с. 168 и сл.) являются архаизмами, а не историзмами?

«Непроизводные топонимы-корни,— читаем мы на с. 188,— в языке встречаются сравнительно мало. Большинство из них закрепилось уже не как топонимы, а как топонимические термины, например *су* «вода, река», *тар* // *тау* «гора», *көл* // *гөл* «озеро» и т. д. Из этого явствует, что *су*, *тар*, *көл* некогда были топонимами, что вряд ли соответствует действительности.

В книге встречаются и тривиальные, избыточные суждения, например, о том, что лексическое смешение тюркских языков происходит на стыке языков и, преимущественно, их диалектов (с. 35); о том, что изолированному диалекту, как

и общенародному и литературному языку, «присущи такие явления, как многозначность, омонимия, синонимия, антонимия, архаизация, неологизмы, разные типы фразеологических устойчивых словосочетаний...» (с. 39) и др.

Желая подчеркнуть близость тюркских языков в лексическом отношении, автор пишет, что «фонетическое отклонение наблюдается лишь в некоторых языках» (с. 18; см. также с. 25, 34, 39 и др.). Но стоит ли неоднократно напоминать о бесспорных фонетических соответствиях только для того, чтобы повторить, что казах. *алма*, узб. *олма*, турецк. *elma* «яблоня» (с. 18) представляют одну лексему, или такие слова, как *айақ* «нога», *ат* «лошадь», *баш* «голова» (с. 39) являются общетюркскими?

Отметим также некоторые неточности и опечатки, особенно досадные в лингвистической работе. Так, в главе «Структура и семантика корня» (с. 82—104) при описании структурных разновидностей корней типа ГС автор допускает смешение примеров разного порядка: некоторые из них при «Г + сонантах»: *и : р // *ер // ēр // эр* «мужчина, муж, герой» (с. 94) повторяются также и при «Г + + смычных»: *ер // *ēр // ер // эр* «мужчина» (с. 95) и др. На с. 91 мы читаем: «с аффиксальными нарушениями» вм. «наращениями», на с. 153 — «индоевропейцами» вм. «индоевропеистами», на с. 206— «родители-казаки» вм. «родители-казахи», на с. 125 — опечатка в названии цитируемой книги: «Атлантика» вм. «Алтаистика». Встречаются в книге и фразы, не совсем удачные в стилистическом отношении, например «...с другой стороны, нельзя отрицать сильное влияние на чувашский язык и быт татарского быта и, вообще, татарских языков и тюркской культуры на чувашскую культуру и быт» (с. 206). На с. 219: «...имя *Борис* было заимствовано славянами из разных диалектов в формах: *Боришь*, *Борисъ*, *Бориль*...». В статье И. Г. Добродомова, на которую ссылается автор, написано: «...имя *Борисъ* было трижды заимствовано славянами из разных древних булгарских диалектов: *Борисъ*, *Боришь*, *Бориль*» [4]. В разделе «Антропонимика» (на с. 211) замечены неточности в переводах ряда имен. Автор пишет: *Азизи* «Почетный, Святой», надо — *Азиз* «сильный, могущественный, дорогой»; имя *Аббас* переведено «лев» вм. правильного «хмурый, суровый», имя *Мухаммад* — «самый прославленный» вм. «хвалимый, достойный восхваления»; *Азим / Асим* не варианты одного и того же антропонима, а два самостоятельных имени, образованных от разных корней с разными значениями: «великий» и «защищающий», и др.

Однако, несмотря на указанные недостатки, еще раз отметим: монографическое исследование К. М. Мусаева «Лексикология тюркских языков» является весомым вкладом в советскую тюркологическую науку.

Кайдаров А. Т., Копыленко М. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Мусаев К. М.* Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. М., 1975.
2. *Гаркавець О. М.* Тенденції розвитку первинного дієприслівника на *-А* в тюркських мовах на Україні.— Мовознавство, 1985, № 1.
3. *Кононов А. Н.* Реорганизация турецкого лингвистического общества. Новое научное общество.— СТ, 1984, № 3, с. 75 и сл.
4. *Добродомов И. Г.* Из булгарского вклада в славянскую антропонимию.— В кн.: Антропонимика. М., 1970, с. 236.

Кумахов М. А. **Очерки общего и кавказского языкознания.**— Нальчик: Эльбрус, 1984. 326 т.

Последний период развития лингвистики характеризуется заметным расширением круга языков, привлекаемых в целях общелингвистических обобщений. В этом отношении показательна рецензируемая книга, построенная на материале западнокавказских языков, характеризующихся чрезвычайно высокой степенью синтеза.

Западнокавказские (абхазско-адыгские) языки, относящиеся к наиболее типичным представителям языков эргативного строя, характеризуются целым рядом структурных черт, проливающих свет на историю становления эргативного падежа и эргативной конструкции предложения. Так, в абхазском и абазинском языках субъектно-объектные отношения в эргативной конструкции выражаются только в глаголе, а в убыхском, адыгейском и кабардино-черкесском языках — как в глаголе, так и в других классах слов (именах

и местоимениях), различающих эргатив и абсолютив, что является явно вторичным по сравнению с глагольным (абхазско-абазинским) типом эргативности. Кроме того, вторичность эргативной функции по сравнению с артиклевой у падежного форманта *-м* в адыгских языках, неустойчивость форманта эргатива во всех разрядах слов и словоформ, его полифункциональность (совмещение им функций косвенных падежей и т. д.), возможность его чередования с нулем во многих случаях, втягивание личных местоимений в парадигму склонения по модели эргатива в функции косвенных падежей, синтаксическая обусловленность падежа на *-м* в адыгских языках и падежа на *-н* в убыхском не только семантикой переходного глагола, но и послелогами, превербами и другими словообразовательными морфемами показывают наличие промежуточных этапов в формировании эргативной конструкции, что представляет несомненный интерес для общей теории эргативности. Все эти и ряд других вопросов обсуждаются на широком материале в рецензируемой работе (см подразделы первой главы «Падеж и артикль», «Категория определенности/неопределенности», «К истории эргативной конструкции», «Предложение в языках полисинтетического типа» и др.).

Книга открывается введением, в котором справедливо указывается на условность принятой практики причисления тех или иных исследований к разряду общего и частного языкознания, подчеркивается необходимость включения в орбиту теоретического языкознания не только языков разных генетических групп и типологических систем, но и разных функциональных систем, наддиалектных и обобщенных образований, в том числе устно-поэтической речи, отличающейся глубокими традициями и неповторимыми особенностями своего строения.

В первой главе рассматриваются вопросы фонетики и грамматики: общелингвистическая теория моновокализма, проницаемость фонологической системы, история сложения четырехчленной системы смычных в кавказских языках, соотношение числа и грамматики, падежа и артикля, слова и словосочетания, агглютинации и полисинтеза, слова и предложения в языках полисинтетического типа, вопросы, связанные с историей категории посессивности, эргативной конструкции предложения, динамикой синтаксического строения слова и словосочетания и др.

Во второй главе работы обсуждаются вопросы, особенно актуальные для младописменных языков: функционально-стилистическое варьирование языков различных типов, соотношение диалекта и разговорной речи, язык эпической поэзии, своеобразие функционирования слова и морфемы в устной поэзии, особенности синтаксиса устной поэзии, место устно-поэтической речи в стратификационной системе языка. Выделяя на материале западнокавказских языков три функциональных стиля (устно-поэтический, литературно-художественный и научно-публицистический), М. А. Кумахов подчеркивает, что классификация функциональных стилей и их соотношение не обязательно должны быть одинаковыми для разных языков. И тем не менее с точки зрения истории сложения и развития функциональных стилей, форм их взаимодействия, связей с другими разновидностями языка, в том числе с территориальными диалектами, языки определенного типа, особенно языки с недавними письменными традициями, обнаруживают много общего, что представляет интерес для теории языкового варьирования, истории и типологии литературных языков (с. 186). То же самое нужно сказать о соотношении диалекта, разговорной речи и письменно-литературного стандарта в языках указанного типа. Отличительной чертой последних является устойчивость позиции территориальных диалектов, обслуживающих не только сферы быта и семьи, что отчасти связано с явлением диглоссии в условиях формирования и развития младописменных литературных языков. Так, если «носитель русского литературного языка обычно не владеет ни просторечием, ни территориальными диалектами» [1], то многие носители младописменных языков пользуются и диалектами. Этот тип диглоссии имеет распространение, например, среди носителей западнокавказских литературных языков (с. 186—195). М. А. Кумахов на конкретном материале убедительно показывает, что варьирование членов оппозиции «диалект ~ литературный язык» не всегда определяется социальными группами говорящих, поскольку последние широко используют оба члена оппозиции в зависимости от ситуации. Все это объясняется широко известным из истории старописменных языков фактом, что сложение устно-разговорной разновидности литературного языка происходит в более позднее время, чем его письменная разновидность [2]. Отсюда понятно, что на становление нормированной разговорной разновидности литературного языка младописменных народов может оказать влияние территориальный диалект, не носящий в силу прочности его позиции характера сниженной (непрестижной) речи (последнее имеет место во многих старописменных языках). Вообще само явление диглоссии дает возможность широко и свободно использовать обе языковые подсистемы — литературный язык и диалект —

для обслуживания разных сфер общения (с. 192).

Большое внимание уделено характеристике устно-поэтического языка, его своеобразию и роли в сложении и развитии литературного языка. Отмечая богатство и разнообразие языка традиционных жанров фольклорного наследия, его устойчивость и обобщенность, автор справедливо указывает, что «неповторимый материал языка устной поэзии до сих пор не привлекается (или почти не привлекается) для решения общелингвистических проблем, в том числе теории слова и морфемы, их эволюции и преобразований» (с. 233, 234).

Рассмотрев вопросы родства и методы лингвистического анализа западнокавказских языков, автор обосновывает новую точку зрения, согласно которой в эпоху после распада праязыкового единства прабхазский оставался самостоятельной единицей, тогда как адыгско-убыхское единство сохранялось в течение определенного периода в истории развития данной группы языков (с. 268). Это принципиально ново для реконструкции генеалогического древа западнокавказских языков.

Касаясь методики реконструкции и практики компаративистских исследований многих языков, в особенности языков, не имевших давних письменных традиций, М. А. Кумахов указывает на известный анахронизм рассмотрения архетипа как явления вневременного порядка (т. е. на соотносимого с какими-либо хронологическими рамками). Автор считает, что нельзя рассматривать один из сравниваемых языков (диалектов) как живую модель праязыкового состояния, древние внутригрупповые заимствования лексем как зеркальное отражение предшествующего состояния фонологических подсистем, а сам праязык как неподвижный конструкт, лишенный вариаций, истории и временных параметров.

На материале западнокавказских языков освещаются проблемы соотношения морфемного и словообразовательного анализа, а также дается дистрибутивный анализ полисинтетического комплекса.

В последней главе затрагиваются явления, отчасти находящиеся на стыке языкознания и фольклористики: отношение Тмутараканского цикла фольклора адыгских (черкесских) народов к исторической Тмутаракани, имени косожского князя Редеди (в русских летописях) к адыгскому Ридадэ, адыгского топонима *Тэмтэрэкъай* «Тмутаракань» и греч. Ταματαρχα, происхождение имени главного героя эпоса западнокавказских народов Сосруко, взаимосвязь песенного рефрена *уэ-рэдэ* и слова *уэрэд* «песня» и др.

Из сказанного видно, что в книге рассматривается большой круг лингвистических и культурно-исторических проблем. Естественно, что не все эти вопросы получили окончательное решение, а по некоторым из них, если учесть состояние разработки тех или иных проблем как общего, так и частного (кавказского) языкознания, могут быть иные точки зрения.

Наши замечания и пожелания сводятся к следующему.

Анализ грамматической категории числа строится на материале языков разных систем. Однако в этом отношении данные западнокавказских языков, в особенности убыхского, чрезвычайно своеобразны и уникальны. В убыхском языке из двух основных падежей — абсолютива и эргатива — только последний различает грамматические формы числа. Нам представляется, что материал западнокавказских языков позволяет не только проследить историю сложения категории грамматического числа в этих языках, но — и это главное — сформулировать более общие выводы, касающиеся генезиса и эволюции категории количества как категории абстрактного, обобщенного мышления. В этой же связи следует сказать, что положение автора о родовом значении и немаркированном употреблении формы ед. числа могло быть усилено фактами из других языков, в частности — современного русского языка, где подобные явления имеют распространение, обнаруживая широкие типологические параллели, например, в неиндоевропейских языках.

Вызывает возражение употребление терминов «именительный падеж», «номинатив» вместо «абсолютный падеж», «абсолютив». Как уже отмечалось в литературе [3], здесь говорится не только о терминологии, но и о языковой типологии и соотнесенности им. падежа с номинативным строем. Когда речь идет о типичных представителях языков эргативного строя, какими являются западнокавказские языки, следовало бы в соответствии с их типологической принадлежностью оперировать понятиями «эргативный падеж — абсолютный падеж», «эргативная конструкция — абсолютная конструкция».

При характеристике динамики синтаксического строения слова и словосочетания можно было шире привлечь ономастический материал, сохраняющий не только традиционные синтаксические конструкции, но и архаичные, реликтовые черты, утраченные живыми языками и диалектами. Для обоснования исходности в западнокавказских языках синтаксической конструкции «количественное числительное + существительное» автор приводит топонимы типа адыг. *ТIуапс* (<шапс. *ТIкъуапсэ*) «Туапсе», букв. «Двуречье», построенные по пра-

языковой модели. Однако ономастика дает интересный и богатый материал для внутренней реконструкции других типов праязыковых моделей сложных слов и словосочетаний [4, 5].

Следует сказать, что книга прекрасно издана, хорошо оформлена, но, к сожалению, тираж ее невелик.

В целом работа М. А. Кумахова, опирающаяся на материал языков полисинтетического типа, не так часто привлекаемых в общетеоретических лингвистических трудах, представляет значительный интерес для общего и кавказского языкознания. Следует подчеркнуть, что выходу в свет данной книги предшествовало большое число работ автора, в том числе крупных монографических исследований, посвященных разработке конкретных проблем (фонетики, словообразования, грамматики, стилистики, языка устно-поэтического творчества) западнокавказских языков. На базе этих исследований, насыщенных богатым языковым материалом, выросла рецензируемая книга с новизной и убедительностью основных ее положений.

Коков Дж. Н., Чкадуа Л. П.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н.* Русская разговорная речь. М., 1981, с. 23.
2. *Баранникова Л. И.* Социально-историческая обусловленность места разговорной речи в общенародном языке.— ВЯ, 1970, № 3.
3. *Мещанинов И. И.* Общее языкознание. Л., 1940.
4. *Коков Дж. Н.* Адыгская (черкесская) топонимия. Нальчик, 1974.
5. *Коков Дж. Н.* Из адыгской (черкесской) ономастики. Нальчик, 1983, с. 55, 95.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1987

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

19—20 сентября 1985 г. в Ошском государственном педагогическом институте прошли III научные чтения памяти академиков АН КиргССР И. А. Батманова, К. К. Юдахина, Б. М. Юнусалиева. В них приняло участие около 150 человек (из четырех республик и ряда городов нашей страны), было прослушано 68 докладов и сообщений.

Участников приветствовал ректор Ошского государственного педагогического института С. Дж. Джумагулов, подчеркнувший большое общественное значение и плодотворность этих чтений.

Научное наследие академиков И. А. Батманова, К. К. Юдахина, Б. М. Юнусалиева и современные лингвистические и литературоведческие проблемы, связанные с их исследовательскими интересами, обсуждались на пленарном заседании и четырех секциях: тюркское языкознание, сопоставительная типология языков, литература народов СССР, методика преподавания языка и литературы.

На пленарном заседании было сделано шесть докладов. Н. Бейшекеев (Ош) в докладе «Академик И. А. Батманов и вопросы киргизской диалектологии» осветил научную деятельность И. А. Батманова как диалектолога и историка киргизского языка, отметив его огромный вклад в становление и развитие киргизского языкознания. Некоторые особенности развития киргизского литературного языка были рассмотрены в докладе Дж. Мамытова (Ош). Об истоках и основных этапах формирования казахского и узбекского литературных языков, об этнической, культурной и языковой общности народов Средней Азии шла речь соответственно в докладах С. Исаева (Алма-Ата) и Б. Юлдашева (Самарканд). Вопросам литературоведения были посвящены доклады К. Артыкбаева (Фрунзе) и Дж. Шериева (Ош).

Проблемы исторического развития и современного состояния тюркских языков обсуждались на секции «Тюркское языкознание». В докладе А. Орусбаева (Фрунзе) «Языковая жизнь в республиках Средней Азии» приведены данные о применении русского и национальных языков в различных сферах коммуникации, языковая ситуация в целом охарактеризована как развивающееся дву- и многоязычие. К. Ибрагимов (Ош) представил результаты исследования языка карлуков, одной из древнейших тюркских народностей, проживающих в настоящее время в Узбекистане и Таджикистане. Установлению лингвистических и исторических оснований для стратиграфии древнетюркской топонимии Киргизии посвятил свой доклад К. Конкобаев (Фрунзе), который предлагает киргизский топонимический фонд делить на собственно киргизский пласт (древний, современный) и пласт, восходящий к другим тюркским языкам — казахскому, уйгурскому, узбекскому, алтайскому и др. Попытке генетической стратификации топонимов эпоса «Манас» был посвящен доклад Л. Джусупакматова (Ош). В докладе М. И. Трофимова (Ош) «К этимологии некоторых уйгурских глаголов с основой на *-р*» рассматривается чередование узких и широких гласных в ряде аффиксов понудительного залога и ставится вопрос, является ли это результатом определенных морфологических преобразований или же фонетических процессов, охватывающих системы гласных тюркских языков.

На чтениях видное место заняли проблемы обогащения киргизской лексики. Так, чл.-корр. АН КиргССР Т. Ахматов (Фрунзе) в докладе «Бытовая лексика киргизского языка» высказал мысль, что изучение обиходной лексики позволяет глубже познакомиться с материальной культурой народа. Докладчик показал способы пополнения бытовой лексики новыми единицами, особо остановился на заимствованиях и предложил их лексико-семантическую классификацию. Различным сторонам бытования лексики, ее экспрессивности, информативности, отдельным проблемам структуры предложения посвятили свои выступления С. Омуралиева, А. Аттокуров, Н. Чечейбаева (все — Фрунзе), А. Назаров, Т. Нуруев (Ош),

Э. Абдулдаев (Фрунзе) поднял весьма важный не только для киргизского, но и для всех тюркских языков вопрос об упорядочении правописания сложных слов. Результаты статистического исследования структуры киргизского текста (на материале периодической печати) представил С. Ибрагимов (Ош). В докладе «О языковых особенностях произведений Ч. Айтматова» И. Лихолет (Фрунзе) остановилась на проблеме интерпретации лексических и словообразовательных отступлений от норм русского языка в произведениях писателей-билингвов. А. Закиров (Ош) заострил внимание на политико-идеологической направленности турецкой прессы (на примере турецких буржуазных газет).

Проблемы сопоставительно-типологического изучения языков, в первую очередь киргизского и русского, были затронуты в докладах К. Токтоналиевой, М. Дарбановa, Г. Шатмановой, Ф. Музиповой, А. Мырзакулова (все — Ош), Н. Иманкуловой (Фрунзе), Г. Бубновой (Ташкент) на секции «Сопоставительная типология языков». Способы выражения категории залога, модальности в киргизском и русском языках в сопоставительном аспекте нашли отражение в докладах М. Сагынаалиева, Д. Омукеевой и Б. Ниязалиева (все — Ош). В докладе «Основы обучения русскому произношению киргизов» А. И. Васильев (Фрунзе) еще раз обратил внимание на значение положений Московской фонологической школы в методике преподавания русской фонетики и привития навыков русского произношения в национальной школе. О восприятии и усвоении русских согласных киргизами шла речь в докладе М. Момукбаевой (Фрунзе), где утверждается, что в связи с развитием киргизско-русского двуязычия наблюдается заимствование некоторых русских согласных фонем. А. Орусбаев (Фрунзе) в докладе «Споры вокруг *къ* и *гъ*» с фонологических позиций обосновал, что эти согласные вместе с *къ* и *гъ* являются позиционно обусловленными вариантами двух глубокозаднеязычных фонем /*k* и /*г*/, следовательно, попытка отражения вариантов *къ* и *гъ* в киргизском алфавите отдельными буквами и представляется глубоко ошибочной. Н. К. Салахитдинова (Ош) указала на практическое значение изучения явлений интерференции на различных уровнях при обучении киргизских учащихся русскому языку. Рассмотрев типологические различия между нулевыми морфемами в киргизском и русском языках, М. Тагаев (Ош) сделал вывод о том, что в киргизском языке нулевые показатели проявляются на парадигматическом, в русском — на парадигматическом и синтагматическом уровнях.

Проблема вычленения фразеологически связанных значений на материале киргизского языка затронута в докладе Л. Лупачевой (Ош), отметившей, что такое вычленение возможно лишь в некоторых типах идиом, в частности, в мотивированных фразеологических единствах.

Доклад М. Примовой (Ош) «Фрагмент „активной грамматики" русского и киргизского языков» был посвящен вопросу психолингвистического обоснования зрительного и слухового восприятия учебной грамматики, Д. Омукеевой (Ош) — лексико-семантическим и грамматическим особенностям модальных слов в киргизском и русском языках.

В секции «Литература народов СССР» проблемы изучения устного народного творчества и особенности поэтического дарования акынов-импровизаторов нашли освещение в докладах П. Ирисова, К. Оморкулова, Т. Танаева и Д. Мусаевой (все — Ош). О вкладе в изучение эпоса «Манас» акад. Б. М. Юнусалиева, о необходимости его дальнейшего исследования и бережном отношении к наследию ученого говорилось в докладе С. Бегалиева (Фрунзе).

В докладах секции «Методика преподавания языка и литературы» ставились вопросы развития русской речи в национальной аудитории и совершенствования приемов обучения. Так, А. Бельдиян (Ташкент) в докладе «Создание речевых установок на занятиях по развитию русской речи у студентов национальных групп» показала, как различные виды общения позволяют активизировать мыслительно-речевую деятельность у обучающихся. Вопросам обучения видам речевой деятельности на конкретном лексико-грамматическом материале посвятили свои доклады А. Токтомаметова (Фрунзе), Ф. Ахмедова, Д. Акпаралиев и С. Эргешов (все — Ош). В докладе В. Орловой и Г. Чен (Ош) подчеркнута важность использования звукозаписи при обучении видам речевой деятельности студентов неязыковых факультетов.

Методический аспект изучения словообразовательной структуры производных слов в киргизской аудитории был представлен в докладах С. Русляковой (Фрунзе) и Н. Калымбетовой (Караганда); развитие фонетического слуха и усвоение русских акцентных структур — в докладах Т. Цыгуровой и Т. Увалкановой (Ош).

О привитии навыков конспектирования путем аудиовизуальных приемов обучения, основанного на опыте работы со студентами, рассказала Т. Аполонова (Ош). В докладе А. Лисса (Ош) и В. Румянцева (Чебоксары) «Обучение билингва грамматическим явлениям третьего языка (на материале английского, киргизского, чувашского и русского языков)» изложены результаты эксперимента по проверке уровня владения киргизскими и чувашскими школьниками третьим иностранным языком и делается вывод, что при обучении иностранному языку опорой должен служить прежде всего родной язык учащегося.

В целом III научные чтения продемонстрировали серьезный интерес ученых, вузовских преподавателей и учителей школ к научному наследию академиков И. А. Батманова, К. К. Юдахина и Б. М. Юнусалиева, плодотворность дальнейшего развития их идей применительно к насущным задачам отечественной филологии и лингвометодики. Следующие научные чтения в честь этих ученых решено провести в 1987 г. на базе Киргизского государственного университета.

Орусбаев А. О. (Фрунзе), *Салахитдинова Н. К.* (Ош).

CONTENTS

G. V. Stepanov; **Articles:** Desnickaja A. V. (Leningrad). Sources of comparative study of the Balkan languages; Danelia K. D., Sardžveladze Z. A. (Tbilisi). Linguistic concepts of A. G. Sanidze; **Discussions:** Dešerieva T. I. (Moscow). The relations of modality and predicativity; Živov V. M. (Moscow). The early stage in the formation of the Russian version of the Church-Slavonic language (concerning I. Tot's book «The Russian version of the Old Bulgarian language in the end of the XI and the beginning of the XII centuries»); Topuria G. V. (Tbilisi). On the morphology of nominal declension in the Daghestan languages; Eliseeva A. G., Seliverstova O. N. (Moscow). Semantic structure of pronominal meaning; **Materials and notes:** Kaliuščenko V. D. (Donetsk). Typology of locative, possessive and attributive verbs formed from nouns; Kreidlin G. E., Polivanova A. K. (Moscow). On the lexicographic description of auxiliary words in Russian; Molčanova E. K. (Moscow). Anaphor and possessive meaning (founded on the materials of the Tadjik colloquial speech); Ckitašvili T. K. (Tbilisi) On the historical dictionary of the Georgian language; **Surveys:** Skrebnev Yu. M. (Gorkij). The study of Russian colloquial speech; **Reviews; Scientific life.**

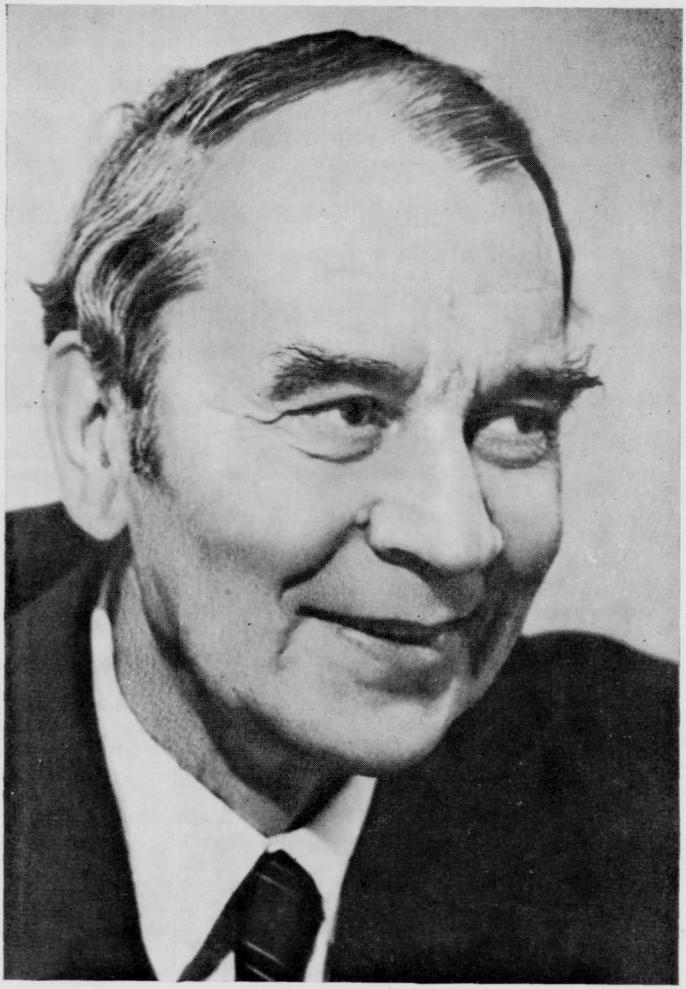
SOMMAIRE

G. V. Stepanov; **Articles:** Desnickaja A. V. (Léningrad). Origines de l'étude comparée des langues balkaniques; Danelia K. D. Saržveladze Z. A. (Tbilissi). La conception linguistique de A. G. Sanidze; **Discussions:** Dešerieva T. I. (Moscou). Les rapports entre la modalité et la prédicativité; Živov V. M. (Moscou). La première étape dans la formation de la version russe de la langue slave ecclésiastique (à propos du livre de I. Tot «La version russe de la langue vieux-bulgare à la fin du XI siècle et le commencement du XII siècle»); Topuria G. V. (Tbilissi). Sur la morphologie de la déclinaison nominale dans les langues de Daghéstan; Eliseeva A. G., Seliverstova O. N. (Moscou). Structure sémantique de la signification pronominale; **Matériaux et notices:** Kaliuščenko V. D. (Donetsk). Typologies des verbes locatifs, possessifs et attributifs formés au moyen des noms; Kreidlin G. E., Polivanova A. K. (Moscou) Sur la description lexicographique des mots auxiliaires en russe; Molčanova E. K. (Moscow). Anaphore et la signification possessive (fondé sur les matériaux du langage parlé tadjik); Ckitašvili T. K. (Tbilissi). Sur l eicdtionnaire historique de la langue géorgienne; **Revues:** Skrebnev Yu. M. (Gorkij). L'étude du langage parlé russe; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 29.10.86 Подписано к печати 18.12.86 А-10693 Формат бумаги 70×100¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 14,3+1 вкл. Усл. кр.-отт. 88,1 тыс. Уч.-изд. л. 15,5 Бум. л. 5,5
Тираж 6057 экз. Зак. 3090

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6



ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СТЕПАНОВ